

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЗАПИСКИ



МОСКВА 1992



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ



*учено-литературный и
политический журнал*



Издавался с 1839 по 1884 г.
А. Краевским, Н. Некрасовым и
М. Салтыковым (Н. Щедриным).
Возобновлен в 1992 г.



ТОМ CCLXXIV

Москва

ББК А57

Отечественные записки
Литературно-издательское агентство
Р. Элинина
Москва 1992 г.

ISSN 0869—107X
ISBN 5—86280—015—8

©
Отечественные записки
1992 г.



Обращение к читателям	1
---------------------------------	---

Проза

М. ЕЛИСЕЕВА	
Пять маленьких рассказов	5
ВЕРА КОБЕЦ	
Побег	6
Д. КОСЫРЕВ	
История Машки Вершининой, жены дипломата	19
Д. ДРАГУНСКИЙ	
Конспект	40
Е. ЧЕРНИКОВА	
Единственный мужчина	52
А. ТЕР-АБРАМЯНЦ	
Жил старик	59

Поэзия

Манифест куртуазного маньеризма	67
Стихи	
В. СТЕПАНЦОВА, А. ДОБРЫНИНА, Д. БЫКОВА, К. ГРИГОРЬЕВА, В. ПЕЛЕНЯГРЭ	76

Драматургия

А. АВТОРХАНОВ	
Из работы «Кавказ, кавказская война и имам Шамиль»	92
ШАПИ КАЗИЕВ	
Шамиль (Пленник). Драма в двух действиях	94

Наши переводы

КАМАЛ-АД-ДИН-БИНАИ , газели. Перевод с фарси <i>М. Елисейевой</i>	163
---	-----

Из литературного наследия

Ф. ШТИЛЬМАРК

Воплощенные просторы мгновений
(о романе-хронике "Горсть света") 167

Р. ШТИЛЬМАРК

Горсть света. Роман-хроника (начало) 172

Критика

Все перевесит слово 278

Современная хроника России

Обзор современного движения русского
законодательства и распоряжений по
государственному управлению 281

События в Отечестве 291

Поздравляем! 308

Смесь 310



ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ¹

Похоже, что в Советском Союзе «Отечественным запискам» выходить не суждено.

Сейчас, когда пишутся эти строки, октябрь. Но нынче время особое: пока первый номер попадет к читателю, в очередной раз изменится не только страна, но и ее название.

Значит, не судьба «Отечественным запискам» возродиться в СССР.

Закрытый в 1884 году в России, наш журнал возвращается в Россию. Он впал в летаргический сон в первый год существования русского марксизма, когда папа Плеханов и мама Засулич еще выкармливали новорожденное дитя в женевской колыбели, и пробуждается в дни истинного освобождения труда.

Можно по-разному оценивать последние сто семь лет. Но любая оценка будет неполной, если не учтет важную истину: отечественная культура достойно прошла все испытания. Тюрьмы и лагеря, подполье и эмиграция стали не могильщиками, а спутниками ее. Какой бы ни была толща официальной псевдокультуры, под нею всегда таилась культура истинная. Непосвященные украшали свой быт цветами с ботвы, а настоящие ценители питались сочной мякотью корнеплода.

И вот, подобно нефти из глубинных скважин, брызнула на поверхность тщательно затаенная, умело сохранный неподцензурная культура. Оказалось, что она не менее разнообразна, чем там, где никогда не было Гулагов и Главлитов.

Глаза разбегаются от благоухающей пестроты. Но мода есть мода, и почти все внимание обращено на постмодернизм, концептуализм, метаметаформизм и другие интересные течения.

Мы же храним верность четырехстопному ямбу, классическому роману, традиционным формам и жанрам. К этому обязывает и название журнала, и твор-

¹ Этот и другие материалы номера, не имеющие подписи, принадлежат перу редактора-учредителя.

чество его дореволюционных авторов, и пристрастия наших предшественников-издателей. Да и не перевелись еще среди читателей любители простого доходчивого слова, правильной речи и чистого русского языка.

Идея возрождения журнала принадлежит сравнительно молодому поколению литераторов, именуемому «тридцатилетними». В отличие от «шестидесятников», ломавших в хрущевскую оттепель железный занавес, крушивших всеми доступными средствами идеологию сталинизма, мы были в то либеральное десятилетие маленькими детьми. Мы родились после марта пятьдесят третьего, и в нас никогда не жил страх. Мы никогда не относились всерьез к социалистическим ценностям и завоеваниям, а ленинизм, за чистоту которого так отчаянно боролись «шестидесятники», представлялся нам всего лишь неинтересной учебной дисциплиной. В пору отрочества и юности услышали мы призыв великого соотечественника жить не по лжи, вняли ему и сделали его девизом всей жизни. Наши имена не стоят под изданными текстами, за которые сейчас может быть стыдно. Мы предпочитали писать в стол, терпеть лишения, но не губить свои души коллаборационизмом.

В отличие от поколения «сорокалетних», этапирующего читателей то причудливой фантазмагорией, то «чернушечным» реализмом, нам ближе вековые сюжеты, общечеловеческие ценности, не отягощенные бытом. Бомжи, люмпены, спившиеся интеллигенты, проститутки и наркоманы нам не интересны. Наши герои живут либо вне времени и пространства, либо в ином времени и пространстве, чем мы. Но если они наши современники и соотечественники, то такие, кого не стыдно пригласить в приличный дом.

В Литературном институте, на совещаниях молодых писателей, в различных семинарах мы стремились создать свой мир, свою среду общения. Литгенералы из всяческих секретариатов пытались рекрутировать нас в свои ряды поодиночке, но это удавалось редко. Тем временем генералы устроили гражданскую войну, разбившись на «правых» (интеллигентов в первом поколении) и «левых» (интеллигентов во втором-третьем поколении). Нам, с детства листавшим семейные альбомы с прадедушками в погонах и эполетах и прабабушками в

форме институток, не нашлось места в рядах сражающихся. Мы основали «литературную Швейцарию» — убежище миролюбия, красоты, толерантности. А теперь возрождаем дворянский журнал.

Нам близок не только читатель в пределах Отечества. Русская культура оказалась разделенной в 17-ом году. Лучшим ее представителям пришлось работать в эмиграции. Как много сохранилось благодаря им! Русскоязычная диаспора — это тоже частичка России. Семьи многих из нас также оказались разделенными революционным вихрем. Мы не можем не думать о своих кузенах и кузинах, родившихся на чужбине и до сих пор не знающих нас.

Мы говорим: русскоязычная диаспора, не выделяя только русских. Сохранение культуры — задача всех носителей языка, независимо от этнических корней. Полистайте наш журнал: вы найдете среди авторов аварскую, армянскую, молдавскую, немецкую, польскую, украинскую фамилии. Надеемся, будут и другие.

Революция разделила и нашу церковь. Не только географически, но организационно и, что самое страшное, идейно.

Мы ходим в сергианские храмы: других у нас нет. Но высоко ценим позицию Русской Зарубежной Православной Церкви, поклоняемся ее новомученикам.

Наша цель — служить мостом между двумя половинками разделенной культуры и разделенной церкви.

Сейчас российские литературные журналы печатают, в основном, то, что Запад уже давно прочитал. Открывая «Новый мир», «Знамя» или «Октябрь», читатель диаспоры видит известные ему имена и произведения.

Мы постараемся знакомить вас с новыми авторами. Или теми произведениями писателей старшего поколения, которые только извлекаются из небытия.

Сохраняя традиции Белинского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, журнал остается западничеством. Но это не значит, что мы будем допускать тенденциозность оценок, враждовать с неославянофилами. Вспомним слова Герцена о няньке и гувернантке. Да, нас воспитывали по-разному. Но любовь у нас одна — наше Отечество. И не надо огорчать его внутренними распрями. Национальная, религиозная и классовая тер-

пимость всегда были отличительными чертами русской интеллигенции. Мы не станем подводить доброе имя своих прадедов.

Постараемся оставаться объективными и в вопросах политики. На наш взгляд, в современной публицистике аналитический стиль должен преобладать над критиканским. Мы не принадлежим ни к одной партии, но не откажемся от диалога с каждой из них.

Призываем своих сверстников и единомышленников в России, Русское Зарубежье, специалистов и любителей нашего языка в разных странах сотрудничать с возрожденным журналом «Отечественные записки».





ПЯТЬ МАЛЕНЬКИХ РАССКАЗОВ



Мне бы не хотелось ничего утверждать категорически, потому что ни я, ни кто бы то ни было другой, гораздо более компетентный в подобном деле, не имеет на категоричность ни малейшего права. Я хочу только одного — в меру своих сил выразить странное ощущение, которое охватывает меня всякий раз, как я читаю маленькие рассказы, написанные и опубликованные, написанные и неопубликованные, нехитрые их сюжеты повторяются, впрочем, никто и не думает раскрыть миру глаза на нечто новое, до сей поры невиданное... Не стоит говорить, что мы одиноки, что мы — поколение наиболее смертное и осознающее себя наиболее смертным, все это ясно из маленьких рассказов, и совершенно неважно, кто писал их — удачливый журналист или непризнанный писатель, или попросту НЕКТО и НИКТО, взявшийся за перо без всякой надежды — как мы и живем, не ведая о далеком и не для нас уготованном бессмертии. Маленький рассказ — это невыносимая, непревзойденная и всепоглощающая тоска, это бесцельное шатание по малогабаритной квартире из угла в угол и редкие кухонные гости, и слова: «может, еще кофе?..» Кто тут герои? У них печальные осоловелые очи, они, беспробудно спя-

щие, не ведающие радости, забывшие себя, грузей, близких, любимых, НИЧЕГО уже не хотят... Над ними царит неудача, им день грядущий не мил, им все все равно. Их действия бесплодны. Это не сборище умалишенных, повергнутых в глубочайшую депрессию, это просто люди, обесцвеченные сугубым реализмом и бегущие в сон от реальности. Тонкострунные интеллигенты, расстроенные инструменты — на них нельзя ничего путного сыграть? Но на ком можно? Ни здравый смысл, ни здоровый образ жизни не столкнут их с их собственного пути истинного. Может, так и надо, так честнее и лучше? Мы — не борцы, борцы не мы...

Эти маленькие кубики, из которых складывается наша жизнь, эти крошечные частички — рассказы, новеллы, назовите их как угодно, я не стану давать им оценки ни с точки зрения стилистики, потому что они грешны в этой части, ни с точки зрения «сюжетной линии», потому что и здесь они не без греха, но прочитайте их и подумайте, легко ли бросить в грешника первый камень? Тяжко ли?

М. ЕЛИСЕЕВА



ВЕРА КОБЕЦ

ПОБЕГ

Сколько я ее помню, она всегда убегала. Когда-то давным-давно: «Посмотри, как красиво!» — сказала она, я повернулся, начал искать, не понимая, на что мне показывают. Я увидел: дядька пил воду из автомата. «Хочешь пить?» — спросил меня дед. Меня что-то встревожило, я обернулся, но ее уже не было рядом, она бежала к автобусу по тротуару, добежала, вскочила, желтые двери захлопнулись, и мы с дедом остались одни. Я открыл рот и заплакал, мне было очень жалко себя, мне было стыдно, оттого что меня обманули. «Я почитаю тебе „Винни Пуха“», — сказал дед, — хо-

чешь мороженого?» — «Я к маме хочу», — крикнул я. Дед посмотрел на меня и сказал: «Мама уехала, к маме нельзя». — «А она скоро вернется?» — спросил я, соображая, что лучше, в стаканчике или брикет. «Скоро, — сказал дед, — как только освободится».

Чаще всего она убегала по вечерам. И это было страшнее всего. Вечером дом как корабль, он куда-то плывет в темноте. Вечером нужно, чтобы все были дома, тогда плыть не страшно, а хорошо: лампы горят, дед кашляет у себя в кабинете, она с кем-то смеется по телефону, я рисую в столовой, а бабушка вяжет возле меня. Все так, как должно быть, только немножечко скучно. «Давай поиграем в „Охотников“», — предлагаю я бабушке. Бабушка поднимает глаза: «Ты ведь знаешь, в „Охотников“ надо играть вчетвером». — «Так нас четверо: ты, я, мама и дед». — «Дед пишет книгу, его отвлекать нельзя». — «Почему дед пишет книгу? Ведь он не писатель». — «Нет, дед гидростроитель, инженер и ученый». Бабушка говорит это с гордостью. Дед гидростроитель, — думаю я. Вообще-то я знал это и раньше, но только теперь понимаю, что это важно. «А кто мама?» — задаю я вопрос. Бабушка почему-то снимает очки, смотрит внимательно на меня и как будто не знает, что мне ответить. «Мама историк», — говорит она наконец. Я не уверен, что она ответила правильно. «Дед знает больше историй», — фыркаю я. Бабушка улыбается и молчит, я хочу уточнить, как же все-таки там с историей, но в дверях появляется дед. «У меня перекур, — говорит он, — не сыграть ли в „Охотников“?» И я сразу срываюсь с места, я бегу к ней и кричу: «Полный сбор! Свистать всех наверх! Играем в „Охотников“!» Она входит, мы быстро рассаживаемся и немедленно попадаем на остров Калимантан. Мы бродим в дебрях жаркого, влажного леса, чутко прислушиваясь к его голосам. «Ну а теперь пора ужинать, — говорит неожиданно бабушка, — я накрываю на стол, а ты, милый, иди умывайся». В ванной я мою руки, они покрываются пеной, тогда я сжимаю ладони, а потом раздвигаю их медленно-медленно — и разноцветная пленка колышется парусом. «Витя!» — зовет меня бабушка. Я вхожу и сразу же чувствую: все изменилось. «Где мама?» — гово-

рю я, и что-то сжимает мне горло. «Мама ушла». — «Куда?» — «По каким-то своим делам». — «Нельзя уходить так поздно». — «Мама взрослая. И уходит тогда, когда хочет. Иди скорее к столу — твой любимый паштет». — «Не хочу», — говорю я.

Я люблю, чтоб она была рядом, когда я засыпаю. Если она сидит у постели, и я держу ее за руку, мне хорошо. Ветер воет себе за окном, кто-то свистит, где-то лают собаки, а у нас очень уютно, комната — остров, я закрываю глаза, птицы щебечут над головой, это — колибри, — думаю я, я совсем засыпаю, но в этот момент она напрягается, рука становится жесткой, она тянет жесткую руку к себе. Я открываю глаза — птицы с тревожными криками разлетаются в разные стороны, ветер воет слышнее, я понимаю: она хочет сбежать. «Не уходи», — прошу я. Она громко вздыхает: «Ну почему ты не спишь? Уже половина десятого!» — «Мне не заснуть». — «А ты думай о чем-нибудь. Скоро лето, мы снова поедem в Крым. Помнишь, как ездили в прошлом году?»

Конечно, я помню! Я ездил на юг с ней и с няней. Волны были на море большие-большие. Я боялся, а она не боялась. Она брала меня на руки и шла в воду, и большая волна летела на нас и хотела нас проглотить, я хватал ее крепко за шею и кричал, а она тоже кричала и прыгала, и волна катила нас к берегу будто на санках, и мягко откатывалась, прошуршав по камням. А мы снова шли в воду, и я снова боялся, и так много раз. А потом она загорала, подстелив полотенце с огромными красными розами, а я рыл колодец, глубокий-глубокий, а дома нас ждала няня, и мы ели в саду, под деревом, и иногда сливы падали прямо в суп. И мне все очень нравилось, а лучше всего было то, что она была рядом, я уже не боялся, что она убежит, я хорошо засыпал, я совсем не капризничал. Няня сказала: «Парень-то стал золотой, вернемся — бабушка с дедом и не узнают». — «Узнают, — сказал я, — они говорили, что я вернусь загорелым, но почему золотой? Я же коричневый, мама сказала — как шоколадка». — «Ну, шоколадка, так шоколадка», — не заспорила няня. И дни покатались, как шарики, дальше, веселые и интересные. Но потом снова вернулось то, прежнее. Как-то

вечером она уложила меня и встала, и я почему-то сразу же понял, что она куда-то уйдет, а меня обступят страшные рожи, те, что приходят всегда, когда ее вечером нет. «Ты куда?» — спросил я, надеясь, что, может быть, я ошибся. «Ты же знаешь, по вечерам я читаю в беседке», — сказала она, но голос звучал как-то странно. «И сегодня будешь читать?» — «И сегодня, конечно», — сказала она, и я ясно услышал, что она рассердилась. «Посиди рядом со мной», — попросил я испуганно. «Господи, Витя, ну неужели опять все сначала?» — с досадой проговорила она. Потом вздохнула, поцеловала меня и ушла. Я не заплакал, я лежал тихо-тихо, я знал, что она не пришла в беседку. Когда там был свет, он добежал и до комнаты, и ложился, как коврик, на полу у кровати, и мне было спокойно, я знал, что она совсем рядом, а теперь она была где-то совсем далеко, а я был очень один. За стеной ворочалась няня, но я все равно был один. Я стал думать про деда. Дед любит меня, мы ходили с ним на рыбалку и за грибами, дед уезжает часто в командировки, но никогда, ни разу дед от меня не сбежал. А сейчас дед, наверное, дома, зато я почему-то уехал. «Я домой хочу», — выдохнул я, но никто меня не услышал. Что-то черное и мохнатое шевелилось в углу, я старался туда не смотреть и как-то заснул, но потом я проснулся, потому что мохнатый стоял надо мной. «Мама!» — крикнул я громко, но она не ответила. Няня пришла и наклонилась ко мне: «Хочешь — сходи, — сказала она, — или попить тебе дать?» Я молчал и дрожал мелко-мелко. «Это луна, — сказала мне няня, — это не страшно, сейчас я штору задерну — и нет ее тут. Водички-то дать?»

«Не хочу больше в Крым», — сказал я. «Вот как? — спросила она со смешком. — Ну, хорошо, поедем в Сухуми. Или, хочешь, на Днепр?» — «Я никуда с тобой не поеду, — сказал я. — Я буду на даче, с бабушкой». — «Ну и отлично. Думай о том, как ты будешь жить с бабушкой». Я знал, что она обиделась, я был этому рад. «Спокойной ночи», — сказала она и вышла. «Ну и пусть, — думал я, — ну и пусть, ну и пусть», а потом почему-то закрылся с головой одеялом и тихо заплакал.

Я всегда любил лето, но зиму любил еще больше. Из-за школы, наверно. Сначала я школы боялся. Они все говорили: «Тебе будет там хорошо. Учиться — это ведь так интересно!» — но смотрели тревожно, я видел: они за меня боятся. И когда в первый раз я шел в школу с цветами и ранцем, а они все шли за мной, и было не спрятаться и не сбежать, я ждал самого худшего. Но все оказалось не так, как мы думали, и после уроков я кинулся к ней, ждавшей меня на крыльце, и закричал: «В школе ужасно весело!», и потом мне всегда было в школе весело, и бабушка говорила язвительно: «Ну, сегодня до двойки довеселился?», а я отвечал: «Ну и что? Ведь вчера — до пятерки!» Бабушка хмурилась, а она смеялась и говорила: «Витек! Ты расстроил бабулю. Будь так добр, навеселись завтра на две пятерки». «Постараюсь», — отвечал я небрежно, но как-то скисал, не из-за двойки, из-за ее веселья, потому что я уже знал, что если она веселая, и смеется, и все понимает, это — дурной знак.

«Я принесла тебе новые диафильмы», — говорит мне она, — посмотрим?» — «А что ты купила?» — «Ну, например, Мюнхаузена». «Мюнхаузена?» — воплю я. «Мюнхаузена» мне хотелось уже очень давно. Один раз мы даже специально ездили с ней за «Мюнхаузенном», но нам сказали: «Был. Вчера кончился», — и вот теперь «Мюнхаузен» — мой! «Радоваться — не значит бесноваться», — кричит из столовой бабушка. «Скорее ставь аппарат», — говорит мне она и тащит экран. И мы смотрим «Мюнхаузена», а потом «Дон-Кихота», и я даже не знаю, который из фильмов лучше, и мы во второй раз смотрим «Мюнхаузена», чтобы это определить. «Прошу всех к столу», — зовет бабушка. «Через секунду, — отвечает она, — у нас несколько кадров осталось», — и мы смотрим все до конца, а потом приходим в столовую, и я говорю: «снова котлеты...», а она отвечает: «Котлеты бабушка делает изумительные, а после котлет будет чай с эклерами». — «Откуда эклеры?» — ворчу я недоверчиво. «Я купила», — отвечает она и подмигивает. Я съедаю котлету всю, без остатка. «Ты гигант, — говорит мне она, — а знаешь, куда мы пойдем в воскресенье? В зоопарк!» — «Ух-ты», — говорю я. Я очень люблю ходить в зоо-

парк, я хотел бы ходить туда каждый день, но меня в зоопарк почти никогда не водят, а тут она вдруг сама предлагает, это как-то слегка подозрительно. «Наверное ничего не получится, — говорю я, подумав, — в воскресенье у тебя будет болеть голова». — «Обещаю, не будет», — отвечает она. «И в слоновник пойдем?» — говорю я, не веря, что может быть и такое. «И в слоновник», — смеется она. «И будем стоять долго-долго?» — «Хоть целый час». «Ну, это по-королевски», — говорю я, уже чуя запах слоновника, замечательный запах, который они все почему-то не любят, но тут часы бьют восемь раз, и она сразу же вскакивает и начинает метаться из комнаты в ванную. «Ты куда?» — говорю я растерянно. «По делам», — отвечает она. «По каким?» — «После, после, малыш, сейчас не могу». — «Я хочу, чтобы ты меня уложила». — «Не могу, ты же видишь. Мы были вместе весь вечер, в воскресенье идем в зоопарк, а теперь мне нужно бежать, ну что с тобой, лапки?»

Заревел я совсем неожиданно, я как-то даже не думал, что зареву, и вдруг начал вопить: «Зачем ты уходишь? — выкрикивал я между всхлипами, — нам было так хорошо! Все не так, когда ты уходишь, я боюсь засыпать, когда ты уходишь, я тебя очень прошу, ну, пожалуйста, не уходи, по делам лучше пойди в воскресенье». Я кричал очень страшно, и она стала вся белая-белая, бабушка ушла к себе в комнату, мы были одни. Я хотел удержать ее, я должен был удержать ее, я хотел, чтоб она тоже заплакала, тогда она не уйдет, но она не заплакала, хотя губы дрожали и руки вцепились в колени. Она сидела на стуле, в пальто, и смотрела. Я плакал. От плача я начал икать. Она долго молчала. Потом сказала мне тихо: «Может, ты все-таки перестанешь? Я ведь уйду все равно», и пошла, а бабушка вышла из комнаты и хотела дать мне какие-то капли. Я ударил рукой по стаканчику, он покатился, но не разбился, он был не стеклянный. В дверь позвонили. Я подумал, что это соседи, сколько раз мне говорили: «Неудивительно, если Петр Семеныч придет узнавать, что за шум», я убежал и залез под кровать. Под кроватью лежал мой осел Донки. Как-то раз я обнаружил, что его можно кормить. Кусочки конфеты и яблока про-

пихивались прямо в живот. «Он скоро будет вонять», — сказала мне бабушка, но проверить это не удавалось. Осел потерялся. И вот теперь я нашел его. Осел не вонял. Я вылез из-под кровати, чтобы сказать это бабушке. Бабушка шла мне навстречу с телеграммой в руках. «Дед прилетает, — сказала она, — на три дня раньше, чем ждали. Представляешь, какая удача!» — «Ура! — закричал я, — встречаем деда салютом!» — «Может быть, вместо салюта ты вылепишь крокодила?» — предложила мне бабушка. «Тоже годится. Дед любит моих крокодилов», — сказал я, подумав.

Потом я стал видеть ее все реже и реже, хотя почти что все время она была у себя, сидела в кресле, в углу, одна. Не приходила, когда мы ее звали ужинать или играть. «Что с мамой?» — спрашивал я. «Ничего, — говорила мне бабушка, — у нее неприятности, не приставай к ней, пожалуйста». Она сидела, закутавшись в серый платок, и смотрела в окно. За окном было темно, огоньки светились. «Тебе грустно?» — спрашивал я, и она отвечала: «Нет, почему же?» и опять не шла ужинать или играть «в слова», или слушать, что дедушка делал в Иркутске, а когда ей говорили о чем-то, отвечала, пожав плечами: «Ах, да не все ли равно?» Я спросил: «Тебе все — все равно?» — «Да, наверно», — сказала она, а потом вдруг добавила: «Нет, я вру, это неправда, я хочу, чтобы ты был здоров, чтобы ты был счастливым».

Жили мы все той зимой как-то странно, разговоры шли шепотом, даже гости шептали, и Костик шептал, когда мы играли в настольный хоккей. Когда бабушки с дедушкой не было дома, мы с Костином делали опыты. Она к нам входила, если запах из кухни расползлся по всей квартире. «Надо проветрить, — говорила она, — Господи, небо какое! И зачем-то дырку в полу прожгли! Дырку в полу прожигали зачем?» Мы молчали, она говорила: «Приберите хоть как-то. Печенья хотите?» И доставала «помадки». Мы брали и ели, а она говорила: «Руки надо было, наверное, вымыть», — и уходила к себе. «Ну и жизнь у тебя, — удивлялся Костюнич, — она что тебя никогда не ругает?» — «Кажется так», — отвечал я, и Костик вздыхал, и поспешно брал шапку, и уходил. Чаще играли мы у него, там нам было свободнее, там нас все время ругали.

Я привык, что ее, в общем, нет, но она все время за стенкой, мне казалось, так будет всегда, но прошло сколько-то времени, и она начала исчезать надолго. «Куда мама уехала?» — спрашивал я. «В командировку», — отвечала мне бабушка. «А приедет когда?» — «Когда кончит дела». — «Это скоро?» — «Не знаю. Наберись терпенья и жди». И я ждал. Она возвращалась. Смотрела, как будто не узнавая, говорила: «Какой ты большой! Какой славный мальчик». Иногда предлагала: «Хочешь, пойдем в зоопарк?» И мы шли, и торчали подолгу перед каждой из клеток, а потом дотемна бродили по улицам, и я уставал, и тогда мы брали такси — я ужасно это любил, хоть она говорила: «Что за радость? Бензиновый ящик. Воля моя, я всегда бы ходила пешком». «Пешком убежать не удастся», — сказал я. «А зачем убегать?» — удивилась она. «Не знаю, — сказал я, — но ты ведь всегда убегаешь». — «Я? — потеряла она лоб рукой. — Милый, да я за всю жизнь шага не сделала. Топчусь себе тут и глотаю, что падает в рот». Мы вернулись домой, а через два дня она снова исчезла. Я уже даже не спрашивал: надолго? куда? Бабушка мне сказала, что через неделю мы едем на дачу, и я стал готовиться, собирал свои книжки, игрушки, долго думал, брать ли Топтыгина. Маленький, я всегда таскал его всюду с собой, а теперь уже видел, что лучше оставить. Топтыгин большой, а у нас и так много вещей. «Оставайся, — сказал я Топтыгину, — будешь дом сторожить. Что тебе делать на даче? В лес ты не ходишь, на речку — тоже». Он смотрел прямо перед собой. Я понимал: ему страшно, он боится остаться один. Я пошел к бабушке: «Топтыгин должен поехать», — сказал я. Она улыбнулась: «Возьмешь его в правую руку, мяч — в левую, рюкзак за спиной». — «Да! А цветы и рыбы?» — спросил бабушку дед. «Все в порядке, — ответила бабушка. — Ольга Петровна взялась заходить через день». Ольга Петровна, — пронеслось в голове, — а где же она? Они про нее как будто забыли. Неужели забыли? Разве может быть так, что ее не помнит никто? Я прошел в ее комнату, посидел на диване, позвонил в колокольчики на столе, потрогал какие-то книги и папки. Все было пыльным, ненужным. Я понял: сюда она не приедет. И я поехал на дачу и стал ждать ее там.

С каждым днем мне казалось, что она ближе и ближе. «Отличный гербарий», — сказала однажды бабушка, рассмотрев мой альбом. «Как ты думаешь, ей понравится?» — спросил я с сомнением. «Ей?» — «Ну да, маме». — «Конечно, понравится, — бодро ответила бабушка, — а сейчас уже поздно, ложись». — «Нет, я должен все надписать. Нужно, чтоб было готово. Она, может быть, завтра приедет». — «Вряд ли, Витюша, с чего ты надумал?» — «Она очень близко, я чувствую», — объяснил я. Бабушка вышла из комнаты. «Куриная слепота», — написал я желтым фломастером.

А назавтра она приехала, приехала очень рано, когда мы еще спали. Я проснулся, оттого что она смеялась, сидела на стуле возле кровати, смотрела и тихонько смеялась. «Что тут смешного?» — спросил я, а она приложила палец к губам: «Я просто рада, что я приехала, что ты весь в веснушках, и нос облупился». «Целые дни на речке валяюсь», — сказал я, и мы засмеялись вдвоем. «Я ходил на рыбалку один, без дедушки», — сказал я. «Ну даешь!» — удивилась она. «Правда, правда, и выловил во сколько рыбы. Не поверишь?» — «Поверю», — кивнула она. «А в лесу земляника, — сказал я. — Год необычный. Ты бы видела нашу полянку! Можно сесть и наесться, не двигаясь с места». — «Непременно пойдем, — заявила она. — Сегодня. И завтра. И съедем всю полянку». — «Ну, всюто зачем?» — спросил я, а она усмехнулась: «Я теперь жадная. Я не только полянку, я тебя съем целиком», — и она бросилась на меня, а я стал отбиваться, и мы уже не смеялись, мы рычали, как в джунглях, и я трубил, прямо как слон, а она верещала, как обезьяна, и бабушка это услышала, и вошла к нам, и закричала: «С ума вы сошли! Поселок весь перебудите. Ну, знаешь, это сюрприз! Не ждали! Но Витюшка, представь себе, чувствовал твой приезд, он даже подарок тебе приготовил. Но я все же не понимаю, как ты, откуда? Ведь еще шести нет». — «В бензиновом ящике прикатали», — сказал я, а бабушка только вздохнула: «Не удивлюсь, если даже на помеле». И я представил себе, как она летит в ступе, и волосы бьются по ветру, и испугался, спросил ее: «Ты ведь не улетишь?» — «Нет, — сказала она, — буду на речке валяться».

Я принес молоко от Гурьяновых, и мы пили его на веранде. «Как тополь разросся, — сказала она, — а цветы как? Жалко, сирень отошла. Как вы, ставили дома букеты?» — «Ну, конечно, — сказал я, — и самый большой в твоей комнате, так что можешь считать, что ты сирень видела». — «Буду считать, — сказала она. — А знаешь, что мы с тобой будем делать? Закаты смотреть. Ты смотрел на закат с обрыва?» — «С какого обрыва?» — «Над речкой. Оттуда можно увидеть самый красивый в мире закат. Я тебе покажу». — «Не знаю, как это получится, — подала голос бабушка. — Ему спать надо в половине десятого». — «Не хочу, чтобы он проспал свою жизнь», — сказала она и посмотрела на бабушку странно. И что-то веселое вдруг ушло и пропало, а вползло тоскливое, грустное, но она помала рукой, будто дым разгоняла, и сказала: «Ну что же? На речку?» И взяла меня за руку, и мы с ней пошли мимо дачи Садовских, мимо дома хромого Пафнутина, мимо пруда, мимо дерева, которое высохло в прошлом году, а потом повернули на тропку, и она все время держала меня, как будто боялась, что я убегу, и говорила: «А дышится как! Дышится тут изумительно. Каждый вдох, как глоточек жизни, дыши глубоко, а ну покажи, как ты дышишь!» И был день, длинный-длинный, и солнце застыло на небе, и мы долго купались, а потом ушли в дальний лес и нашли там ручей, и она вдруг сказала: «Я посплю, я ведь совсем не спала», и легла, а я принялся строить, потому что берег ручья был песчаный, и, проснувшись, она увидела семь крепостей. Семь крепостей стояли вдоль леса, и дорога, обсаженная деревьями, вела от одной к другой. «Ну и страна, — сказала она, — я хотела бы там очутиться. Как прекрасно, наверно, протрубить у ворот, чтобы мост опустили». — «Ту-ру-ру», — протрубил я, и мы пошли к дому, и долго плутали, но почему-то совсем не боялись, и вернулись домой, когда ужин стоял на столе, и бабушка разговаривала с тетей Ирой Садовской и, увидев нас, закричала: «А вот и они! Где вы были? Мы уже беспокоиться начали», а тетя Ира сказала: «Ну, теперь тебе скучно не будет, мама приехала», и я почему-то обиделся, а бабушка говорила: «Ну, кажется, все слава Богу, теперь еще б деду вернуться

скорей. Я так за него беспокоюсь. В его возрасте — столько мотаться! У него же ведь сердце пошаливает!» — «Ну о чем, мама, ты говоришь?! — сказала она. — Дед моложе нас всех. А мотаться — это прекрасно. Что может быть лучше, чем путешествие?» — спросила она у меня. И бабушка только вздохнула, а тетя Ира Садовская сжала в ниточку губы, и я подумал, что не люблю тетю Иру, и сказал: «Путешествовать — великолепно. Если долго идти, можно попасть даже в сказку». И она засмеялась, и стала меня целовать, и говорила: «Ты все же мой сын, ты мой сын, никуда тут не денешься!» — «Ну, мне пора», — сказала Садовская. «До свиданья», — ответили мы. А потом мы долго сидели за круглым столом на веранде, и даже бабушка не вспоминала, что мне пора спать, а она вдруг сказала: «Хочешь, я тебе прочитаю стихи? Не какие-нибудь, а самые-самые». И она стала читать, а я слушал. Я не старался понять. Я сразу понял, что это совсем непонятно, но это было неважно. Я слушал ее, слушал, как голос летел все выше и выше. Он долетел до самого неба, и небо, услышав его, заплакало. Когда она замолчала, все мы сидели, не шевелясь, и только капли дождя стучали по крыше. Я сказал: «Ты ведь гербарий еще не видела. Хочешь, я его покажу?» — «Ну конечно», — сказала она. Я принес ей альбом, и мы вместе листали его, и она читала названия вслух и говорила «отлично!», а потом вдруг сказала: «Но ты посади что-нибудь. Пусть что-нибудь вырастет вместо засушенного. Хорошо?» — «Хорошо», — сказал я.

А утром пришла телеграмма. И я сразу все понял, хотя бабушка радовалась и говорила: «Это от деда, наверно. Дед приезжает». Но она взяла телеграмму, и прочитала, и стала такая, что, будь рядом здесь помело, она улетела бы тут же. Я сказал: «Ты на ведьму похожа», и она подтвердила: «Может быть, так». А потом посмотрела мне прямо в глаза: «Я уезжаю». — «И никогда не вернешься?» Она испугалась, даже вся изменилась: «Ну что ты?! Конечно, вернусь!» А потом заспешила, собирала какие-то вещи; минута, еще пять минут — и ее здесь не будет. Я кинулся к ней и повис у нее на руке: «И я тоже поеду, я тоже. Возьми меня!» Она посмотрела растерянно, сморщилась вся: «Малень-

кий, что же нам делать? Господи! Что же нам делать?» А потом протянула вдруг руку, и как будто что-то схватила: «Знаешь, — сказала она, — мы поедем. Не сейчас, не сегодня, на будущий год. Мы поедем вдвоем, ты да я, никого не возьмем, и ничего не возьмем, просто сядем на скакуна и помчимся вперед, через море травы, через лес, через горы. И прискачем — знаешь куда? — в страну твоих замков и протрубим: «Мост опустить», и нас впустят, и музыка будет звучать, флейты и лютни — и барабаны. А сейчас я уеду одна. Ты ведь отпустишь меня? Да? Отпустишь?» Я кивнул, и мы с бабушкой вышли проводить ее до калитки, и стояли-смотрели, как она шла по дороге, скрылась в овраге, потом поднялась на пригорок и помахала оттуда рукой. Она была очень маленькой, скоро стала вообще меньше мухи, а потом исчезла совсем. «Ну, пойдем, — сказала мне бабушка, — надо кашу сварить, ты же не завтракал». Поднялся ветер, облака заходили по небу, качели скрипели в саду...

Ну а потом, когда мы приехали с дачи, она встретила нас и сказала: «Рыбы очень скучали, и я скучала, а знаешь, что я тебе привезла? Посмотри!» Это был ножик с разными лезвиями, штопором, вилкой и чем-то еще. «Спасибо», — сказал я и сунул ножик в карман. «И еще», — сказала она. Но я торопился. «Меня сейчас Костик ждет», — объяснил я. Она осталась с каким-то пакетом в руках, а я надел куртку и вышел во двор. «Привет, — сказал Костик, — это Денис». Денис держал мяч. «В ворота встать можешь?» — спросил он меня. «Могу», — сказал я. «Он теперь в нашей школе, — объяснил мне Константин, когда мы потом сидели под яблоней. — Я с ним дружу, у него этикеток — гора». — «Спичечных?» — «Нет, от бутылок. Файн олд скоч виски и всякое прочее». — «Посмотреть бы», — сказал я. «Проще пареной репы, я тебя к ним сведу, — сказал Костик солидно. — Ну ладно, пока».

Марьи Петровны у нас теперь не было. Было много учителей. «Классной будет руссичка, Татьяна Юрьевна, — сказал нам на линейке Денис, — она большая зануда, известна под именем Тюря». Я хотел что-то спросить, но Костик опередил. «Не удивляйся, — сказал он, — Дениска все знает, сбор информации — его

хобби». «Четвертый класс — это серьезно», — сказала нам Тюря. Давыдов пульнул в доску шариком. «Безобразий быть не должно, я с ними покончу», — как-то смешно пискнула классная, и мы засмеялись. Я очень боялся, что Денис сядет с Костиком, но он сел за нами, с Любой Смирновой, и я удивился, и почему-то заметил, что у Смирновой глаза голубые, чуть поднятые к вискам. Я захотел сказать это Костику, но потом передумал.

После уроков Денис предложил: «Пошли в Луна-парк. Это близко, меня одного отпускают, берем деньги — и в два на углу. Я помчался бегом, я знал, что меня никуда не отпустят, если не будут готовы уроки. В первый день задают еще мало, я писал быстро, я все написал. «Бабушка! — крикнул я, — мне два рубля нужно для Луна-парка». — «А уроки?» — «Все уже сделано». Она просто остолбенела, что-то продумала — я был в дверях — и дала деньги. Я понесся, как вихрь. Они уже уходили, устав ждать меня на углу. «Вот и я», — крикнул я, догоняя. «А мы думали, ты не придешь», — сказал мне Денис. «Хорошо, что пришел», — сказала мне Люба.

Потом мы записались все в драмкружок. Я был там реквизитором, потому что артистов и так было много. Костик мне помогал, но вообще я был главный. Ставили «Снежную королеву». Кая играл Денис, а Герду — Люба, она в этот кружок уже второй год ходила. Я рисовал герб на дверце кареты. Люба проедет в карете по сцене, и только потом на нее нападут разбойники. «А как же быть с лошадьми?» — спросила Клара Степановна. «Лошади будут фанерные, как и карета, — сказал я, — я их выпилю лобзиком». — «Но это ведь титанический труд», — сказала мне Клара Степановна. Рисовать лошадей было легко. Они получились красивыми, гордыми. Выпиливал я осторожно и медленно, я хотел, чтобы кони, которые повезут через темный лес Герду, не потеряли своей королевской стати. «Ты совсем забросил гимнастику, — сказал Костик, — табуреты, кареты, только и знаешь». — «Я не пропустил ни одной тренировки», — сказал я. «Все равно», — буркнул Костик. Но вообще-то он тоже болел за спектакль, и в последние дни мы все вместе резали снег из фольги и белой бумаги. Снег должен был падать на сцену,

тихо и медленно, как в настоящей сказке. Мы все очень старались, и спектакль получился отличный, мы играли его даже после зимних каникул, для шефов и методистов, и были программки в ярких обложках, на каждой из них я рисовал что-нибудь: розу, снежинку или оленя. Шефы сказали, что спектакль им очень понравился, и пригласили нас в Рожино, на свою базу отдыха. Мы поехали в феврале, всем кружком, с Klarой Степановной. Собрались на вокзале, почти всех провожали родители, кто-то опаздывал, кто-то пошел купить пирожки, Клара Степановна нас пересчитывала, и получалось все время не так, шум стоял хуже, чем на большой перемене. «Можно подумать, что в кругосветное путешествие собрались», — рассмеялась, глядя на всех нас, Люба. «Витька, а что твоей мамы все нет? Она куда-то уехала?» — спросил меня Костик. «В командировке», — сказал я. «Ты что? — поглядел на меня удивленно Денис, — разве не знаешь? Она из окошка выбросилась». На вокзале стало совсем-совсем тихо. «Когда?» — спросил я Дениса. «Давно, после Нового года». — «А я где же был?» — «Ты? В Москве, на каникулах». Я попытался представить себе, как она это сделала. И не мог. Я понял одно: в этот раз она убежала совсем, навсегда.



Д. КОСЫРЕВ

ИСТОРИЯ МАШКИ ВЕРШИНИНОЙ, ЖЕНЫ ДИПЛОМАТА

И так, итак, итак. Вот и появилось наконец время успокоиться, отдышаться, написать тебе. Письмо отправлю курьерской почтой. Подателю прошу верить; если по дороге на него нападут — мое письмо он проглотит раньше других документов. Проглотит вместе с моими нежными приветами, с моей любовью и ностальгическими воспоминаниями о твоём глухом голо-

се, больших квадратных очках и подозрительном прищуре в ответ на мои глупости.

Вот. Ничего фразы. У тебя учимся. Почему не пишу обычной почтой? К твоему сведению, все уверены, что письма вскрывают прямо здесь. А потом еще раз в Москве. Этого никто не может доказать, и все же ни один разумный человек не стал бы тебе просто так посылать отсюда то, что я пишу и буду писать.

Как живем? Как два мыша, в обычной такой, московского типа, двухкомнатной квартирке на посольской территории. За стенами — такие же сограждане. В общем, дипломатическая общага, со своим комендантом и дежурными. Первые мои мгновения здесь: в состоянии полной протрации подошла к окну, взглянула на растущий под ним банан, ослепла от солнца. За спиной раздался страшный хрюкающий звук — это Вовий огромным мачете срубил верхушку кокосового ореха. Он тут за два месяца без меня стал совсем местным. Запах тропиков, незнакомая комната, его руки и лохматая грудь. Спала потом чуть не сутки.

Ну, а сейчас никуда почти не ходим. Вовий дорвался до своей мечты — орешков и пива в неограниченном количестве под телевизор. Заслужили мы с ним, наконец, покой после бессмысленной московской беготни, или как?! И вот сидит он, смотрит строго, щеки так и ходят, а по ящику местный усатый тип рекламирует вентиляторы. Ну и я сижу, как и полагается женщине, на ковре у его ног и тоже щеками шевелю — из солидарности. И, ей-Богу, ничего мне больше в этой жизни не надо.

Но вообще-то счастье — это дорога. По воскресеньям садимся в любимую Володечкину «Хонду», застегиваем ремни и несемся к океану. Как раз две трети этой карманной страны проезжаем туда и две трети обратно, если мерить ее поперек. И это, дорогой мой, настоящее счастье.

Сначала будто несемся сквозь строй огромных, похожих на кресты с Голгофы, телеграфных столбов. Солнце сюда не пробивается, над шоссе стоит ядовито-желтая гарь, и все столбы, столбы и глухие грязные стены заводов.

Но вот кончается город, начинается рай. То плантации ананасов, будто гранаты-лимонки с венчиками

жестких листьев на грядах, то рощи кокосовых пальм, то ряды домиков в цветах под соломенными крышами. А потом на горизонте возникает рядок вулканов, как зубы акулы: серые, треугольные.

Останавливаемся, пьем кофе под скалой, у тех самых мест, где некогда заблудился старый конкистадор. Боря!! Все это действительно существует на свете, я так и знала.

И вот начинается последний отрезок пути, и Володечка звереет. Он вдавливая свои очки в переносицу. Лицо становится жестким, верхняя губа подтягивается, открывая зубы, он будто примерзает к рулю. Первая, вторая, третья, четвертая — восемьдесят в час за несколько секунд. Дорога мягко бросает нас с холма на холм. В этот момент он повелительным неувимым движением передвигает рукоятку до отказа вправо и еще вперед. Это пятая скорость, у наших автомобилей ее нет, — и ты будто взлетаешь. Вот 120, 130 и больше, «Хонда» летит. Мне с ним рядом в такие минуты абсолютно спокойно: это и есть тот человек, за которого мне надо было выйти замуж. А вы мне не верили, крысы, противные притом.

И горе машинам впереди: Володя этого не любит, особенно если они синего цвета. Почти не разжимая губ, он бормочет: «Ты почему такой синий?» — и вдруг врубает четвертую скорость, и «Хонда» с ревом, прижимаясь к дороге, оставляет позади несчастное синее авто. Особенно мы любим обгонять «Мерседесы». Это нам льстит.

Океан — пес с ним. Горячая соленая лужа. Не в нем счастье. Оно в дороге.

Вот. Время от времени буду посылать письма обычной почтой, для отвода глаз, на собачьем языке. Целую. Донна Мария».

Боюсь, что мне не поверят, но «подателем» этого и прочих писем был дипкурьер — его Машка учила на курсах языку до того, как ушла в науку. Почти год, кроме секретных дипломатических вализов, он регулярно возил в кармане еще и Машкины послания. И это истинное чудо, что подтвердит любой, знакомый с дипкурьерской службой. Не говоря уж о том, что

письмоносец обладал угрожающей внешностью, и на вопрос «как дела?» отвечал единственным образом: «нормально». Мы встречались с ним несколько раз, в основном в метро, и кроме «нормально» я от него не дождался ничего. Но доверял я ему абсолютно, потому что при всей знаменитой Машкиной безалаберности у нее было и остается безошибочное чутье на людей. Что лишний раз доказывает, что Машка — человек уникальный.

Со стороны может показаться: забавный, похожий на лисичку человечек, который постоянно борется с собственной фигурой и имеет обыкновение горестно спрашивать нас: «зачем вы позволили мне съесть это пирожное?» Но для кого-то мягкой грустью и сдержанным торжеством звучит с ее появлением невидимый оркестр, и призрачный дирижер во фраке еле сдерживает слезы восторга и упоения.

Сколько раз мы гладили ее по мягким, как у ребенка, волосам, помогая ей выпутаться из очередной истории. Историй было предостаточно, виной тому — полнейшая Машкина искренность, наивность, несдержанный язык. И все же никому не дано было права оспорить Машкино решение выйти замуж за знакомого нам юного дипломата Вовку по кличке «консул Вовий». То был превосходный экземпляр мидовца с непроницаемо добродушным лицом, неизбежными затемненными очками и довольно покладистым характером. Странный выбор? Да... но Машку с ним уже ловили раза два на взглядах, неопровержимо свидетельствовавших, чем они занимались за час до того: взглядах успокоенных, насмешливых, не желающих скрывать свой секрет. Итак, мы склонились перед ее выбором, а объявленный немедленно после свадьбы отъезд за Атлантику восприняли как акт высшей справедливости: Машка была достойна Нового Света, и, возможно, он — ее.

Все это уже — из другой жизни. До сих пор на стене моей кухни красуется снимок, сделанный в один из многочисленных вечеров прощания с Машкой. Наши лица тех дней: сейчас они для меня как потемневший родовой герб с василисками, башнями и мечами — знак верности себе, символ связи времен. Клятвы в наши дни немодны, но их и не надо — мне и сегодня до-

статочно лишь посмотреть на этот снимок, на нас, тогдашних. Вот Тимур Азизов в черном свитере, со вздыбленной прической. Он потом получил Красную Звезду в Афганистане и почти сразу после этого другую звезду, на обелиск. Вот Вася Буланов в драных джинсах на тощих ногах — сейчас он стал депутатом, выдержав дикую драку на выборах. Вот я пристроился с краешку. Вот и Машка с гордо вскинутым подбородком смотрит в глаза дипломату Вовию, чье лицо, как всегда, непроницаемо.

...Тон писем ее изменился фактически сразу:

«Странный мир. Сколько фильмов снято о дипломатах — а в жизни... сидят люди в конторе, шуршат бумагами. Володечка, скажем, отвечает за бумаги о наших отношениях с этой банановой республикой. А поскольку таковых фактически нет, его гоняют, как бобика, с мелкими поручениями.

А как невероятны контрасты! Вот представь себе сцену: пустая булыжная площадь перед огромным серым собором. Тихо дремлет лошадка в шляпе, впряженная в двуколку. После мессы расходятся умиротворенные сеньоры и их темнолицые дамы в платьях старинного кружева и даже с настоящими кружевными зонтиками. Они движутся медленно, в ритме паваны. В воздухе дым от жаровен, пахнет кукурузными лепешками и кофе. Сказка, декорация!

Но тут представь себе, что в эту декорацию забрели по ошибке актеры из совсем другого спектакля. Тяжелой походкой на сцену, к изумлению собравшихся, выходят советские граждане. Хочется зажмуриться, просочиться сквозь щели старинной мостовой под землю. Потом вижу, что не надо прятаться: местные принимают меня за своего и не находят ничего общего между мной и прочими совгражданами. Хуже всего, что и наши это замечают.

Советские граждане в очередной раз идут «чесать лавки». Это означает — изучить досконально целый торговый квартал, который подешевле, обменяться накопленной информацией: что, где, почем. Потом все это набирать, косясь интереса ради на то, что берет сосед. Ни один местный в городе не знает так, как наши, где чего есть по дешевке.

И наших знают. Хихикают вслед. Действительно, смешно: эти невысокие изящные люди с черными волосами — и наши, будто только что вырвались из ГУМа. Толстые как на подбор, со злыми настороженными лицами...

Третий месяц сижу среди этих людей как в вакууме. Здесь действует закон: никакой информации о себе. Как живешь? — нормально. Где была? — в магазине! Я этот закон, пожалуй, усвоила поздновато.

Почему так? А сплетни, мерзее некуда. Кто-то, например, запустил, что у меня венерическая болезнь. Это, судя по всему, от посольской докторицы, которая подписывает счета. Ей показалось, что счет из женской консультации странно выглядит, и сумма больше обычной. Сначала я не знала, как мне всем в глаза смотреть, а Вовий сказал: да это еще цветочки, гляди на них как сквозь стекло.

Вот. Машка».



«Боречка, жизнь становится уж совсем нестандартной. Ну, скажем, я покупаю сыр. А можешь ли ты представить себе, что когда одна из баб посольства, увидев меня в магазине с тачкой, рассмотрела внимательно ее содержимое, она спросила меня: у вас что, вечеринка намечается? Я сказала, ничего не поняв, «нет». Тут она выпучилась на меня, так и расстались.

Оказывается, большая часть людей тут о сыре и не мечтает — или, скажем, о толстой усатой креветке. И не потому что их нет, как в Москве, и не потому, что платят нашим уж так совсем мало. А потому, что сюда едут с намерением обеспечить себя на всю оставшуюся, и поэтому везут с собой и мыло, и рис, и гречку ровно на год вперед. А тут жена какого-то поганого третьего секретаря ест сыр.

Посмотрел бы ты, как тут проходит «день заграничника» — отправка барахла ящиками, морем, домой! Это катарсис! Это смысл жизни!

Ты знаешь, до сих пор не могу запомнить их имена. Они все такие похожие, толстые, с непроницаемыми утомленными лицами. А вот за мной, оказывается, многие следят очень внимательно, знают и мое имя и мно-

гое другое. Например, отметили, что я уже дважды была в театре за свои деньги. Это еще больше укрепило их во мнении, что перед ними — «не наш человек».

Кстати, о зарплате: если жить по-человечески, то еле хватит. Денег у нас особых нет. Люди получают вдвое меньше и отправляют ящики. Володечка воспринимает это все пока с юмором. И не спорь со мной — хотя ты и не споришь — что у меня хороший муж! Пиши. Пиши мне, в издательство, и в стол. Маша-разэтакая».



«Зарисовки нашей жизни, тебе в людоведческий блокнот. Тут и мои наблюдения, и эпос заграничника.

Первое: как экономят валюту. Двое детей врача колонии года три назад были положены в больницу с диагнозом: истощение, недоедание, потеря интереса к жизни. Оказывается, родители их почти не кормили, зато кололи казенную глюкозу и витамины. Только вот не рассчитали — недокололи. Кстати, когда-то я на детской площадке, задумавшись, достала из сумки апельсин. Подбежало двое детей с бешеным блеском в глазах. Увидели апельсин! В тропиках!

Это, конечно, совсем другие дети, не те, которых кололи. Похоже, в лице их родителей нажила себе смертельного врага. «Тетя Маша апельсин ела и нам дала...»

Теперь — как зарабатывать валюту. В 24 часа был выслан работник торгпредства в соседней стране. Ибо давно уже наблюдалось, что жена его (похоже, фиктивная, взятая ради выезда за рубеж) почти не посещала обязательных здесь(!!!) киносеансов. Муж же смотрел все подряд. При этом заметили странную циркуляцию лиц мужского пола: один в темноте встает, выходит, возвращается через 15 минут. Тогда встает и выходит другой... А это, оказывается, фиктивная жена зарабатывала валюту поточным методом.

После этого не удивляйся, что каждый подозревает другого в воровстве, расхищении народного добра, махинациях, жмотстве и жлобстве: по себе судят. Вот тебе пример. Женщины выписывают из Англии, коллективно, мохер. Я это дело дважды пропустила. Значит, для чего-то экономлю деньги. Все гадают: для чего...

О зубах. Кругом полно зубных врачей. Все советские ходят к одному и тому же. Опять-таки запрета на прочих нет. Но с чего бы это — все ходят к одному, а эта — к другому?

Зато у каждого есть что-то свое: свой парикмахер, свой уголок на пляже, куда не сунутся ненавистные (здесь все друг друга ненавидят) рожи. И не выдаст никто такое местечко под пыткой.

Но если ты была в известной всем лавке, что-то видела по дешевке и не сказала подружке, ты враг. Потому что ведь туда через час примчатся прочие подружки и скупят все на корню. Ну и зверинец! Наслаждаюсь из последних сил...

А теперь позволь представить тебе: его превосходительство посол, чрезвычайный и полномочный, а также пряный и т. д., Сидор Федотович Будко (Señor Budko). Бывший первый секретарь какого-то Богом забытого обкома, отправленный сюда на пенсию по доброй традиции, вызывающей зубонный скрежет у настоящих, годных на что-то дипломатов.

Его превосходительство неграмотны. Каждое утро два дипломата приходят к нему в кабинет на «читку»: в благостной тишине часа полтора читают вслух местные газеты. Его превосходительство кивают головой так, будто заранее предвидели все события, и иногда приговаривают: «Дяде Сэму кланяются». Или: «Забегали, тараканье вонючее».

До того, каждое утро, завхоз ставит ему в холодильник один литр «Посольской» (что логично). Его превосходительство выкушивают стакан, к чему привыкли с обкомовских времен, и по коридорам даже через закрытую дверь разносится рычащее «У-ух!» (Гадость ведь все-таки.) Рабочий день начался.

По вечерам гуляют лично кругами вокруг посольского бассейна (все кругом в эти минуты вымирает). В черном костюме, по жаре. Штанины короткие, по щиколотку.

В местных дипломатических кругах его уважают за молчаливость и неприступный вид, считают, что он намеренно прикидывается идиотом.

...Жена коменданта купила живопись. На рынке. Здесь, а также в соседних Перу и Колумбии, давно уже

работает прелестная школа примитивистов — я о них еще дома слышала. Эдакие вроде бы детские рисунки: игрушечные горы, по ним выются игрушечные улицы, по улицам гуляют человечки с умными смеющимися лицами... Я начала сдуру это с ней обсуждать и услышала:

— Какой же это примитив, если я за него двести песет заплатила?

Нет слов... Пиши! Машка».

Если читатель помнит, в первом же послании она обещала присылать время от времени письма на собачьем языке. У меня остался один образец:

«Дорогой Боря. Володечка очень много работает на благо народа, гав, гав, так работает, так работает, что и сказать невозможно. Мне ищут дело по линии женсовета, что, бесспорно, интересно и познавательно, р-р-гав-у-у. Вот такая жизнь, а что она творит с вами в Москве? Тяв».

Но продолжим с обычными, «курьерскими» письмами:

«Ах, ты этого всего не можешь понять. Представь себе, и я тоже, хотя начинаю.

Суть тут вот в чем. Представь лагерь: пионерский или для уголовников; кстати, отличия не так уж велики: с утра — подъем, стройся, равняйся...

Общая идея лагеря: чтобы все чем-то все время были заняты, а то разбалуются, и еще чтобы никому не было хорошо, и еще чтобы на всякий случай в воздухе висело ощущение неясной угрозы. Вот, скажем, очередная суббота, лагерный день, показывают советское кино. Явка всем обязательна. Здесь вообще все обязательно. Попробуй, спроси, каким документом это предписано — не ответят, но возьмут на заметку.

Так вот, перед кино собираются все. Сидят, глядят прямо перед собой не шевелясь, с застывшим на лицах выражением тупой покорности и еще глубокой тоски. А некто с добрым лицом и пронзительным взглядом вещает:

— Вот, товарищи, такая заметочка в местной газете. В таком-то квартале грабитель напал на двух европейских женщин, отобрал деньги и одну полоснул ножом по горлу. Так что пришло время в очередной раз напомнить

вам, что мы живем в особых условиях заграницы, где для советского человека есть правила безопасности. У нас же порядок выезда в город соблюдают не все...

Тут его глаза начинают шарить по залу с методичностью радара, на мгновение пригвождая к креслу каждого:

— Следует сказать, что нам известны люди, которые правила эти в последнее время начали нарушать — например, заезжают в неположенные советскому человеку места...

Только при мне этих сеансов завораживания кроликов было четыре. Штука тут вот в чем. У нас, скажем, есть машина, и мы спокойненько, хоть и чувствуя себя Штирлицами, ездим в те самые неположенные места, коих — полгорода. Другие же, техсостав (коменданты, уборщики, в общем, не дипломаты) машин просто не имеют, их вывозят в определенные дни на рынок и в магазин на автобусе, и даже назначают старшего. Можно понять, что проистекает: лагерники эти до скрипа зубов ненавидят нас, лошадных, и если могут донести, напакостить — напакостят. И в общем можно их понять: представь себе, что ты будешь все покупать под косыми взглядами товарищей, которые от нечего делать размышляют: что покупаешь? Зачем? На какие деньги?

Раз в год приезжает такой же радарный дяденька из Москвы. На аналогичных собраниях рассказывает одну и ту же историю: как поддалась провокации советская гражданка в шестьдесят лохматом году. «А вы не смейтесь там! — вдруг ревет он, выбрав себе жертву. — С улыбок все и начинается. Так вот, после трех невинных, случайных встреч он пригласил ее в ресторан. А там начал расспрашивать ее о муже-дипломате, его друзьях...»

Хоть бы меня кто-нибудь спровоцировал. Кстати, хотела бы я посмотреть на жену дипломата, которая просто так выходит в город на встречу с классовым врагом. Ведь для этого как минимум надо ехать на машине (за рулем — муж) и еще записаться у дежурного: такая-то, шесть тридцать, в город, на встречу с провокатором.

Что они, мерзавцы, делают с людьми? Человек — веселое, свободное, умное, шаستاющее везде животное. Во что нас превращают?

За забором — чудесный и невиданный мир. Но туда низя. За неповиновение следует наказание: тебе не дадут больше возможности скупать барахло организовано по субботам, отправят домой. «Придется в качестве последней и крайней меры отправить Вас на Родину...» — Родиной пугаешь, сволочь?

Грустно это, дорогой. Хотелось увидеть дальние страны, и вот.

И еще — не ругай меня за пошлость, но на пальмы смотреть уже не могу, солнце надоело. Хочется кусочек серенького неба, и чтобы после пришла весна. Мы без этого не можем, чтобы не ждать ее перманентно. А дождь? Да что они, местные жители, понимают в дожде?!»

Последние слова этого письма меня заинтересовали. Дело в том, что никогда, никогда я не пересекал границу Отечества, не общался с обаятельными и улыбчивыми нашими пограничниками, штампующими паспорт. Не вдыхал незнакомый высокомерный запах аэропортов дальних стран, без предупреждения врывающийся в ноздри при выходе из самолета. Раньше не ездил — потому что такие, как я, в основном сидели дома. Сейчас, правда, никто мне не помешает — но ведь никто и не звонит почему-то по моему расколотому два года назад и скрепленному прозрачной лентой телефону, никто не говорит: отец, а поезжай-ка ты на годик туда-то и туда-то. Я там не нужен, с моими двумя ненапечатанными романами и пачкой рассказов. Да и здесь тоже не нужен. Раньше меня не публиковали по известным причинам — «за непопадание в струю», сегодня печатают Белого и Набокова. Конечно, они лучше.

Так что с прекрасной, рвущей сердце тоской по дому я знаком только благодаря Машкиным письмам. Это они заставили меня понять, что такое сидеть у окна с видом на пальму и вспоминать свой милый московский двор. Там нежно-серый асфальт то миражно расплывается на летней жаре, то вскипает под дождем, становясь похожим на мокрую шкуру бегемота. Там древняя, пятидесятых еще годов крышка пожарного колодца — как панцирь заснувшей черепахи, а тротуар — географическая карта знакомой тебе страны: трещинки — реки, буторки — горы...

А дождь, неотвязный наш и родной! Вот ты просыпаешься — а за окном не слышно сегодня звона цепей грузовиков и шелеста шин по сухому асфальту. Все заглушает ровный влажный звук, будто прибавили огня под сковородкой. Открываешь окно: какая же грустная симфония серых тонов, от беспросветного до жемчужного!

А вошедшее в кровь, в гены наши ожидание весны! Вот март — но, придавленный клочковатыми облаками к самой земле, ты счастливее всех на свете — потому что учуял в этом воздухе весну, и уж ее-то никто на свете у тебя не отнимет. И пусть благословенны будут и вздрагивающая под ударами сырой мартовской вьюги изогнутая металлическая штанга фонаря под твоим окном, и вмерзший в сугроб еще в прошлом декабре, а сейчас показавшийся на свет пустой пакет из-под молока с пожелтевшей целлофановой подкладкой. Ведь все это вестники весны, идущей из Машкиной страны пальм, вулканов и бутенвилей.

«Вот тебе любопытнейший документ, уворованный мной из профсоюзно-прочей документации:

„Функционирование женсовета является наиболее действенной формой объединения и сплочения женского коллектива, привлечения женщин к участию в системе политического просвещения, воспитательной, культурной и массовой работе, протокольным мероприятиям, вопросам обеспечения быта, отдыха и т. д. Учитывая кратковременность нашего пребывания в стране, с первого дня прибытия сюда новых семей их членов подключают к участию в мероприятиях, выявляя при этом склонности и таланты. Этому во многом способствует женский чай — встречи женщин коллектива, имеющий воспитательное, познавательное и культурное значение. Привлекая женщин к участию в подобных встречах, ставилась цель помочь многим не только расширить диапазон своих знаний, но и раскрепоститься“.

Нет, ты представляешь — чай, имеющий воспитательное, познавательное и культурное значение! Все наши пекут сутки всякую липко-сладкую гадость в больших количествах и вообще проявляют бешеную активность. Не пойти немислимо. Давишься, а пьешь.

Податель сего уполномочен взять у тебя последние литературные новинки, если таковые имеются. Поразительно, до какого болотного состояния вы, классики пера, дошли. Я понимаю, что когда третий подряд лидер государства ноги не таскает и мышей не ловит, то не до изящных искусств, но... впрочем, с этой своей вредной мыслью я не согласна.

А здесь в любом магазине — Маркес, Борхес, Кортасар!!! Говорила я тебе: учи еще пару языков, будешь потом плакать в бессилии и злобе. Вот.

Ну, а по линии раскрепощения и выявления я читала лекцию на пресловутом женском чае. Ты знаешь, что читать я могу очень и очень — а тут застоялась, и с удовольствием показала им класс. После меня суровым голосом зазвала к себе супруга партийного секретаря Сергея Сергеевича и одновременно глава женсовета Ольга Викторовна. Это был первый случай, когда кто-то со мной здесь говорил по-человечески... Кстати, заметь: чтобы третий секретарь, как мой Вовий, бывал дома у советника слишком часто — это низя, это создаст проблемы обоим. Советника не будут уважать равные ему по калибру, Вовия заподозрят в том, что он любимчик начальства — если не доносчик. Ну, и жен все это касается.

Так вот, Ольга Викторовна посадила меня на диван, налила тошнотворного ликера «Амаретто» и начала говорить потрясающие вещи.

Оказывается, прочитав лекцию честно и в полную силу, я совершила несколько ошибок сразу. А именно: показала, что я умею их читать не по бумажке. Теперь меня будут привлекать к этому делу по поводу и без. Здесь полагается скрываться. Один раз, скажем, признаешься, что умеешь петь — и на всех посольских вечерах будешь, как жучка, расплескивать в десятый раз душу перед микрофоном под злорадными взглядами.

Я наглядно показала также, что я выше всех остальных: преподаватель, кандидат наук и т. д. Здесь и так все ненавидят всех, а уж если даешь для этого неясного чувства конкретный повод...

Вообще нельзя про себя ничего говорить, показывать. И следует помнить, что здесь у людей друзей нет, друзья в Москве, вот ты, скажем.

Ты сообщи всем тем, кто завидует заграничникам: нормальный человек здесь не свихнувшись или не спившись не выживет.

И вот пример: Ольга Викторовна говорила мне все это истеричным шепотом, будто выдавала государственную тайну классовому врагу. И еще постоянно выходила, возвращалась еще более возбужденная, и изо рта ее пахло каким-то одеколоном. Я слышала, что муж ее упивается по вечерам дома до стеклянных глаз, и вот теперь...

И вот теперь я сама занята распространением сплетен. С чем себя и поздравляю.

В завершение нашей беседы она сказала мне: я не должна удивляться (и протестовать), если в ближайшее время она мне вынуждена будет сделать за что-то публичный выговор. Это — для моего же блага. А то будут завидовать — те, кто вот сейчас засекает время, сколько же я провела в гостях у жены советника.

Несчастливая, жалкая женщина. И мне тоже это предстоит?

Самое смешное, что та жизнь, которую нам всем показывают в кино — аристократы в своих палатках, приемы в садах, увитых гирляндами лампочек, у бассейна; интереснейшие люди — все это не просто есть на свете: оно буквально за забором. Но нам туда низя. Можно разве только сеньору Будко. А это, знаешь, похуже, чем сидеть в Москве и видеть кино.

Интересно, почему, когда советских граждан собирается больше двух, то это уже гадюшник? И бедность наша тут ни при чем. Конечно, мы тут получаем копейки. Но никогда не пойму лютой ненависти человека, получающего триста пятьдесят долларов, к тому, кто получает триста семьдесят. Не пойму — оттого и страдаю.

Найти бы того, кто первый сказал, что любой коллектив — это воспитующая сила, и воткнуть ему в могилу осиновый кол. По мне так нет более страшного матерного слова, чем коллектив.

Ненавижу их всех, коллектив их мать!»

* * *

«Его превосходительство посол получил какую-то депешу из Москвы и свихнулся. Видимо, то было ука-

зание отказаться от бумажного стиля работы. Он зашвырнул свои бумажки в ящик, позвал всех и сказал: вот видите — ни одной! Вот так и будем теперь работать. И только так. На другой день пошел по кабинетам: ну-ка, у кого на столе бумажки? А в 48 часов не хотите вылететь?

Кстати, вот у этого старого клоуна в коротких брюках — право выслать любого в 48 часов и лишь потом объявить, за что. Он тут представляет собой советскую власть — и юридическую, и законодательную, и исполнительную. Вот так!

В общем, дорогой, я, кажется, скоро свихнусь окончательно. Эти рожи! Мне все кажется, что это они прикидываются, чтобы надо мной поиздеваться, а как только я уйду, то снова становятся нормальными и от души надо мной смеются.

Новый год! Ты думаешь, что это семейный праздник? Так вот, советский человек, проживающий в сложных условиях зарубежья, встречает его в коллективе (явка обязательна). Так же как, к твоему сведению, советский человек за несколько дней до 7 ноября и 1 мая садится на карантин, и выезды в город, тем более на море ему запрещены — хотя лошадные, конечно, ездят, но боятся. Дело в том, что враг имеет обыкновение устраивать именно в эти дни провокации. Правда, ни один опытный международник не помнит, чтобы враг эту свою склонность в эти дни реализовывал. Провокации, конечно, тут бывают. Но по другим датам. Скажем, даже тут, в глухой банановой республике, нашлись-таки наймиты империализма, учинили пикеты по поводу годовщины Афганистана. Стоят с плакатами: убийцы, убирайтесь оттуда!

Вот так я, Машка, оказалась убийцей. А Тимур Азизов! Почему ты не писал мне так долго, что он там погиб? Так не верится!

Так вот, Новый год. Городишка наш весь в огоньках и гирляндах, уже за две недели все бросают работу, в магазинах — нескончаемый праздник. Советский же человек готовит общий стол в актовом зале посольства (вроде привокзального ресторана). По три куска колбасы и три картошки на брата, по стакану водки и двум стаканам сухого вина, и так далее: все рассчитано, и

не дай Бог по ошибке съесть чего лишнего, будут потом вечно перемывать кости. Несчастные жертвы готовятся читать стихи и петь патриотические песни. В общем, указано веселиться до визга среди любимого коллектива, прости за матерное слово.

И вот я неделю готовилась выступать, по разнарядке, в хоре — в расшитой петушками русской рубашке, с повизгиванием, притоптыванием и поклонами в сторону столика посла. Готовилась и не верила: неужели со мной это будет?»

(Единственный раз на моей памяти Машка пела хором на Крымском мосту вместе с автором этих примечаний и, так сказать, группой товарищей — все были под большой мухой. Над черной водой Москвы-реки, по которой грязный лед плыл по отражениям фонарей, будто сигаретный пепел, несло: «Комм-тю-э-бель, Эм-мануель!!!», исполненное дурными голосами. Больше случаев не было.)

«...И наконец я не выдержала и сказала себе: а пусть все подохнут. Прикинуть больной. И прикинулась. И с садистским любопытством наблюдала, как мечется и корчится Вовий. Долг дипломата призывал его встретить магнитофонный звон курантов с коллективом. Семейный же долг — быть со мной. Он прибежал домой в 0 часов 36 минут: дипломатия — искусство компромисса! Но довольными не остались ни коллектив, ни я, причем обе стороны ничего ему не сказали, и он страдал еще больше.

Становлюсь жестокой.

С Новым тебя 1985 годом! Машка».

* * *

«Приезжал великий поэт. Вел себя нестандартно: устроился в гостинице, не рекомендованной советским командировочным, взял в аренду машину и вообще всех нас видел в гробу. На всякий случай его поручили опекать Вовию. «Может, в магазин? — спросил Вовий, зная, что интересуется среднего советского человека за рубежом. — Могу Машу дать в провожатые».

Я стояла рядом, у меня постукивало сердце. Поэт, видимо, услышал этот стук, и, чуть засмуцавшись, сказал: ну, часика на два-три.

Магазины здешние он и без меня знал. Он сюда приезжал еще когда никакого посольства тут не было. Он повез меня в квартал уютных мотелей, куда заезжают на часок парочки, которым негде и не терпится — дорогу сюда он знал очень хорошо. Перед кварталом он остановил машину и, как джентльмен, дал мне шанс испугаться — спросил: какой лучше? Я вспомнила его стихи, всю его жуткую неустроенную жизнь и указала пальцем: сюда.

Впервые за год почувствовала себя человеком и женщиной впридачу. А ты прости меня — когда я стащила у тебя, помнится, последнюю значенную сигарету, это было куда хуже, правда?

Потом поэт накормил меня лучшими испанскими пирожными в городе и на прощание, глядя на меня несчастными собачьими глазами, сказал: «Милый человек, не надо мне ничего рассказывать. Я все вижу и понимаю. Я про тебя напишу».

Вот видишь, меня кто-то в этой части света понимает. А если и правда напишет? Лишь бы не белыми стихами. Они у него не очень...»

* * *

«Был сезон жары. Болела. Потеряла шесть килограммов. Врагу и даже коллективу не пожелаю болеть в тропиках. В окно на все это смотреть страшно и противно. А пока я валялась, в открытую обвинили в воровстве бухгалтера, а весь коллектив — в том, что не проявили бдительность. Отправили домой. Причем доказательств пока нет, будет разбираться следствие, может он и не виноват, но уже отправили. Это так делается. Все ходят запуганные и сплетничают шепотом.

Писать лень. Все лень. Рожи эти видеть не могу. Это не люди, это не жизнь, это шутка какая-то.

Про поэта я все придумала и наврала. Прости».

Перечитываю и пытаюсь понять: почему же, почему так долго мучила меня история Машки Вершининой? Почему я храню до сих пор ее письма на чужой экзотической бумаге — то розовой, то голубой, то белой с тиснением — кажется, она, восхитившись, постаралась

накупить понемножку самой разной... но я не о бумаге, я о Машке и только о ней.

Мы пишем о них — близких и дорогих нам, или случайно встреченных — зачем? Да Господи, чтобы они простили нам — или чтобы мы сами простили себе. За то, что могли помочь — и не помогли.

Не ищите здесь логики. Ее нет — только полупрозрачные линии, еле лежащие в схему. Как мог я помочь Машке с другого конца земного шара? Смешно... Но что-то ведь сидело у меня все эти годы в душе, подобно злобному шипастому животному. Не видно его, не слышно, но вот оно опять поворачивается — и колет, проклятое.

Да мало ли неприятностей у Машки сегодня, и ведь тоже не всегда поможешь ей — наоборот, бывает — позвонишь, отругаешь за дурость, и никакого тебе чувства вины. Но той Машке, которая даже на экваторе нарвалась на концентрированное российское скотство — вот ей я уже не помогу, и это уже навсегда. Дали ребенку вместо конфеты аккуратно свернутую конфетную бумажку — а он, глупый, обиделся. И вот ему уже восемнадцать, а ты все забыть не можешь...

Вот сейчас вы будете возмущаться и напоминать мне, как я же пытался хоть что-то сделать для буквально обрушившейся на меня тетки из Воронежа, которая два года прожила с тремя детьми в раздевалке стадиона, и никто, ну никто не желал ей помочь. Будете гневно говорить о тех, что стоят, качаясь от усталости, за молоком после работы — если оно вообще есть; о тех, что высиживают часовые очереди в поликлиниках или лежат в жутких больницах, где не дозовешься санитарки. Станете утверждать, что утрата иллюзий жены третьего секретаря уж как-нибудь с этим нашим привычным ужасом несравнима.

Спасибо вам. Вот теперь я знаю, что глодало меня все время — именно это ваше праведное возмущение.

Потому что пока вы кривя рот, будете кричать о муках других — и яриться, слыша об агонии местного масштаба благополучно пережитой Машкой Вершининой, я не поверю в вашу доброту. Не бывает она выборочной. Либо вы — человек по отношению ко всем одинаково, либо вы не человек. Это за вас тоже я хо-

чу сказать «прости» Машке, которая уж и простила давно, и забыла, и без нервного смеха о тех днях вообще не вспоминает.

...Осталось последнее письмо.

«Не писала месяца полтора — извини, просто не могла. Во-первых, поздравляю с очередными похоронами и очередным лидером. Ну, а у нас пока начинается очередной кретинизм: борьба с пьянством. Вести ее собирает человек с радарными глазами, милостиво санкционирует синий от водки его превосходительство, уж не говоря о Сергее Сергеевиче с отрешенным взглядом. Как они это намерены делать — скучно рассказывать. Только одна деталь: уже сейчас время от времени разным людям нашей общаги в дверь, как бы по ошибке, звонит мальчик, живущий на последнем этаже. Мальчику девять лет. Вообще-то раньше он хорошо помнил свою дверь.

Ну, я уже совсем не та, что полгода назад. Такое ощущение, что тепла и жалости во мне ни к кому не осталось. Поэтому я в тот же вечер, когда была объявлена кампания, встретила своего дорогого и любимого после работы звоном льда в стакане с «Джонни Уокером». Пусть понервничает.

Стерва — она и есть стерва. Это я о себе. Я еще не то могу.

Вечером вышла вынести мусор. Дверь в соседнюю квартиру была приоткрыта. За ней виднелся Сергей Сергеевич в белой рубашке с черным галстуком, на четвереньках передвигавшийся в сторону ванной. Он заметил меня и медленно выговорил: «Добрый вечер».

Ну, держитесь, сволочи, я вам покажу сухой закон! Вы-то там как, ребята? Боретесь?»

...В сущности, история Машки Вершининой, жены дипломата, закончена. Можно предоставить самому читателю безошибочно угадать, через сколько дней после получения этого письма мы уже встречали ее в Шереметьеве с цветами, крамольными в те дни бутылками шампанского и радостным хихиканьем.

Впрочем, можно и рассказать, как все было. О том, как однажды мужественно боровшаяся с сухим зако-

ном Машка — по странной случайности в этот вечер трезвая — открыла дверь своих апартаментов на неожиданный звонок и обнаружила на пороге исполненную достоинства, предвкушающую скандал делегацию от парткома, профкома, женсовета и комсомола. Она была отряжена не только обнюхивать совработников, но и проверять содержимое баров у всех обитателей дипломатической общаги. Дома, как известно, у нас до такого все же не доходило, а за рубежом возможно все.

Но минуты такой ждала не только делегация, а и сама Машка. Так поэт с замиранием и ужасом жаждет выйти к погруженному в черноту залу — под огни лайм-лайта, под перекрестный прицел тысяч невидимых ему глаз, пригвождающих его к деревянному пятачку у микрофона.

Дело в том, что к тому моменту время тихих Машкиных истерик прошло, она уже все понимала. И члены комиссии не дождались ее унижения. Она просто произнесла несколько слов тихим голосом, с безупречной вежливостью. Вообразим лезвие бритвы, входящее в тело бесшумно и безболезненно — и только когда уже отведена державшая ее рука, приходит рвущая боль. Так и члены высокой комиссии, не пущенные на Машкин порог, уже давно спускались по лестнице, когда до них начало доходить, как же здорово о них вытерли ноги.

Думаю, что некий административный мазохизм сидит во многих из нас. Послушайте ветеранов, которые мечтательно произносят: «Да при Сталине нас за такое бы уже...» — и еще причмокивают губами, будто перелистывают первого издания «Книгу о вкусной и здоровой пище». Впрочем, множество вполне молодых профессиональных холуев тоже наверняка испытывают оргазм в те неповторимые моменты, когда им плюют в лицо или (все это, конечно, фигурально) дают пинка под зад. Я не уверен, что все незваные гости Машки относились к этой категории, но возможно, что хоть один из них тайно влюбился в нее после столь ошеломляющего приема. Ах, увидеть бы их лица в тот момент!

Конец истории? Легко сказать... Уже осенью, например, я невольно застучал в квартире моей общей знакомой, куда зашел без звонка, Машку и ее только

что вернувшегося Вовия. Обоих — с несколько помятыми розовыми лицами. И если этого еще недостаточно, то был для полной картины и вдохновенный Машкин взгляд, брошенный на него, взгляд собственницы и покорительницы. Ведь шутка ли, то все же была любовь, и хотя Вовия и отправили домой с подмоченной характеристикой по Машкиной вине, расставаться обим было нелегко. Но служба превыше всего; а затем разведшийся и с горя женившийся на одной из многочисленных мидовских секретарш Вовий быстро понесся вверх по служебной лестнице, сопровождаемый нескончаемым сочувствием коллег: беденький, безвинно пострадавший, из-за жены-стервы. Стоик, страдалец, образец выдержки.

Вот теперь, действительно, все сказано о Машке. Конечно, можно еще поведать о ней же, спасенной нами от серьезного запоя в знак вызова эдиктам. Можно — о нас, проживших ночь и моргающих воспаленными глазами в лучах беспощадного рассвета. Но это уже был бы другой рассказ. А мне не давала покоя история Машки Вершининой еще и потому, что смоеет ее из памяти поток времени, и будет казаться, что все это уже давно неважно и неинтересно. А значит, окончательно уйдем в прошлое и мы тех лет, когда нам так хорошо мечталось вместе — мечталось об этом, сегодняшнем дне.

Пусть же он вернется на мгновение, тот вечер, запечатленный на снимке с моей кухонной стены. Вот опять мы, тогдашние — как в замедленном кино — рассаживаемся на стульях, обращаем к объективу лица, чтобы оставить их на отсвечивающей бумаге: навсегда молодыми, навечно полными надежд, неизменно уверенными в себе. Такими мы и будем потом смотреть в глаза самим себе — сегодняшним. Вот и все, сели, сейчас щелкнет затвор. Нет, надо еще, чтобы Машка Вершинина вздернула подбородок и повернула голову, глядя в глаза своему возлюбленному — вот теперь уже навсегда, навечно, неизменно.



ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ

КОНСПЕКТ

Лежа в постели, глядя в потолок и рассасывая под языком ежевечернюю четвертушку таблетки очень легкого транквилизатора, Сергей Сергеевич вдруг почувствовал, что он не один. Он покосился на жену, она уже спала, красивая и крупнолицая, и ребенок за стеной спал тоже. Да нет, не в том смысле, разумеется, — и Сергей Сергеевич в темноте наморщил лоб. Кто-то или что-то еще есть у него, еще, кроме того, что рядом, что он всегда обязан чувствовать и помнить, с чем стерпелся или слюбился, какая разница... Но что? Или — кто? Странное чувство, гнетущее и беспокойное одновременно. «Он понял, что кольцо сжимается!» — такой вот дешевой детективной фразой посмеялся сам над собой Сергей Сергеевич, но на всякий случай зажег ночник, отвинтил крышку флакона, ногтем отколол от крошащейся таблетки еще одну четвертушку, отправил в рот и быстро растер языком по небу. «Ш-ш-ш», — зашикала жена, сквозь сон отозвавшись на свет. «Ш-ш-ш», — ласково ответил ей Сергей Сергеевич, загасил ночник, лег на спину и стал вспоминать, что и кто у него есть, и что же это такое он мог забыть, вернее, вспомнить, что забыл. Были же с ним такие истории — вот, например, разговаривал с приятелем и вдруг вспомнил, что еще прошлым летом взял у него под пожарную нужду и железно до вторника тридцать рублей, от стыда прямо в пот бросило, а главное, денег с собой не было, чтоб сразу, в виде шутки — «а, мол, целый год таскаю, голова дырявая...» — сразу чтоб и отдать. Верней, деньги с собой были, но как раз точно эта сумма, и нужно было покупать продукты на дачу, на целую неделю, и он бормотал разные дурацкие извинения, все-таки пытаясь пошутить, а приятель, отводя глаза, говорил что-то вроде «будут — отдашь», в общем, стыд и срам, но в этот раз Сергей Сергеевич был совершенно чист как от долгов, так и от всяких ненужных связей... Давно уже чист, — с некоторым сожалением подумал Сергей Сергеевич, хотя, по чести, в этих связях ничего хорошего не бы-

ло, кроме неурочных звонков по телефону, а то и прямо в дверь — случилось и такое с неосторожным Сергеем Сергеевичем. Сейчас ничто подобное не грозило, но сон не шел, хотя две четвертушки таблетки — это уже половинка, а больше принимать нельзя, потому что завтра проснешься с дурной головой. Сергей Сергеевич улегся поудобнее, раздернул под поясницей складки пижамы и быстро вспомнил всех родных, знакомых и сослуживцев, вспомнил старых институтских ребят, с кем не виделся уже лет десять. Фамилию одного из них — Володя Старовойтов, Старовойтов Владимир Евгеньевич, такой маленький, всегда в шляпе и темных очочках, похож на сыщика из старой комедии — его фамилию вспоминал минут пять, до зуда в затылке, но зря старался, поскольку к тому неясному воспоминанию, что мучило Сергея Сергеевича, этот человек никакого отношения не имел, наверное... Может быть, какая-нибудь вещь? Нашел же буквально вчера Сергей Сергеевич у себя в кладовке старинную машинку для снаряжения охотничьих патронов, позеленевшую штучку с винтовым зажимом, она протащилась с Сергеем Сергеевичем по всем его квартирам — бабушкина, родительская, потом снятая, потом своя номер раз, своя номер два, и наконец вот эта, результат удачного обмена с очень небольшой доплатой, — номер три, и, надо полагать, последняя. Неприятное слово, чего уж там. Последней квартирой обычно другое место называют, рановато об этом, да и почему последняя — вот, ребенок подрастет, снова придется размениваться. Итак, вещи: квартира, очень неплохая библиотека, и даже, представьте себе, дача, — Сергей Сергеевич принадлежал к благополучнейшей части служилой гуманитарной интеллигенции. Да, представьте себе, дача, вернее, домик на садовом участке, но позапрошлым летом пристроили второй этаж, и теперь у Сергея Сергеевича есть своя совершенно отдельная комната, кабинет, — хотя, по совести, зачем редактору Главной редакции литературоведения и искусствознания кабинет на даче? Но жена говорила гостям-соседям: «А курить будем у Сережи в кабинете», и посылала ребенка за ножницами к папе в кабинет, и Сергей Сергеевич тоже привык, начал просить, чтобы ему

принесли чаю в кабинет, где он работает, то есть сидит над чужой версткой или машинописью.

Да! И когда этот самый кабинет был построен, покрашен и просушен, в одно прекрасное воскресенье Сергей Сергеевич взялся перетаскивать туда старые журнальные комплекты из сарая. Да, да, конечно! Связки были тяжелые, влажноватые, старая бумажная веревка лопалась, журналы сыпались по лестнице, их было жутко много, но зато, расставленные по дощатым стеллажам, они придали этой комнатушке с косым потолком действительно кабинетный и даже творческий вид. Сергей Сергеевич здорово устал, перебрасывая журналы с пола на стеллажи — он вообще, несмотря на свое широкоплечее обличье, очень быстро уставал и утомлялся, любил посидеть-отдышаться, а то и прилечь. Да! Он прилег на диван, пыльный и колкий от въевшихся опилок, полежал немного, потом перевернулся на живот, расшебуршил прямо на полу кипу журналов, вытащил один наугад, листанул — какое-то продолжение романа, рассказы, критика — все известные и скучные имена, и еще стихи, целая куча барахла в подбор — «молодые голоса» или «весенняя переключка», пища для пародистов, он стал читать, криво ухмыляясь, и вдруг как ослепило — стихи настоящие, и... и никак иначе не скажешь, настоящие, и все. И женское имя, и внизу адрес, то есть не адрес, а просто чтоб знали, что не москвичка — какой-то поселок какого-то района зауральской области. И вдруг захотелось ее увидеть. Ослепление, бредовое желание — с этим журналом под мышкой, на поезд, и туда, к ней, со всеми пересадками, прямо как был, в кедах, дачных брюках, с опилками в потных волосах — здравствуйте, я прочитал ваши стихи, и вы совершенно такая... И тут Сергей Сергеевич помотал головой, протер глаза, зло усмехнулся пошлости этих слов и желаний, зло закинул журнал в угол своего кабинета, зло вскочил с дивана и продолжил работу. А отшвырнутый журнал поставил на полку в последнюю очередь, втиснул на место, нехорошо усмехаясь и примяв обложку.

Да, да, конечно же, это была она, а он теперь даже не помнит номер журнала. Только год, и то примерно, плюс-минус, а стихи и вовсе забыл. Напрочь забыл —

ни строчки, ни рифмы, ни вообще о чем они — ничего не смог вспомнить, как ни старался. Так, память о впечатлении, ощущение верных слов и родной души. Вот он — родная душа. Поэтому и вспомнил о ней, как о забытом долге. Как будто он был в отлучке, долго, много лет, и здесь, в чужом городе, появилась у него женщина, и ребенок родился, и Сергей Сергеевич даже испугался подобных фантазий, поскольку ничего даже отдаленно похожего не было в его жизни, но чувствовал он, будто именно с ним и произошло такое: уехал, завел новую семью, и вдруг посреди ночи с тоской вспомнил — где-то там, за горами, за долами, ждет его не дождется любимая и родная настоящая жена... Сергей Сергеевич осторожно покосился туда, где буквально в полуметре спала и ничего не ведала его жена — настоящая жена, и нечего дурака валять. Сергей Сергеевич приподнялся на локте. Жена спала, впечатавши в подушку свой гармоничный профиль, красивая, как античная камея, и даже сквозь сон видно было, что умная и сильная — словно какая-нибудь Фаустина или Агриппина, изображенная на вышеупомянутой камее. Сергей Сергеевич осторожно встал, нащарил тапочки и вышел в кухню. Зажег свет, налил из-под крана воды, напился, ополоснул чашку и сел за стол, положив локти на клеенку.

Спать не хотелось совсем. Он попытался представить себе, как она отправляет свои стихи в Москву, как заклеивает и надписывает конверт, сидя ночью на кухне, за столом, покрытым старенькой изрезанной клеенкой. Кухня, маленькая лампа, низкие окна с морозным узором, — Сергей Сергеевич сознавал, что образы эти заезжены, не сказать — пошловаты, но что делать, если обо всем хорошем, далеком и желанном мы думаем так одинаково... И поэтому он не осекал себя, давал себе волю думать и воображать, как она идет по тропинке и, открывая калитку, из-за плеча взглядывает сквозь морозный туман на него — он не видел ее лица, не мог нарисовать ее портрет, не было портрета, была она, и ее взгляд на дорогу, и собака, взлаивающая ей навстречу, и то, как она скачала обтопывает ноги на крыльце, а потом, войдя в холодные сени, веником стряхивает остатки снега — с валенок? С сапо-

жек? И волшебным образом он, только что стоявший на дороге и смотревший ей вслед, вдруг оказывался там, в доме, ждал ее, встречал, целовал, раздевал, грел в ладонях ее озябшие ноги, узкие стопы, прозрачные ноготки на чуть длинноватых пальцах, дышал на них, целовал... Но все это было как в кино, он и на себя в этих мечтах смотрел вчуже, будто на цветной экран из темного зала, и конечно, в другое время Сергей Сергеевич, человек очень образованный и подкованный во всяких искусствоведческих штучках, — в другое время и по другому поводу он, конечно, порассуждал бы о кинематографизации мечты, — но сейчас ему не до того было. Обидно было, что разучился даже мечтать, и неисполнившееся счастье проходило перед ним, как небрежно смонтированные куски каких-то старых, сто раз виденных фильмов. Все коротко, сжато, моментальными кадрами — не мечта, а конспект мечтаний.

А вдруг она вовсе не посылала стихи в редакцию, не маялась полгода сама не своя в ожидании ответа, как навоображал себе доверчивый Сергей Сергеевич? Ах, низенькая кухня, морозные узоры! Все могло быть не так, проще, грубее, — творческий вечер второсортного поэта в районном доме культуры, вопросы, записки, и студентка первого курса педагогического училища, глаза, сияющие любовью — нет, не к этому потрепанному литератору, а к дыханию той жизни, куда душа стремится вместе со стихами и телом. Туда, туда, любой ценой... Конспект другого сюжета. Но Сергей Сергеевич рвал этот скверный конспект в клочья, так не было, потому что не могло быть, потому что она, его мечта и любовь, должна быть строга и чиста, и Сергей Сергеевич смеялся сам над собой, что такими словами называет ни разу не виденную женщину, и потом, что за глупости — мечтать о строгой чистоте в нашем обстоянии, тем более что и сам-то не похож на отшельника египетского... Печку топит, одна-одинешенька, и его ждет? Смешно! Да разумеется, она замужем, довольно давно, и детей нарожала, не менее двух, и уже успела устать непроходящей усталостью жены-матери-хозяйки, и прозрачные ноготки на пальцах ее божественных ног стали тускло-желтыми, и растоптались, задубели узкие стопы от стояния у пли-

ты, в очередях... И муж у нее вполне положительный товарищ — да вроде него самого, вроде Сергея Сергеевича, какой-нибудь сотрудник городской газеты, или даже выше — замначальника облкинопроката. Или наоборот, бородатый шизофреник — тоже поэт, или, например, художник.

Зачем же ей тогда он, Сергей то есть Сергеевич? Шило на мыло менять в первом случае, а во втором — таких вот никчемных бородатых шизофреников очень любят жены, особенно если жены сами немного по этой части, — о, разумеется, речь идет о поэзии! И Сергей Сергеевич хмыкнул по поводу нечаянной двусмысленности последних слов, но решил, что этот самый журнал со стихами он непременно найдет. Кстати, не далее как завтра они собирались на дачу.

Но странное дело — ни назавтра, ни в другие разы Сергей Сергеевич не то что не разыскал журнал, он даже к полкам близко не подошел. Более того, он даже старался не оставаться в своем кабинете один, а если и оставался, то, во-первых, чтобы избежать упреков в бездельи, и, во-вторых, чтоб не нарушать семейный стереотип под названием «папа в кабинете». В кабинете он сидел на краешке тахты, напряженно глядя в окно, и ждал, когда его позовут обедать или, скажем, окапывать малину. Он боялся, что его застигнут, боялся, что немедленно, лишь только он вытащит годовую пачку журналов и разложит их на полу, немедленно кто-то войдет и задаст естественный вопрос — «что ты там разыскиваешь?» И ему придется что-то на ходу выдумывать, он покраснеет, собьется и в конце концов во всем признается. Так прошло, наверное, месяца полтора, и Сергей Сергеевич все никак не мог найти предлога съездить на дачу одному. Слава Богу, в сентябре позвонил сосед насчет штaketника — надо было срочно приехать и забрать. Перст судьбы. Когда Сергей Сергеевич отворял калитку и отпирал пустой дом, у него дрожали руки и перехватывало дыхание, как у неопытного прелюбодea.

Журнал он нашел сразу, по вмятому корешку — тогда ведь он его кулаком запихивал на место. Вытащил. На обложке жирным фломастером было написано — Старовойтов Вл. Евг., и два телефона — домаш-

ний и служебный. Тот самый, в шляпе и черных очках, частный детектив — вот, значит, почему он тогда вспомнился. Сергей Сергеевич быстро залистал журнал и вдруг остановился, испугался, что сейчас не найдет в этих строчках того, что поразило три года назад. Вдруг окажется, что ничего в этих стихах особенного нет, а тогда он просто ошибся, очаровался, усталый и мечтательный. Но не зря же он, в конце концов... и он, как в воду бросаясь, раскрыл журнал.

Нет, он не ошибся тогда. Стихи действительно были превосходны. Больше того — время вроде сделало их лучше. Тогда Сергей Сергеевич поразился лишь зыбкой верности мазка, дрожащему и словно бы случайно лежащему слову, а теперь стихи отстоялись, окрепли, и сквозь мерцающий цвет проглянул точный рисунок. Сергей Сергеевич захотел было профессионально сравнить свое ощущение с восприятием картин великих французов конца века, где в переливах и размывах сначала незаметны пластика и перспектива, и только потом, приглядевшись, вернувшись в эти отуманивающие залы, видишь, что именно здесь и есть высшее мастерство формы, не школьное рисование, раскрашенное поверх растушевки; но лепка цветом и воздухом, живым телом природы... Но Сергей Сергеевич тут же осекся, потому что не хотелось обсуждать, хотелось читать и читать эти два столбца, мелко напечатанные в подбор, тесно и экономно, как всегда печатают творения, — криво усмехнулся Сергей Сергеевич, — недостаточных молодых дарований. И он читал и перечитывал эти стихи, и вчитывался в ее имя и адрес, и глотал слезы, и прижимал эту страницу к лицу, к глазам, к губам, и точно знал, что уедет к ней, уедет обязательно, не сегодня, так завтра, дайте только срок, дайте с силами собраться, а так — вопрос решенный.

И теперь Сергей Сергеевич, проезжая в троллейбусе через площадь, с тайным значением глядел в окно на петушки и башенки вокзала; а в метро на минутку задерживался у кассы Аэрофлота, глядел на расписание самолетов; а дома сочувственно вздыхал, глядя на жену, и подолгу гладил ребенка по затылку, закусив губу и нахмутив брови — несколько картинно, но уж извините, как умеем... И все время повторялось перво-

начальное виденье — как он стоит перед ней на коленях, раздевая ее, целуя ее ноги, и поэтому Сергею Сергеевичу казалось, что влечет его к ней зов плоти; но ежевечерне, глядя на свою скульптурно-прекрасную, антично-соразмерную жену, он понимал — нет, не то... Просто с ней можно будет, наконец, наговориться вдоволь. Но ведь жена его тоже была не просто так, она была кандидат философских наук, специалист в области всяких религиозно-каких-то исканий эпохи ренегатства либеральной интеллигенции, — собеседник высшего класса. Но все это было суета и прах, и воображаемые утехи плоти, и еще более воображаемая духовная радость — просто где-то далеко, за горами за долами, в самом прямом смысле за горами, жила-была родная бедному Сергею Сергеевичу душа. Так, во всяком случае, решил для себя Сергей Сергеевич, и сидел за столом, глядя в одну точку, проливая суп на скатерть и выжидая момента, когда можно будет плюнуть на все и уехать к ней.

Найти, приехать, окликнуть — здравствуйте, я, простите, мне трудно говорить, я впервые вижу вас, вживе, въяве, я мечтал о вас, много лет назад я прочел ваши стихи, и я приехал к вам, взглянуть на вас и сказать, сказать...

Ну, говорите, мой лестный немолодой поклонник! Что вы молчите, право? Или вы годы мечтали обо мне, искали, ехали, ждали встречи — чтоб молчать? Да, вы смущены, но все же, все же... Значит, вы не протянете мне руку, я не положу свою ладонь в вашу, и вы не поведете меня туда, где одна только любовь, одно только счастье? Не бойтесь, мои дети выросли, а муж простит, он даже не заметит, ибо я была вашей мечтой, а значит — кажимостью, контуром, текстом роли — для него... Я знала, глядя на свои стихи в журнале, что ваши глаза пробегут, коснутся к этим невинным строчкам, я чувствовала ваше прикосновение к странице, как к телу — прикосновение рук. Но напрасно. Но вотще, как говорят высоким стилем... А жаль. Жаль, ведь я, признаюсь вам, почему-то надеялась и думала, что вся моя жизнь поделится надвое — до публикации в знаменитом журнале, и потом — жизнь, услажденная дальнейшими трудами и победами. Увы, мой

друг. Интересно, кстати, уж коль скоро вы меня не собираетесь умыкать и влечь в дальние края мечты, — то хоть на прощанье вопрос — времени мало, надо в магазин забежать, обед, то да се... — так вот: это все так мечтают? И многим ли удается?

А вдруг именно ей-то и удалось? — думал, глядя в одну точку, Сергей Сергеевич. Ведь он же, разумеется, не следит за текущей литературой, а тем более за поэзией — пойдй уследи! Может быть, все у нее превосходно сложилось, она давно уже переехала в Москву, всю печатается, — ну, сменила фамилию на мужнину, ну, псевдоним взяла, — всю выступает по телевизору и смеется над ним. Да, да, смеется! Смеется, нетерпеливо щелкая желтым сигналом поворота, стоя под светофором и глядя из своей машины на него, груженого сумками, прихватывающего поверх трепанного кейса еще пластиковый пакет с тающей треской, боящегося зашагнуть на проезжую часть. Он же не видит, что стрелка погасла, он же не знает, что на уме у этой дамы за рулем, и она, раздраженная его робостью, стукнула кулачком в перчатке по сигналу, отчего он дернулся и воззрился на нее, а она помахала ему рукой — проходи, дядя!!! Тоже мне, партнер по дорожному движению... — да, она смеется над ним, над его жизнью, надо всем, над тем, что он, может быть, и на свете-то живет, чтобы думать о ней.

Но в подобное развитие событий Сергей Сергеевич по зрелом размышлении не верил, и, что самое главное, не из соображений высшей справедливости или переключки душ, а увы, из соображений куда более простых, земных и статистических. Потому что он тоже, еще студентом, послал стихи в знаменитый журнал, и ждал, и дождался, и купил в редакции десять номеров, и еще в ларьке десять, и человека три родственников откликнулись, вполне искренне похвалив по телефону, и все, и дело этим кончилось, и напрасно, вотще, как говорят высоким стилем, он таскал в редакции новые свои сочинения и искал, дурачина-простофиля, свое имя в разных критических обзорах.

Потому что так дела не делаются, — объяснила ему, оценив откровенность, знакомая пятикурсница с философского факультета. Все это сказка из ранешних

времен — уснул безвестным, проснулся знаменитым, теперь не так, и только последний пентюх, — о, как нежно произнесла она это слово, какая улыбка тронула ее лицо, — только последний пентюх может верить и мечтать о таком повороте событий... А как же делаются дела? — растерялся юный Сергей Сергеевич. Медленно, но неустраимо, как движутся материки — по миллиметру в год. Да, именно, миллиметр в год, — и она снова улыбнулась, и эта античная улыбка была назначена ему, и значит, не такой уж он пентюх, если такая женщина берется ему все разъяснить и вообще проруководить им в этой жизни. Такая красивая, такая стройная, белая и гармоничная, как садовая статуя, возникающая из зеленой темноты, и Сергей Сергеевич быстро гасил свет и прикрывал глаза, обнимая ее, потому что боялся увидеть на ее академически прекрасном теле разметку пропорций — штрихи, засечки и быструю латынь великого мастера.

Наверное, слова про миллиметр в год Сергей Сергеевич понял слишком буквально, потому что с тех пор он как-то скис и замедлился. Нет, он делал все, что положено, все, что ожидается и требуется, как то: успешное окончание университета, устройство на приличную службу, женитьба, воспитание ребенка, — да, все-все, от починки текущих кранов до защиты диссертации делал Сергей Сергеевич, но все это он делал с натугой, нехотя, через «не могу», все время присаживаясь отдохнуть-отдышаться, а то и вовсе норовя прилечь. Не смотри в одну точку! О чем задумался?! Сергей Сергеевич не протестовал, когда его понукали, но сам никогда ходу не прибавлял, и с равнодушным ужасом выслушивал за столом сетования жены насчет того, что ребенку скоро — да, да, Сереженька, скоро, пять лет как один миг пробегут — скоро поступать в институт, а ты представляешь себе, что это такое, ребенку поступить в институт? С равнодушным ужасом, как безвинно осужденный выслушивает несправедный приговор — да, пятнадцать лет строгого режима, да, потом ссылка, да, да, да, обжалованию не подлежит, да, там холодно, темно и страшно, но мы сделаем все, что велит конвоир и бригадир, будем валить деревья и тесать камни, не сделаем ни шагу ни вправо, ни влево,

и примем как должное суровую кару, и ссылку отбудем до звоночка, и пусть наш пример послужит грозным уроком, и в институт наш ребенок, конечно же, поступит, в самый что ни на есть тот, не говоря уже о краях, обоях и дачном штакетнике, но Господи, если ты и в самом деле есть и не оставил нас, Господи, как же все это скучно, до тошноты, до желания рассосать под языком запретную третью четвертушку таблетки очень легкого транквилизатора. Господи, слышишь ли?!

Слышу, слышу, — успокоительно отвечал Господь, не сам, конечно, а его голос, записанный на пленку автоответчика, ибо подобных стенаний возносилось столь великое множество, что у Господа Бога не было физической возможности ответить лично каждому. А дальше пленка кончалась, слышалось шуршание и треск, и Сергей Сергеевич понимал, что прекрасные жизненные перемены и волшебные разломы биографии — не для нас. Потому что мы ляжем в почву, уйдем в нее и станем ею, и травка вырастет, мягкая и тугая, и будут ступать по ней божественные ножки, узкие стопы с прозрачными ноготками на чуть длинноватых пальчиках, и кто-то будет легонько сжимать эти стопы своими большими мужественными ладонями, и целовать смуглый подъем с нежными жилками, кто-то — не мы. Почему? А кто его знает — то ли поздно, то ли некогда, то ли нету сил.

И Сергей Сергеевич вдруг рассобирился ехать к ней, в далекий район зауральской области. Не то что бы он долго об этом думал, взвешивал за и против, или желание угасло — нет. Просто вот так вдруг взял и рассобирился, так же внезапно, как тогда ночью вдруг вспомнил о ней. Сидел за столом, смотрел в одну точку, и на вопрос жены, о чем это на сей раз задумался, вдруг не стал отмахиваться или пожимать плечами, а кратко и убедительно изложил свою точку зрения на публикации молодых поэтов в толстых журналах. Выходило, что от этих публикаций только один вред и разбитые надежды. И теперь за столом домашние часто спрашивали его — ты чего улыбаешься? И он удовольствием отвечал в меру циничным афоризмом или метким жизненным наблюдением. И вообще он как-то очнулся и взбодрился, наш доселе дремотный Сергей

Сергеевич. Появилась в нем какая-то хватка, какая-то практическая закваска, во всем, от своевременной починки забора на даче и до поступления ребенка в институт с последующим распределением на кафедру, которой заведует профессор Старовойтов Владимир Евгеньевич, да просто Володька, Вова-сыщик, Господи, свои же ребята, о чем речь, старик, нет вопросов! Какие проблемы! И по службе Сергей Сергеевич тоже неплохо двинулся, и теперь он был единственным реальным кандидатом на место первого зама, ну, а там уж что Бог даст. И вообще он потихоньку получил репутацию очень знающего, очень умного, очень тонко разбирающегося человека, и люди потянулись к нему, и он всегда был готов помочь, посоветовать, а то и позвонить кому надо, и дома у него всегда, чуть не каждый вечер, были люди, а по субботам собирались на даче, жарили шашлык, сидя во дворе под деревьями, за большим некрашенным столом, а Сергей Сергеевич восседал во главе, на самодельном кресле, подобном трону древних властителей, из тяжелых суковатых жердин, и кресло это скрипело и дрожало при движениях его мощного тела, расседалось в сочленениях, обнажая кованые шестидюймовые гвозди, и погружались ножки кресла по щиколотку в землю, хрустя разрываемыми корнями трав, и совсем взрослый ребенок разливал гостям вино и квас, и жена в полноте своих греко-римских совершенств кормила внука чищенным огурцом, и толстоухие пятнистые щенки толклись вокруг криволапой редкопородной суки, и шашлычный дым, нашинкованный узорчатými лучами, пробившись сквозь листву дерев, восходил к небесам, и Сергей Сергеевич, прожевав и запив, сообщал гостям, что тайн у него, собственно, никаких нету. Это была всегдашняя прелюдия к краткой и мудрой речи, на которые так щедр был Сергей Сергеевич, и гости привычно притихали, и кто-то шутя давал подзатыльника сыну или дочке — слушай, мол, что умный человек говорит, учись. И Сергей Сергеевич делился житейскими секретами с честной самоуверенностью человека, так и эдак вертевшего жизнь в своих крепких умелых пальцах. И в самом деле, какие у доброго человека тайны?

Но только одну тайну соблюдал всю оставшуюся жизнь Сергей Сергеевич. Никому и никогда не назвал он имени той, чьи стихи однажды встретил в старом журнале. Ни жене, ни ребенку, ни другу, ни во сне, ни спьяну, ни гвоздями к стенке приколоты — хотя кому, честное слово, понадобилось бы приколачивать к стенке гвоздями такого хорошего человека, как Сергей Сергеевич, приколачивать и выпытывать всякую ерунду? А вот Сергей Сергеевич знал — случись даже такое — он не выдаст. И даже в самую последнюю минуту, когда захотелось позвать ее, хотя бы имя произнести, он собрался с силами, и открыл было рот, и воздуху чуть набрал, и сестричка тут же склонилась над ним, — но Сергей Сергеевич просто вздохнул и поглядел в окно, туда, где далеко-далеко, за магеллановой крутизной земли, жила, или, может быть, в этот миг тоже умирала она.



ЕЛЕНА ЧЕРНИКОВА

ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА

- Н**е беспокоит?
- «Беспокоит. Еще как...»
- Тогда, может быть, освежить?
- «Старомодно, а хорошо. Ах ты, голубчик...»
- Что же вы все молчите? Я где-то допустил?
- Ни боже мой, извините, пожалуйста, я задумался, а сколько с меня вам?
- Рупь. Но если освежить...
- Ну если только «Уан мэн шоу»...
- Дорогой соотечественник, я сам из Одессы, и если вы решили, что изволите шутить, то я обязан известить вас, что последний «Шипр» допили через пять минут после Указа, поэтому не сочтите за неловкую мистификацию, но у меня действительно «Уан мэн шоу».

Удостоверьтесь.

Гладкокожий кубик воззеленился на цирюльном алтарчике, всплыв из-за невидимых пределов, и первая дразнящая волна дорогого испарения коснулась клиентского носа.

— Спасибо. А сколько с меня с этим?

— Хм... Вы мне любопытны и даже импонируете. Всякий другой на вашем месте... Хотя, как подсказывает мне опыт, вы, без сомнения, знаете, что другой всегда на другом месте, вы — на вашем, и иначе не бывает, ну так вот. Три рубля, если угодно. Не побеспокоит?

— Нормально, я готов.

— Я оговорился. Два.

— Не стоит. Все хорошо, все есть.

— Нет, мы же тут два года уже не бреем.

— Что так?

— Мне почудилось, что вам действительно надо побриться. И не торгуйтесь. Два. Освежаю?

— Еще как.

«П-ш-ш-ш», — передразнил бутылку брадобрей и, не удержавшись, легонько погладил клиента по беспомощному седому затылку.

— Так почему всех не бреете? В парикмахерской всегда брили.

— Клиенты читают газеты и боятся с п и д а.

— А что это?

— Не имею представления. А в женском зале уже не завивают и почти не стригут.

— Тоже читают?

— Там опасаются вшей. А керосина не достать, поэтому если что — то только брить, а если брить — то боятся СПИДА.

— Ужас. Возьмите, пожалуйста. Спасибо вам большое.

— Нет, позвольте! Не надо меня разочаровывать! Вам-таки нравится, как вы пахнете?

— Да. И не беспокоит.

— А меня, знаете ли, всегда так волнует...

— Последний раз я пил «Уан мэн шоу» за день до злтэпе.

— Помилуйте, вы были алкоголик?!

— Да я, наверное, и сейчас, еще не знаю. Она, говорят, ушла к другому, поэтому трудно сказать, а она бы сказала, не утаила б.

— Да, к сожалению, мне правильно почудилось... Простите, искренне вам сопереживаю, и будьте уверены, что вас у нас всегда беспрекословно побреют впредь.

— Не беспокойтесь, я больше не буду.

— Отпустите бороду?

— Что вы, разве я похож на бородатого мужчину.

— Тогда я вынужден предположить, что я все-таки где-то допустил...

— Ни боже мой, нисколько. Извините, что неточно выразился. Просто сегодня вечером я умру.

— Надеюсь, от любви?

— От смерти.

— Не мне вас учить, но все-таки ваша первая неудачная шутка, за которую я был вынужден назвать вас соотечественником, была гораздо удачнее второй, за которую я буду вынужден взять свое слово обратно! Вы, простите, в своем уме? Ведь Бог слышит и нашу милую беседу в числе всех прочих...

— Вы прелесть. Вы знаете английский?

— Увы...

— Но хотя бы перевод названия с этой коробочки?

— Нет. Одна добрая женщина, наша бывшая уборщица, написала мне на бумажке, как она выразилась, транскрипцию. Я запомнил, но больше как-то не было случая. Я не всем предлагаю.

— Это по-русски — «Единственный мужчина».

— Вы уверены?!..

— Я переводил с этого языка книги.

— ...Господи, как я был глуп. И низок!.. Но, с другой стороны, я был и недостойн ее, да и возраст.

— Вот-вот, и вы о том же, если я не ошибаюсь.

— ...Бедная девочка, она вся дрожала, когда дарила мне эту коробку, а я сказал, что ни за что не посмею, а потом, знаете ли, обозлился, у меня впервые в моей многократной жизни не получилось ну просто ничего; я сначала решил, что от робости перед ее ослепительной юностью, или, дескать, не в форме, я тогда еще грипповал немного... а потом быстро узналось, что это

вообще — все. Ну — все... Вы меня понимаете? Мои соплеменники меня не поняли бы... Не положено. Словом, я, грубо выражаясь, просто ляпнул ей, что все изведу на клиентов. И еще гнусно так подшутил, что на более достойных... Ах я осел! Нет, в самом деле — «Единственный мужчина»?

— Можно я здесь покурю?

— А как вы думаете, милейший?

Посетитель встал, вытянул из заднего кармана расплющенный дукатовский «беломор», потом попрыгивал к серному облачку от спички и опять опустился в тертое кресло. Парикмахер подумал и сел в соседнее. Зал был пуст. За окном, мытом не позже чем до Указа, пели веселые птички.

— Я не курю уже двадцать лет, — вздохнул старый еврей. — А вы не возрадите, если я при вас выпью коньячку?

— С удовольствием.

— Подскажите, дорогой, надо ли предложить его и вам?

— Тогда мне придется умереть до вечера, а у меня еще есть дела. Не беспокойтесь.

— Кажется, это называется «торпеда»?

— Она, родимая.

— Тогда извините; я сейчас же вернусь. Это у меня хранится в женском зале. Я заведующий.

— Играющий тренер?

— Хм, а ведь вы еще не пили.

— Простите, но я был еще и пошляк.

— Прощаю. Не уйдете?

Посетитель закрыл глаза и покачал головой.

Парикмахер вернулся, налил коньяк в хрустальный фужер и медленно сел. Посетитель открыл глаза и ловко выстрелил погасший окурок в близкую корзину, полную разноцветных волос.

— Именно, — сказал заведующий, проследив полет, — нынешняя уборщица ходит через два на третий. Сам мету, вот и набирается. А та ходила ежедневно. На полный день. Только вечером училась на романо-германском отделении...

— Мое отделение. Хотя, во-первых, я был на дневном, а во-вторых, семнадцать лет назад.

— Вы еще так молоды. А мне, чтоб не говорить деталей, уже восьмой десяток. — И сто пятьдесят золотистых граммов одним махом покинули фужер.

— Профессионально, — заметил посетитель.

— А-а... Чего уж теперь. Профессионально было то. Другое...

— Не бывает. Нам это кажется. Мне объяснили.

— Кто? — спросил парикмахер.

— И она в частности.

— Вы с ней пили тоже?

— Вместе? Иногда. Но тут вы не угадали. Когда мы пили с ней вместе, то оба всегда оставались трезвы или почти трезвы, было очень весело; можно сказать, по-дружески. Ложились спать и мирно засыпали, как младенцы, в полнейшем целомудрии. Никогда не срывались. Впрочем, ей это ничего не стоило...

— Сорваться?

— Наоборот. Не сорваться. Срываются, как водится, с цепи, ну, с цепочки. У нее все иначе.

— А теперь вы простите, но и так не бывает. Мне тоже объяснили, и не раз.

— Вы старше меня.

— Это не смешно, уважаемый.

— Простите.

— Пожалуйста. Ваше здоровье...

— А вот это смешно, право слово.

— Да вы что, серьезно вздумываете меня дурачить? Ну рассосется ваша «торпеда» через — сколько там — год, другой... У всех рассасывается.

— Моя рассосется сегодня ближе к вечеру.

— Перестаньте. Моя мама выпорола бы вас. И папа тоже.

— Моя, очевидно, тоже. Но она еще не знает, что меня выпустили. Вчера.

— Так вы еще ребенок? У вас есть живая мама? И при этом вы позволяете себе бриться здесь вместо там?!.. Ну, знаете...

— Простите, я совсем забыл: Михаил Иванович. Миша.

— Ах, да. Абрам Моисеевич. А вы что думали?

— Я в вас не сомневался. Спасибо вам.

— Подождите, вы что... уже уходите? Не торопи-

тесь, нет, в самом деле, посидите еще, ну хоть немного. Вот так. Послушайте, я вспомнил! В прошлом году я стриг одного вашего коллегу, буду откровенен, без малейшего энтузиазма, потому что он все время болтал и вертелся, да и волосенки такие жиденькие, но вот что я вспомнил: лимоны! Как же сразу не вспомнил. Слушайте: берете очень много лимонов и все время растворяете сок в воде и каждый день много-много выпиваете, и все, рассасывается. Тот рассчитал, что за месяц выведет. А ему на три года вкатили, как он выразился.

— Грамотный был у меня коллега, как выразились вы.

— Не иронизируйте. Сейчас лимонов нет, но у меня есть. Я вас прошу, ну еще секунду подождите, я сбегаю в дамский салон, я заведующий, у меня там холодильник, в нем лимоны, я принесу...

— Не беспокойтесь. Не люблю кислого.

— Ну и что? Потерпите.

— Это мерзко. Омерзительно. Что-то давить, принимать, выводить, ждать. Потом ведь надо будет провести испытания — получилось или не получилось... Да за кого вы меня принимаете?

— А что же вы хотите? Вы влипли в историю, все плохо, я понимаю, все страшно, но жизнь вашу придумали не вы, так будьте философом; или, на худой конец, мужчиной!...

— Отлично сказано. «На худой». Не буду. А лимоны тащите. Я куплю. У меня сегодня назначено свидание с дочерью. В ее возрасте полезно.

— А дочь — от нее?

— У меня все — от нее. Кроме элтэпе: это от участкового.

— Неужели? А я, грешный, сначала решил, что вас сдала супруга.

— Нет, она не сдавала. Она хорошая.

— Но к другому ушла она?

— Бывает.

— Не бывает.

— Абрам, давайте ваши лимоны, дочь ждет меня через полчаса в парке культуры имени отдыха.

— Вы разрешили выпить при вас, а у меня еще граммов двести цело.

— Вы собирались пить «коньячку», а выходит «коньяк».

— О, филология?

— Надо же!..

— Видите ли, Миша, я не прощу себе, если клиент уйдет от меня в иной мир. Хотя бы и к вечеру.

— Абрам, вы уже пьяны. А у меня свидание с дочерью, и мне нечего ей предъявить. «Ну-вот-он-я» — этого мало, а с лимонами придумано классно. Давайте. Почему нынче?

— Я, конечно, принесу. Но ваша дочь перебьется, извините за такое слово. Я вам советую самому...

— Страна советов. Знаю. Проходил. Растворять не буду. Несете?

— Конечно. А хотите, я вас познакомлю?

— Нет, я тоже импотент.

— Не врите.

— Где лимоны?

— Миша, в вашем возрасте это еще поправимо!

— Лимоны.

— Несу... А, кстати, вам не показалось случайно, что вы мне тут чуточку... нахамили?

— Я вообще-то хам, но, как сказала мне регистраторша в диспансере, «вы, мужчина, тут со своей проблемой — не единственный».

Старик не нашелся и вышел в дамский зал. Хлопнула дверца холодильника, зашелестели пакеты.

Посетитель поднялся, засунул бутылку с коньяком во внутренний карман куртки, хрустальный фужер — во внешний и удалился ровной неторопливой походкой.

Январь 1990 г. Москва



АМАЯК ТЕР-АБРАМЯНЦ

ЖИЛ СТАРИК

Никто и не подозревал в доме, ни внука, ни жёна сына, ни её родня, ни, пожалуй, уже сам сын, что он был когда-то молодым, уверенным в своих силах мужчиной, которого можно было любить и даже бояться, ни, тем более, ребёнком, которым можно было восхищаться и которого можно было бы пожалеть. Казалось, он таким и пришел, гость из бездны времени, сухой, морщинистый, со слезящимися глазами, да так и засиделся, забыв дорогу назад.

Тем летом на даче он подолгу сидел на лавочке, греясь на солнце, в своем белом летнем полотняном костюме, с головой, покрытой старой соломенной шляпой, которую ему нашли, чтобы его не хватил солнечный удар. Он мог подолгу так сидеть, ни с кем не разговаривая и ничего не делая. Впрочем, он давно уже ни с кем почти не разговаривал, да и не проявлял ни к чему особого интереса. Порой солнце жгло нещадно, а ему только тогда казалось, что тепло начинает согревать его остывшие минералы костей. Иногда он брал с собой газету, но больше по привычке, потому что не читал ее, а просто сидел неподвижно, и со стороны можно было подумать, что он погружен в воспоминания, но и они давно уже утратили яркость и лишь как тени бродили по поверхности сознания, не вызывая волнения.

Никто и не подозревал, что единственной, самой большой реальностью в то время для него оставался лишь солнечный свет. Он мог до бесконечности общаться с ним, наблюдая за игрой бликов от листвы на земле, наслаждаясь лаской лучей, обнимающих кокон его тела. Обычно за этим занятием он незаметно засыпал.

Часто он этим пугал внука. Подкравшись сзади, она с бьющимся сердцем наблюдала за его неподвижной худой костлявой спиной с торчащими лопатками, пытаясь понять, жив он или умер. Застывая так, как каменный, с полуоткрытым ртом он, казалось, совсем не дышал, и часто ей хотелось закричать, броситься со всех ног к матери, может быть еще успеют что-нибудь

сделать, может быть именно сейчас надо помочь, но что-то удерживало ее.

Вместо этого она чуть дыша тихонько подходила к нему, подбирала газету и протягивала ее деду, замирая от ужаса, начинала звать его все громче и громче:

— Де-еда, де-еда!

Наконец он открывал землистые веки, морщинистое лицо его начинало передвигаться, изображая улыбку, и он тянул, хехекая, сухим надтреснутым голосом:

— А-а, шалунья!

— Деда, у тебя газета упала, — говорила внучка, краснея, протягивая ее старику, она не понимала, почему он ее называет все время шалуньей, ведь ничего такого она не сделала.

— Хорошо, хорошо, — говорил он, беря газету. — Молодец.

Считалось, что дед любит внучку, но это было не так. Окружающие люди, которые время от времени появлялись в его сознании, мало чем отличались от тех же теней воспоминаний, они лишь были даже еще скучнее, потому что не принадлежали ему и лишь сильнее утомляли.

В полдень его звали обедать, но, находясь за столом, он почти не прислушивался к разговорам и не участвовал в них, поэтому его давно перестали замечать. Сосредоточив все свое внимание, он молча ел, методично прожевывая и не чувствуя вкуса пищи, лишь затем, чтобы, закончив обед, вновь устроиться на лавочке и продолжать причудливую беседу с солнцем до заката. Иногда во время обеда он вдруг спрашивал по привычке: «Какой сегодня день?» или «Который час?». Сидящие за столом члены семьи удивленно и насмешливо переглядывались между собой и кто-нибудь, наконец, отвечал.

— Та-ак, — произносил дед и снова надолго замолкал, а общий разговор вновь возвращался к тому месту, где только что был прерван.

Постепенно девочка перестала испытывать страх, смотря сзади на неподвижного деда. Ей даже стало нравиться, что он ее в это время не видит. Она подходила к нему совсем близко. Однажды она даже провела по спине деда травинкой. Он кашлянул. Девочка за-

стыла, сердце у нее неистово заколотилось, но старик не оглянулся. Обнадеженная, она чуть не подпрыгнула от радости и, сорвав большой лист лопуха, замирая от возбуждения и еле сдерживая себя от того, чтобы не прыснуть со смеху, привстала на цыпочки и положила его на шляпу спящему деду.

Отбежав, она стала нетерпеливо наблюдать за стариком.

Проснувшись, он, кряхтя, встал, не расправляя сутулящейся фигуры, и направился, постукивая палочкой, к дому. При этом лист лопуха смешно и нелепо раскачивался у него на шляпе в такт его шаркающим шажкам и никак не падал.

— Де-еда! Де-еда! — позвала внучка звенящим голосом, едва сдерживаясь, чтобы не упасть на землю, схватившись за живот, и не расхохотаться, готовая броситься бежать прочь в нужный момент.

Он остановился и полуобернулся, улыбаясь внучке...

— А-а, шалунья, — только и сказал он.

Лист лопуха слетел со шляпы, мягко скользнул по плечу и упал перед ним, а он, повернувшись, снова направился к дому. Он не обратил внимания на тень, мелькнувшую перед глазами, какое это имеет значение, может быть, ему это просто показалось, а может это было какое-нибудь мимолетное воспоминание, навсегда его покидающее.

Вся большая семья, как обычно, в этот субботний день обедала на веранде. Дед, как обычно, ел методично и молча, как обычно, никто не обращался к нему, и девочке вдруг стало так нестерпимо жалко старика и обидно за свою шутку, что она разрыдалась. Насилу уговорили ее рассказать, в чем дело. И тут, при всех, размазывая по щекам слезы, она рассказала о своей шалости.

Все пытались ее успокаивать, совали ей яркую мокрую клубнику, но она, почти успокоившись, все продолжала еще всхлипывать, уже больше облегченно. Старик все это время сидел неподвижно. И тут произошел взрыв.

— Н-никудаышная! Б-бесполезная девчонка! — вдруг отчетливо выкрикнул он, вне себя от охватившего его беспорядочного волнения, его руки тряслись сильней

обычного и, когда он хотел положить кусок сахара в чашку, промахнулся, сдвинув ее, и обжег себе пролившимся через край чаем пальцы.

За столом поднялся шум — одни защищали девочку, говоря, что она дитя и нельзя всерьез принимать ее проделки, другие подсказывали ей извиниться перед дедом.

Кончилось тем, что она попросила прощения у деда, и ей сказали, что он ее простил.

— Тоже мне, «никудышная», «бесполезная», — передразнила невестка, широколицая, начинающая полнеть женщина, закручивая банки с компотом на веранде. — Полезный нашелся, производитель!

— Ты же знаешь, глубокий склероз, — сказал муж, словно оправдываясь.

— Склероз! — буркнула жена. — А как на ребенка орать, так можно?

Лицо у нее было красное, в капельках пота, и муж, вздохнув, промолчал, решив, что сейчас с ней связываться не стоит.

Ночью девочке стало тоскливо. Она вдруг почувствовала страх, так часто терзающий детское сердце: страх смерти ее и ее близких. Ее воображение рисовало ужасающие по своей яркости картины утрат. Дрожа от страха, она гнала их прочь, но они приходили снова и снова, рожденные тьмой. Все происходило до ужаса просто и случайно. Она видела даже выражение лиц матери и отца в момент их гибели. То их убивала какая-то страшная грузовая машина, их родные лица были страшны своей неподвижной отчужденностью, то палач весь в ярко алом, в капюшоне с прорезями для глаз, рубил им головы огромным топором, и била струя алой крови, родной крови, а она в это время смеялась...

— Как я могу, как я могу так думать? — спрашивала она себя и, холодея, дрожа от страха, сжимала головку.

— Какая я жестокая, какая я злая!

А что, если бы они узнали о том, что творится в ней, сколько способов казни придумала она им, того сама не желая, как это было бы ужасно, они, наверное, отказались бы от своей дочери! «И я осталась бы

совсем одна!» — подумала девочка, слезы брызнули из ее глаз, и она уткнулась в подушку, чтобы заглушить свои рыдания, теперь ей было жалко себя.

Через минуту, встав с постели, она пробралась в комнату родителей.

— Ты что, доча? — спросила мать, проведя рукой по ее мокрым щекам.

— Мам, а мам, а мы все умрем? — прошептала она, словно с мольбой. — Я не хочу, чтобы мы умирали! Пускай лучше я!

— Ах, вот ты о чем! — тихо с облегчением рассмеялась в темноте мать. — Глупенькая, да разве можно об этом думать? Да у тебя целая жизнь впереди. Успокойся, — ласково гладила она ее по волосам, — никто и не собирается умирать.

— Все равно, я не хочу, чтобы мы умирали, — расплакалась девочка, — ты мне скажи, ты ведь не умрешь?

— Не умру, доченька, не умру, я буду долго-долго с тобой, будь спокойна.

— И папа?

— И папа тоже.

— И дедушка?

— И дедушка...

Побыв еще немного с матерью и теперь совершенно успокоенная, девочка пошла к себе. Она чувствовала себя усталой и счастливой и заснула сразу.

Некоторое время женщина лежала молча, смотря в темноту, сон не шел к ней.

— Николай, — наконец тихо позвала она, — ты не спишь?

— Нет, — ответил муж тоном человека, который давно уже проснулся.

Она некоторое время молча кусала губы, женская гордость, гордость той юной и чистой девушки, какой она когда-то была, не позволяла просить ее прямо.

— Когда у нас с тобой последний раз было? — наконец спросила она.

— Кажется, недели полторы назад, — неуверенно ответил он, немного помолчав, он понял.

Жалобно скрипнула кровать, их тела сплетались, находя друг друга. Вся обрюзглость и угловатость тела

ее куда-то исчезли, и он почувствовал в ней гибкую силу и теплую нежность. Загрубелая от домашней работы и стирок ладонь гладила ему плечо, и ему вдруг показалось, что это вновь та девушка, с которой он встретился когда-то впервые...

.....

Наконец она облегченно вздохнула, и он увидел, что она улыбается ему в темноте.

Перед тем как заснуть, они немного поговорили о домашнем хозяйстве.

— В этом году много помидор, надо будет сделать засол на зиму, — сказала женщина.

Утром она заглянула в лицо спящей дочери, на которое уже падал солнечный свет. На нем была легкая свежая улыбка, верхняя губа была чуть удивленно вздернута, как будто в этот момент она видела во сне какого-нибудь забавного фокусника с красным носом и в шахматных штанах или фею из сказки.

На следующий день девочка сама принесла сидящему на лавочке деду газету.

— А-а, — заулыбался он, увидев ее, не добавив обычного своего «шалунья». — Вчерашняя? Ну ничего, я ее еще не дочитал...

Он ласково похлопал ее по спине: — Беги играть.

— Не шали! — погрозил он ей вслед сухим пальцем, и она, ошарашенная, вспорхнула и помчалась над лугом стремительной стрекозой, только сейчас чувствуя себя окончательно прощенной.

А он снова принялся наблюдать за бликами солнца на земле, впитывая ощущение тепла, льющегося на его плечи. Потом его внимание перешло на ноготь большого пальца руки. Он был потрескавшийся, сухой, с блестящими на солнце гранями и казался чужим. Он пошевелил пальцем, удостоверившись, что это именно его ноготь.

Он подумал, что таких вот солнечных дней остается совсем немного, и скоро придет холодная осень с ее дождями и сырой морозкой, они уедут в город, а там и зима...

«Хорошо бы переехать на юг, туда, где всегда солнце и жара», — подумал он. Это безнадежное желание

слабым светом озарило его душу, вызвав к жизни полузабытое смутное, словно о ком-то другом, воспоминание.

Где же это было? Кажется, в каком-то санатории. Много солнца и синее, как индиго, море. Да, там была женщина. Странно, неужели нет ничего более подходящего и достойного за всю жизнь, что можно было бы сейчас вспомнить? Ведь он в свое время сделал неплохую карьеру, и как-то даже, на открытии моста через Волгу, в проектировании которого он участвовал, сам член правительства пожал ему руку. А то ведь была так, интермедия! Глупость. Он и имени ее уже давно не помнит. Но было много солнца, было жарко, это точно... Но что же она говорила... Какие-то слова... Ах, да: «Как я люблю тебя!» Надо же, он все-таки вспомнил!

«Как я люблю тебя», — шептала она в порыве страсти. А он смеялся, он знал, что это неправда, и это лишь обычное курортное приключение. Но ни от кого, ни до, ни после, даже от жены, он не слышал таких слов. Потом, перед самым его отъездом, у нее, кажется, был роман с каким-то моряком. Все прошло приятно и безболезненно, но все же в глубине души почему-то осталась какая-то оскомина, словно он ждал чего-то, а это так и не пришло.

Красное солнце садилось за кроны деревьев, и становилось холоднее. По земле зазмеились сумерки, а стекла веранды засветились алым светом. Было пора. Он встал и направился к дому по тенистой аллее. Он шел по тропинке, и овеваемая ветром листва словно печально шептала вслед проходящей мумии на языке, понятном лишь только ему и ветру, одни и те же слова, горестно, в своей запоздалой искренности:

— Как я люблю тебя!..

— Как я люблю тебя!..

Ветер праздно листал страницы забытой на скамейке газеты.

Это случилось через месяц, видимо, еще до наступления рассвета. Утром его нашли в постели совсем холодным и лоб был холоден, словно под ним лежал снег. Все сообщали друг другу о случившемся шепотом, и стало слышно, как в доме под тихими шагами

скрипят старые половицы. Девочку сразу отправили погостить на несколько дней на дачу к соседям, и скоро она уже бегала с заставившими ее своими юными заботами все позабыть сверстницами по лугу и лесу. Они ловили кузнечиков и бабочек и, прокалывая их булавками, прикрепляли к доске для коллекции. Природа стремительно исцеляла горечь. Дело шло к осени, но погода стояла отличная, ясная и солнечная, и кто-то даже в шутку сказал, что в этом году скоро наступит второе лето.



ОРДЕН КУРТУАЗНЫХ МАНЬЕРИСТОВ

МАНИФЕСТ КУРТУАЗНОГО
МАНЬЕРИЗМА
(булла-парод)

Жизнь прекрасна только лишь потому, что она удивительна. На этом, покуда, ее прекрасные черты исчерпываются. Еще вчера мы внимали байкам о чудесах «развитого принципата». Сегодня мы наблюдаем, как толпа бывших рабов, в одночасье ставших вольноотпущенниками, побивает камнями трупы Цезаря и его присных, а заодно и бранные останки автора «Программы накормления пятисот миллионов голодных пятью хлебами». В то же самое время другая толпа таких же вольноотпущенников рыдает в голос, оплакивая Императора, шлет проклятия на головы своих сорвавшихся с цепи товарищей и обращается к Сенату с мольбой вновь приладить к их шеям рабское ярмо. Чуть в стороне толпа бывших рабов-пафлагонцев дерется в кровь с толпой бывших рабов-ассирийцев. Причина побоища в том, что одни говорят по-пафлагонски, другие — по-ассирийски. Гримаса отвращения ис-

кажает наши благородные лица, когда из своих бойниц
взираем мы на это непрекращающееся кишение прото-
плазмы, на эту бесконечную войну лягушек и мышей —

МЫ,

патрици и духа,

гордые и веселые рыцари Ордена

КУРТУАЗНОГО МАНЬЕРИЗМА.

Когда же вы опомнитесь, глупые рептилии?! Когда же вы, наконец, почувствуете себя людьми — высшим продуктом Вселенского Разума, — призванными вносить Любовь, Мир и Гармонию в неотстоявшийся хаос бытия?

Над Третьим Римом занимается новая заря. Моисей не знал, какие пути ведут в землю обетованную, но если бы ее не было — он бы ее придумал. Мы не станем слишком пугаться, если нас уличат в поэтической лжи. Ибо только лжецы говорят правду. Старик Гомер безбожно врал, превращая драку грязных дикарей в великолепное ристалище рыцарей без страха и упрека, ристалище, где главным призом была красивейшая из жен подлунного мира. И однако же, вспомните, каким пышным цветом цвела постгомеровская Эллада — маленький, тесный, каменистый полуостров, чьи города показались бы нам крошечными поселками, — сколько ярчайших примеров благородства и мужества, самоотречения во имя любви и Родины дала она миру. Вспомните дам Греции, изваянных Скопасом и Праксителем, описанных Софоклом и Эврипидом, и наяву живших — Сапфо, Аспизию. Но как только элины отвернулись от благородных мусических игр и отдали предпочтение политическим дрязгам, как только в Одеоне воцарился ничтожнейший из драматургов Аристофан со своими бездарными памфлетами, как боги, в свою очередь, отвернулись от некогда любимых ими Аттики и Пелопоннеса и обратили свои взоры на север, на Македонию, где под звон мечей и шелест свитков «Илиады» взрастал гений Александра Великого. Александр хотел единым ударом перерубить границы тогдашних жалких царств, как перерубил он Гордиев

узел; в тиглевой чаше своей империи мечтал он слить народы мира в единую нацию. Увы, он не сумел довести задуманного до конца. Слишком рано поспешил он вскарабкаться на Олимп, объявив себя сыном Аммона-Зевса и приказав аонидам петь дифирамбы в свою честь. Боги не простили Александру его гордыни. Мы не будем на этих страницах делать конспекта истории человечества. Фактов совсем недавнего прошлого вполне достаточно, чтобы понять: всюду, где солдатские калиги наступали на горло музам, заставляя их вместо вдохновенной свободнорожденной лжи исторгать из себя угодливую, уродливую рабскую лесть, — всюду довольство и веселие граждан сменялось унынием и отощанием, на смену жизнелюбивым и жизне-радостным homo sapiens рождались и вырастали тупые и вялые жвачные животные, покорно кладущие головы под топор мясника.

Лесть, ретуширование действительности, подтасовка фактов — это не есть ложь, как некогда заметил блистательный Уайлд. Но что такое реализм, как не та же лесть, как не те же дифирамбы действительности. Она, Действительность, глядится в зеркало Реализма и на лице ее расплывается безобразная улыбка Калибана. «Да, — ухмыляется действительность, — я есть! И нет ничего кроме меня». Уверенная в собственной исключительности, обращается она к Реализму:

«Свет мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»

И Реализм не спешит ее разубеждать. Глупая, самодовольная старая коко́тка! Как она бездарно заблуждается вместе со своим глупым плоским зеркальцем. Если бы действительность копировала самое себя, Дарвин не написал бы «Теории происхождения видов». Ящер не стал бы археоптериксом, если бы не вообразил себя птицей. Не действительность, а мечта придумала полет. Да здравствует мечта! Да здравствует возвышающий обман! История напоминает нам провинциальную простушку, сошедшую с ума от блеска и великолепия большого света, которая среди шумного бала

бесконечно повторяет одни и те же начальные па одного и того же архаичного танца. Нам скучно танцевать с ней! Мы обращаемся к миру частной жизни, полной чувственных наслаждений. Да здравствует парение духа, свивающееся в экстатической пляске с безумствами плоти! Достаточно лишь отогнуть край портьеры, и каждый из нас затрясется в сладком ознобе от мысли, что этот лучший из миров все так же прекрасен: О этот мир с его эгоистическими интересами, когда независимость может позволить себе описывать все то, что выбирает, а не то, к чему вынуждают! Стоит ли досаждать читателю своими жестокими наблюдениями над несовершенствами человеческого общежития? Спросите о том у читателя!

Литература должна оставаться литературой. Нам предстоит выволочить из унижительного положения интеллектуальную аристократию, олимпийскую касту творцов, за которой потянется оглушенный средствами массовой информации ценитель изящного. Независимость духа, эстетизм, достоинство писателя, искусство ради искусства — все это изо дня в день попирают цивилизованные варвары всего мира. Писать для гостиных и салонов, видеть свои имена, вписанные в Готский альманах и Разрядные книги, обладать всем и сразу, ездить от «Яра» к «Максиму», «чтобы завтра у Веры в долг осушить бутылки три», покуролесить всласть и войти в моду, доказав свою принадлежность прошлому, настоящему и будущему. Такими мы предстанем перед вами, отраженные в волшебных зеркалах кургуазного маньеризма.

Бросив беглый взгляд на историю отечественной словесности последних десятилетий, нельзя сказать, что она достигла высшей степени образованности, утонченности и эстетической значимости. От тех немногих стихотворцев и стихотвориц, что пытаются казаться себе и миру «рафинэ», за версту разит кислыми щами, бараньим жиром и чесноком. Должно ли нам обвинять пылкую и ветреную молодежь в том, что при слове «поэзия» самые румяные и чистые лица покрываются аллергической сыпью, а на губах вскипает кровавая пена? Наши предшественники низвели поэзию до состояния плоской критики, которая притупляет и из-

вращает поэтическое наслаждение. С превеликой охотой мы предадим эту псевдопоэзию забвению, какового она вполне заслуживает.

Миссия поэта во все времена была одна: обворожить, очаровать и доставить удовольствие. Поэт интересен и славен тем, что непритворно любит голубое небо и вечнозеленые оливы, любит виды полуостровных стран и назначает свидания красивым женщинам под сенью романтических руин и буковых рощ; он заблуждается там, где другому все становится ясно с первого взгляда; словом, совершает то, до чего обывателю нет никакого дела, и ничего не выражает, кроме себя, приглашая окружающих насладиться наготово своего поэтического «я». Приходится признать, что почти исчезла поэзия как и з я щ н а я с л о в е с н о с т ь. Мы утратили тот лукаво-простодушный, куртуазный способ выражения, когда слово поэта парит легче пуха. Мы забыли, что цель художества есть и д е а л, когда в лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытом, открыто для прекрасного. Мы отвергли поэтические вольности, изменили минутной игре воображения и заплатили огромную цену за весьма ничтожный результат. В конце концов мы отвернулись от Женщины — единственного источника вдохновения, и что же — в отместку женщины отвернулись от нас. Нам ничего не остается, как возродить культ Прекрасной Дамы, даже если для этого придется принести в жертву все мужское население планеты.

На одно из самых почетных мест нашего Пантеона будет поставлен Пушкин. Но сначала мы освободим его чресла от железного пояса стыдливости, нацепленного вульгарно-социологической критикой, мы сдерем с его плеч замызганную ризу пастыря обитателей покосившихся хаток, сотрем с его щек дешевую церковную позолоту, наляпанную опухшими от водки околотическими мазилками, выдворенными из бурсы за хроническое скудоумие. И Пушкин предстанет перед нами в своем изначальном античном великолепии! Пушкин, юный резвящийся бог, чьи статуи должно воплощать лишь в нежном паросском мраморе. Приберегите ваши бронзу и чугуны для тиранов и авторов занудных, полных заплесневелой морали сочинений! Да здрав-

ствуует Пушкин, бог нашей поэзии, явившийся для того, чтобы артистическим письмом запечатлеть возвышенное, красивое и благоухающее и чтобы дать облики и профили утонченных существ и прекрасных вещей!

Куртуазный маньеризм, если воспользоваться этим затейливым определением, не считает своим долгом описывать то, что низменно, отвратительно и ненавистно самой человеческой природе. Следует оговориться, что куртуазный маньеризм имеет лишь косвенное родство с сумрачным маньеризмом XVI века. При общности этимологии (*maniera, manierismo*) — диаметральной разница в подходе к предмету изображения. Может быть, во избежание путаницы, следовало бы назвать наше направление «ренессанс-рокайль», ибо в нем находит отклик жизнеутверждающий пафос Возрождения и возрождается эпоха рококо с ее прихотливым гедонизмом, декоративной изысканностью интерьеров и бегством в мир пленительных иллюзий. Но термин «куртуазный маньеризм» уже прочно вошел в обиход столичных литературных салонов, и поэтому, с вашего благосклонного разрешения, в дальнейшем мы будем оперировать этим наименованием.

Бесспорно, весьма многие наши поэты (если глубже вчитаться в их творения) — начиная с Кантемира и Державина в его лучшие времена — могли бы прослыть куртуазными маньеристами. Слава Богу, их имена не включены в проскрипционный список сюрреализма, что свидетельствует о наличии остатков здравого смысла в голове m-г Бретона. Сей занудный галл, путаясь в (*pardon, mesdames*) соплях своего инфантильного манифеста, все же не дерзнул посягнуть на завоевания русской литературы. Горький пример Наполеона, обломавшего зубы об отнюдь не пряничные башни Кремля, да послужит уроком всем французам и не только им. Не вторгаясь в области западно-европейской поэзии, мы возвещаем *urbi et orbi*:

Жуковский — маньерист рейнских туманов и пригожих русских молодаяк

Батюшков — маньерист веселых аттических снов

Денис Давыдов — маньерист испепеляющей страсти

Вяземский — маньерист вялого волокитства и напускных разочарований

Баратынский — маньерист рефлексии

Языков — маньерист разгула

Лермонтов — маньерист рыцарского постоянства

Тютчев — маньерист кающейся греховности

Аполлон Григорьев — маньерист мятущихся девственниц

Алексей К. Толстой — наикуртуазнейший из маньеристов

Некрасов — маньерист страдания

Фет — маньерист созерцательной чувственности

Бальмонт — маньерист в эвфонии

Бунин — маньерист в шезлонге

Блок — маньерист цыганщины и трактирных знакомств

Кузмин — маньерист бесплотных воспарений

Мандельштам — маньерист ореховых пирогов, в меру крепких напитков и прочих приятных мелочей

Гумилев — маньерист в ботфортах

Есенин — маньерист в персонификации растений и во многом другом.

Северянин — маньерист во всем

И т. д.

Нетрудно заметить, что поэт давно уже стал редкой птицей. Когда жизнь отторгает искусство, возникает та пустыня, о которой нас пророчески предупреждали древние. Искусство, заключенное в панцирь реализма, калечит людей в гораздо большей степени, нежели об этом можно догадываться. Естественно, нас обвинят во всех грехах искусства для искусства. Но мы, как пристало благовоспитанным отпрыскам старинных фамилий, с улыбкой отвернемся от изрыгающих яд и злобу безобразных пастей и продолжим прерванный разговор о египетских фресках. Прости их, Господи наш Феб, ибо не ведают в слепоте своей, что творят. Наверное, можно понять «ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения». Но не лучше ли заковать его в цепи и больше никогда к зеркалу не подпускать?

Нам выпал жребий родиться в самом сердце великой битвы, в самом сердце величайшей из литератур. Прийти в согласие со своим временем — это одним ударом рассчитаться со страстями и роковыми восторгами бесплодного периода последних полуста лет. Мы

создадим новую иерархию ценностей, которая выразит неутоленную жажду человека к совершенству. Будем же достойны звания Homo Consummatus — Человека Совершенного. Отныне и навсегда мы объявляем вам свою волю:

1) Да здравствует голубая гостиная, в которой можно поболтать с очаровательной виконтессой и перекинуться острым словцом с образованным адвокатом

2) Изящество, благородство, маньеризм — вот что составляет арсенал нашего несгибаемого духа

3) Светлая игристая струя музыки Мендельсона гораздо приятнее пивных вагнеровских паров, пробуждающих в нас низменные инстинкты и желания

4) Лучше пить баденские и карлсбадские воды, чем умащать глотку прокисшим фалерном

5) Нет ничего приятнее ужина в тесной компании в полумраке искусственного грота. Без застольных bons mots не бывает шедевров. Развлекаясь — творить, уяснив раз и навсегда, что мы живем в вечности

6) Искусство прекраснее жизни, так пусть оно говорит о прекрасном

7) Стремление к красоте и гармонии является одной из важнейших черт человеческого существа и более того — наивысшей из добродетелей

8) Кончается эра варварства, когда, радуясь за человека, мы сожалели о поэте, — на наших глазах возрождается мир утонченных чувств и безупречных манер

9) Все великие истины очевидны, но не все очевидные истины имеют право называться великими — сделаем поэзию великой в своей благородной очевидности

10) Уединенная беседка XVIII века стоит гораздо большего внимания, чем национальный доход, уже потому только, что она поэтична

11) Грациозный реверанс выразительнее крепкого товарищеского рукопожатия

12) Куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощреннейших образцах словесности; не существует содержания вне утонченной формы

13) Пусть поэт своими bona dicta (блестящими оборотами) демонстрирует хороший вкус, доказывая тем самым, что произведениям искусства доступны изя-

щество и стиль; пусть он вызывает экстаз у легкомысленных дев и подвыпивших шалопаев

14) Да будет искусство поэзии возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времен царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера

15) Мы наводним наш убогий, ковыряющийся в собственных язвах мир, изнеженными денди, бесшабашными дуэлянтами, игривыми маркизами, порхающими по ореховым паркетам, неистовыми Роландами «науки страсти нежной», Джауфре Рюделями, умеющими умирать от любви и умирать за любовь

16) Мы создадим бесконечную галерею дам, достойных самого нежного и неистового поклонения, дам, чьи глаза похожи на звезды, а очертания тела напоминают о том, что человек создан по образу и подобию Божию и что, если Бог есть, то он непременно Женщина.

Да! Верховное Существо — Женщина, Афродита, ежедневно и еженощно сверзающаяся с Олимпийских высот в пучину греха и восстающая оттуда столь же чистой, юной и непорочной, каковой была и накануне, и в день своего розовопенного появления на свет, в день, когда первый луч Аполлона-Гелия пронзил ее девственное лоно.

«Жизнь короче визга воробья!» — воскликнул на взлете XX века поэт-авиатор Каменский. Так стоит ли наполнять ее воробьиным визгом? Nein, nein, nein и еще раз nein! Давайте вспомним «Добрый совет» нашего вдохновенного пророка и предтечи Пушкина:

«Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнь играть,
Пусть чернь слепая суетится,
не нам безумной подражать.
Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и вине,
Пусть изменяющая радость
Нам улыбнется хоть во сне...».

Пусть Моцарт играет нам на своем волшебном клавишине, а мы, куртуазные маньеристы, пустимся в бешеную мазурку с самыми блистательными из дам, созданных нашим воображением.

ФЕНИКС ВОССТАЛ ИЗ ПЕПЛА!



ВАДИМ СТЕПАНЦОВ
Великий магистр ордена

ЦАРЬ

На двадцать пятом лете жизни
один блондинчик-симпатяга
свисал, мусоля сигарету,
с балкона ресторана «Прага».

Внезапно пол под ним качнулся,
и задрожала балюстрада,
и он услышал гулкий шепот:
«Ты царь Шумера и Аккада».

Он глянул вниз туманным взором
на человеческое стадо.
«Я царь Шумера и Аккада.
Я царь Шумера и Аккада».

На потных лицах жриц Астарты
пылала яркая помада.
Ступал по пиршественной зале
он, царь Шумера и Аккада.

Смахнув какой-то толстой даме
на платье рюмку лимонада,
он улыбнулся чуть смущенно:
«Я царь Шумера и Аккада».

И думал он, покуда в спину
ему несло «Лечиться надо!»:
«Я царь Шумера и Аккада.
Я царь Шумера и Аккада».

Сквозь вавилонское кишенье
московских бестолковых улиц,
чертя по ветру пиктограммы,
он шествовал, слегка сутулясь.

Его машина чуть не сбила
у Александровского сада.
Он выругался по-касситски.
«Я царь Шумера и Аккада».

Я Шаррукен, я сын эфира,
я человек из ниоткуда», —
сказал — и снова окунулся
в поток издерганного люда.

По хитрованским переулкам,
уйдя в себя, он брел устало,
пока Мардук его не вывел
на площадь Курского вокзала.

Он у кассирши смутлоликой
спросил плацкарту до Багдада.
«Вы, часом, не с луны свалились?» —
«Я царь Шумера и Аккада».

Возможно, я дитя Суена,
Луны возлюбленное чадо.
Но это — миф. Одно лишь верно:
я царь Шумера и Аккада».

Была весна. На Спасской башне
пробило полвторого ночи.
Огнем бенгальским загорелись
ее агатовые очи.

От глаз его темно-зеленых
она не отводила взгляда,
выписывая два билета
в страну Шумера и Аккада.

СОНЕТ ОБ УВЯДШИХ ЦВЕТАХ

Есть какая-то прелесть в увядших цветах,
будь то розы, нарциссы, пионы, тюльпаны,
так и дамы в еще не преклонных летах
мне порою бывают милы и желанны.

...Осень, красные лапки озябнувших птах,
запах яблок, дождя. Это время нирваны.
День за днем, чувство меры теряя, румяны
растирает Природа на желтых листах...

Есть какая-то прелесть в увядших цветах,
даже в тех, что в цветеньи имели изъяны.
Пусть молодых персиянок крадут атаманы,

пусть Петрарки с нимфетками крутят романы —
я же к Федре хочу уноситься в мечтах,
куртизируя дам в непреклонных летах.

НОЧЬ НАД ПОМПЕЯМИ

Вспышки молний пронзали свинцовую черную мглу,
и зловеще кричала сова на плече колдуна,
и священные голуби лапками рыли золу,
и с пронзительным ревом кидалась на скалы волна.

И под сводами грота светильник пылал смоляной,
и закрывшись плащом, как ребенок я горько рыдал.
О прекрасная Цинтия, ты не со мной, не со мной!
Ненавистный Плутон, ты ее у меня отобрал!

...Я стоял как во сне у предместий цветущих Помпей.
Раскаленная магма еще не успела остыть.
Я примчался из Рима к возлюбленной дивной моей,
без объятий которой — я знаю — мне незачем жить.

Провалился в Эреб изобильный и радостный град.
Там где стогны шумели и рукоплескал Одеон,
я услышал глухой отвратительный смех Форкиад,
крик голодной Эмпузы и гарпий встревоженных стон.

И когда я увидел твои золотые глаза,
восходящие над обратившейся в хаос землей,
понял я, что Гимен нас друг с другом навеки связал,
что к летейским полям я последую вместе с тобой...

Сердце мечется, словно ошпаренный заяц в мешке,
из разорванных туч выпал глаз сиротливой звезды,
маг мешает похлебку в своем ритуальном горшке,
блики пламени пляшут на клочьях его бороды.

Скоро легкие ноги Авроры коснутся земли,
и в подземное царство умчится коварный Плутон.
Я рванусь вслед за ним и, как Цезарь, сожгу корабли,
переплыв на щите огнеструйный поток Флегетон.

КАРИБСКОЕ РОНДО

Изабель, Изабель, Изабель!
Бьет серебряный колокол лунный,
и всю ночь я хожу как безумный,
и твержу без конца ригурнель:
Изабель!

Изабель, Изабель, Изабель!
В этот вечер декабрьский, морозный,
в город северный, туберкулезный
вдруг тропический вторгся апрель.
Изабель!

Изабель, Изабель, Изабель!
Подо мною морские глубины,
в небе звезды как крупные льдины,
воздух черен и густ, как кисель.
Изабель!

Изабель, Изабель, Изабель!
В этих дышащих зноем Карибах,
в этих рифах, проходах, изгибах
посадила я свой клипер на мель.
Изабель!

Изабель, Изабель, Изабель!
У акул здесь огромные зубы,

не доплыть мне без лодки до Кубы —
лодку съели моллюски и прель.
Изабель!

Изабель, Изабель, Изабель!
Почему берега твои скрылись,
почему с неба льды повалились,
почему разыгралась метель?
Изабель!

Изабель, Изабель, Изабель!
Вез я к синему острову Куба
не закованных в цепи йоруба,
не солдат, не французский бордель.
Изабель!

Изабель, Изабель, Изабель!
Вез я сердце, разбитое сердце.
Что же силы небесные сердятся
и мозги мои, кровь и стихи мои
превращают в бездарный коктейль?
Изабель!

Изабель, Изабель, Изабель!

ЦИНТИИ

Ты помнишь, Цинтия, как море закипало,
угрюмо ластясь к желтому песку,
облизывая каменные фаллы
прибрежных скал, сбегавшихся к мыску?

Не так ли ты в мое впивалась тело
когтями хищными и крепким жадным ртом?

А я кусал тебя остервенело
и мял руно под смуглым животом.

Тот день был апогеем нашей страсти.
Твоих волос тяжелую копну
пытался ветер разодрать на части
и унести в небес голубизну.

Нам, близостью взаимной распаленным,
заledenить сердца пытался он,
но согревал нас взором благосклонным
отец всего живого, Ра-Аммон.

Сорвав с тебя остатки одеянья,
я на песке твой торс дрожащий распростер,
и наши руки, губы, кровь, дыханье
слились в один бушующий костер.

Нас Купидон стрелой безжалостной своею
к морскому берегу коварно пригвоздил,
и извивались мы — два раненные змея —
и ходуном под нами диск земной ходил.

Сжимаясь в корчах, вся Вселенная кричала,
и крик ее меня на атомы дробил...

О Цинтия, как я тебя любил!

...Ты помнишь, Цинтия, как море закипало?
Ты помнишь, Цинтия, как море закипало?..



АНДРЕЙ ДОБРЫНИН
Великий приор

Нависнув глыбою лица
Над вами, я скажу вам: «Ну,
Попалась, беглая овца?»
И в грудь вас тягостно толкну.

И, ставя внутрь носки сапог,
Я медленно пойду на вас,
И вы поймете: это рок,
Неотвратимый черный час.

Себе я в жизни положил
Одни свои желанья знать,
И рок ужасный, силу сил,
Я этим стал напоминать.

Лишь сам довлеющий себе,
В себе несущий свой закон,
не изнывающий в борьбе,
Не понимающий препон.

Не зря, как студень на тепле,
Состав ваш делается слаб,
Когда вас погнетут к земле
Ковши моих шершавых лап.

* * *

Учтите: я не выношу
Малейшего пренебреженья!
Возьму и так вас опишу,
Что все умрут от отвращенья.

Я клеветую вас дойму
В обличье неподкупно-строгом,
И мне поверят — потому,
Что я владею верным слогом.

Строки стремительный стилет,
Ему и годы не помеха!
Я без труда на тыщи лет
Вас сделаю объектом смеха.

Вам жизнь тем легче отравлю,
Что в благородство не играю,
И церемоний не люблю,
И чистоплюев презираю.

Я прихожу — и вдруг отказ!
Но вам мой дух не изувечить!
Чтоб это был последний раз,
Как вы осмелились перечить.

* * *

Я жажду вами обладать,
Но я боюсь одновременно:
Без вас я обречен страдать,
А с вами — позабыть Камену.

Ваш легкомысленнейший нрав
Предаст мой век лихим забавам,

В упряжку общую попав
С моим неукротимым нравом.

Увы, я сам навлек беду
На голову свою шальную:
Без вас я утоплюсь в пруду,
А с вами в Лете утону я.

* * *

Не тонкий апейрон, плод грез Анаксимандра,
А лишь одна любовь — основа бытия.
Качаясь в гамаке под сенью олеандра,
Сей постулат в тиши обдумываю я.

В жестокосердие, как в некий вид скафандра,
Замкнулись вы от чувств, от песен соловья.
О, сбросьте свой скафандр, голубчик Александра,
Чтоб смысл приобрела отныне жизнь моя.

Из гамака я вдруг со стоном выпадаю,
Вдоль буксовых куртин с рычанием влачусь, —
Я вождедею вас, жестокая толстушка!
Лишь мысленно, увы, я вами обладаю,
И выследить в кустах я вас напрасно тщусь,
И попусту в листве блестит моя макушка.

* * *

Во мраке ль гостиной терзаю рояль я,
Стою ль на балконе, прильнув к балюстраде, —
Я все повторяю: Наталья! Наталья! —
И отзвуки тают в полночной прохладе.

Заезжий гвардеец задумал, каналья,
Воспеть вас в нескладной своей серенаде.
Увы! Вы к нему благосклонны, Наталья,
Я видел вас вместе, укрывшись в засаде.

Я к мраморной Гебе с мольбой припадаю:
Скажи, неужель мой соперник счастливый —
Тот грубый служака, ландскнехт-недомерок?
Молчит изваянье с улыбкой игривой,
И я оттого нестерпимо страдаю
И нервно срываю цветы с жардиньерок.

ДИМИТРИЙ БЫКОВ
Командор-послушник Ордена

АВГУСТОВСКАЯ БАЛЛАДА

Вижу комнатку твою — раз, должно быть, в сотый.
По притихшему жилью бродит морок сонный.
Свечка капает тепло, ни о чем не зная,
Да стучится о стекло бабочка ночная.
Тускло зеркальце твое. Сумрак лиловатый.
Переложено белье крымскою лавандой.
Липы темные в окне стынут, как на страже.
Акварели на стене — зимние пейзажи.
Да в блестящей, как змея, черной рамке узкой,
Фотография моя с надписью французской.

Помнишь, помнишь, в этот час, в сумерках осенних
Я шептал тебе не раз, стоя на коленях:
«Что за дело всем чужим — меньше, чем проходим!
Полно, хватит, убежим, дальше так не сможем!
Слово молви, знак подай — нынче ли, когда ли, —
Улетим в такую даль — только и видали!»

Шум колесный, конский бег — вот и укатили.
Вот и первый наш ночлег где-нибудь в трактире.
Ты войдешь, и все замрут, все поставят кружки —
Так лежал бы изумруд на гранитной крошке.
Кто-то голову пригнет, в ком-то кровь забродит,
А хозяин подмигнет и наверх проводит:
«Вот и комната для вас; не подать ли чаю?»
«Полно, поздно, не сейчас; после...»
«Понимаю».

— Что за узкая кровать, — крикнешь ты в испуге, —
На которой можно спать только друг на друге?!
А наутро — луч в окне сквозь косые ставни,
Ничего не скажешь мне, да и я не стану,
И, не зная ни о чем, ни о чем не помня,
Улыбаясь, вновь уснем — в этот раз до полдня.

Мы уедем вечерком, вслед глядит хозяин,
Машет клетчатым платком, после трет глаза им,
Только скроемся из глаз — выпьет два стакана,
Промечтает битый час, улыбаясь пьяно.

Ах, дорога вдоль межи в зное полуденном!
В небе легкие стрижи, воздух полон звоном,
Воздух зыблется, дрожит, воздух полон зноя,
Путь неведомый лежит, а куда — не знаю.
Сколько верст, да сколько дней, временных
пристаней, —
Не пытай судьбы своей! Да ведь ты не станешь.

Слезы, очи к небесам, шепот до рассвета —
Ты-то знала: я и сам не поверю в это.
Ты не станешь отвечать. Комната качалась.
Говорил, чтоб не кричать, да не получалось.
Ты не хочешь укорить. Руки мне на плечи:
«Говори, чтоб говорить, а не то заплачу».
Ночь в окне, глухая мгла, пустота провала...
Встала. Пряди отвела. В лоб поцеловала.

...Август, август. Поздний час. Месяц
в желтом блеске.

Путь скрывается из глаз. Путь лежит неблизкий.
Еду полем. До утра путь лежит полого.
Дым пастушьего костра стелется по лугу.

Август, август! Дым костра! Поздняя дорога!
Невеселая пора странного итога:
Все сливается в одно, тонет, как в метели,
Только помнится — окно, липы, акварели,
Как пытался губы сжать, а они дрожали,
Как хотели убежать, да не убежали,
Холод сердца моего в предрассветной стыни,
Словно больше ничего не было в помине,
Словно сделались пусты дни с того рассвета —
Только помнится, что ты да прощанье это.

Век, и век, и Лев Камбек! Взмахи конской гривы.
Скоро, скоро ляжет снег на пустые нивы —
Ляжет осыпью, пластом, на лугу, в овраге,
Ветки на небе пустом — тушью на бумаге,

Остановит воды рек медленно и строго...
Век, и век, и Лев Камбек! Поздняя дорога!

Август, август! Дым костра! Поздняя дорога!
Девочка моя, сестра, птица, недотрога,
Что же это всякий раз на земле выходит,
Что сначала сводит нас, а потом изводит,
Что ни света, ни следа, ни вестей внезапных —
Только черная вода да осенний запах!
Ледяные вечера. Осень у порога.
Август, август. Дым костра. Поздняя дорога.

Жизнь моя, не слушай их! Господи, куда там!
Я умру у ног твоих в час перед закатом,
У того ли шалаша, у того предела,
Где не думает душа, как оставит тело.



КОНСТАНТЭН ГРИГОРЬЕВ
Штандарт-юнкер Ордена

УКРОТИТЕЛЬ ДОБРА

Утесы в Этрета, скала Лепюий!
А помнишь то лето, малышка Анета,
Как встретились взгляды в тиши кабинета
Над книгой Кюи?
А после — какое сиянье вокруг!
И нас только двое, и рокот прибойа,
И в розах аркады, и круг анаоя,
И солнечный луг!
Проездом в Париже, Монсо, поцелуй,
Как можно быть ближе? Скорей повтори же —
Атлантика, парус, и водные лыжи,
И золото струй!
Два узких бокала и дым сигарет...
Ты песен алкала, тебе было мало,
Что я написал уж — ни много ни мало —
Огромный буклет.

Я в каждом сонете тебя воспевал,
И стала ты в свете подобна комете,
Но вспомни — без пауз — о том кабинете,
Где я тебя взял.

Добром ты считаешь, наверное, лесь,
И все напиралась, все песен алкаешь!
Я взял тебя замуж, тигрица, но знаешь,
Могло надоесть!

Сама ты, Анета, испортила все!
Оставь же поэта. Как встречу я лето
С другою красоткой в утесах Этрета,
Над книгой Басе!

ПРУД

Беспощадно и чудно любя,
За деревьями чуя движенье,
Я не поднял глаза на тебя —
Я смотрел на твое отраженье.

ПРО МУЖА

Моя любовь нисколько не похожа
На тысячи похожих на нее:
Волшебный взгляд, благоуханней кожа,
И с нею вдохновенней забытье.

Она мила: всегда мы были склонны
Листать вдвоем стихов заветный том,
Но не зайти с ней в модные салоны —
Ревнивец-муж убьет ее потом.

Ну что с того, что вместе мы читаем?
Достойный муж, к чему ревнуешь ты?
Мы с нею только в шахматы играем,
Мы с нею только смотрим на цветы.

Я знаю, у тебя мораль простая —
Со мной сойтись под медленный отсчет
В серебряном лесу, где листьев стая
От выстрела с деревьев упадет.

Я упаду, зажав руками рану.
 Жизнь промелькнет в глазах наоборот...
 И молча угасать, невинный, стану,
 И вдалеке от слез она умрет.

* * *

Сокольники, мороз, коньяк,
 Желанный дым «Герцеговины»...
 Но кажется, что все не так,
 И пройден путь — до половины.
 И вот часы назад идут,
 И вспоминается Савойя,
 Тот гимназический уют,
 То потрясенье мировое.
 Я все альпийские цветы
 Тебе сорвал с родного склона,
 И уходил в Бельфор, а ты
 За мной бежала до Шалона.
 Но оглянуться я не мог:
 В шинели доблести и долга
 Я шел все дальше на восток,
 А ты за мной бежала долго,
 И вскрикнула на полпути —
 Я оглянулся, и в тумане
 Тебя я не сумел найти,
 Но описал потом в романе...
 И вот, столетие спустя —
 Сокольники, мороз, движенье.
 Иду с товарищем, шутя,
 Но ощущаю приближенье
 Чего-то властного, как звук,
 Чему нет сил сопротивляться,
 И оборачиваюсь вдруг...
 Мне дан от Вечности недуг —
 Я разучился удивляться.

СОН

Расстрел красивой женщины я видел:
 Зарею нежной, в пять часов утра,
 Из глубины тюремного двора
 Я прошептал ей: «Кто тебя обидел?»

Она с колен легко и быстро встала,
И взором, полным темного огня,
Презрительно окинула меня,
Сказала: «Ты!» — и вдруг захохотала.

Что до меня, то я не удивился,
Хотя едва ли с ней знаком я был.
Мне подали пальто; я закурил,
Махнул рукой и молча удалился.

И во дворе раздались звуки залпа,
И понял я: она не солгала,
И жизнь моя иною быть могла,
Но Ангел Расставания внезапно
Воздел над нами мрачные крыла.



ВИКТОР ПЕЛЕНЯГРЭ
Архикардинал Ордена, arbiter elegantiarum

СТИХОТВОРЕНИЕ О ТОМ, СКОЛЬКО ОПАСНОСТЕЙ СОПУТСТВУЕТ ЛЮБОВНЫМ УТЕХАМ

Ваш муж, художник низкопробный,
С недавних пор гонитель мой,
А вы? Вы ангел бесподобный,
Назначенные мне судьбой.

Когда я к вам благоговя,
Влюбленный взор свой устремлял,
Он пышный факел Гименея
Над миром важно поднимал!

Гонитель мой, ваш злобный гений
За нами гнался по пятам;
Противный муж! Залог мучений,
Он возникал то тут, то там.

Мерещился, как призрак мщенья,
Семейных уз Наполеон,
Всю ночь пугал воображенье
Сей рыжий складчатый муфлон.

Все видел он пытливым взглядом
(Быть может, это снилось мне?)
Как лист вы трепетали рядом
И часто плакали во сне!

Я выступал, как покровитель,
И утешал вас, как умел;
Когда отсутствовал гонитель,
Без страха вами я владел!

А утром нет уж той отваги,
Взор затуманен пеленой;
На верность я не дам присяги,
И дива нет — не вам одной!

УРОКИ МУЗЫКИ

К чему загадывать? В глуши невыразимой
Нам дней отпущенных так ясен промежуток,
Когда откинувшись, ты станешь уязвимой,
А мне, как водится, под юбкой не до шуток.
Как ты податлива — рука скользит все выше,
Вся в черном бархате, растаешь изогнувшись;
Не может быть, что так становимся мы ближе,
Но ты потворствуешь, чему-то улыбнувшись!
Ты такходишь на простертую Изольду,
Что поневоле станешь призраком Тристана;
Когда скользят мои колени, словно по льду,
Ты мне вверяешься легко и неустанно!
Ах, эта пыль, ах, этот прах хмельного чувства,
Мы в чудный узел страсть связали воедино,
А где, скажи, еще займешься от искусства
Сладчайшей музыки на крышке пианино?

КЛАССИЧЕСКОЕ

Этот город я знал наизусть:
На холмах цепенели церквушки,
Вдоль дороги брели побирушки,
А у въезда грозились мне пушки, —
Я сюда никогда не вернусь.

Черта с два я слезами зальюсь!
Где вы девицы, ласточки, душки?
Смолкли громкие наши пирушки,
Но пером от случайной подушки
Я с тобою за все расплачусь!

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

В такую полночь вас не тронет лесь,
Но что я знал, признанья расточая,
В том городе... Ну как его? Бог весть.
Когда желаньям пылким уступая,
Напрасно лепетали вы про честь!..

Я вас любил. Как не спросить: зачем?
Я вас любил так искренно, так нежно,
Вдыхая чудный запах хризантем...
Зачем вы раздевались так поспешно
И говорили глупости — зачем?

Открой глаза. Мой ангел тут как тут!
В руках цветы, увядшие от стужи,
Я слышу: «Милый, как тебя зовут?»

.....

Как дует ветер, как темно снаружи.
Чему вас учит Смольный институт!



Из работы
А. АВТОРХАНОВА

«КАВКАЗ, КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА И ИМАМ ШАМИЛЬ»

Кавказ — страна древнейших народов мира. Сложна его история, мозаична его культура, изумительны его легенды. Кавказ — страна гор и горы языков, народов, рас. Здесь говорят на 50 языках, из которых 40 чисто кавказских. Кавказ — страна ландшафтных и климатических контрастов, от континентальных до субтропических. Кавказ — страна чарующих равнин и долин, тянущихся к омывающим его двум морям: Черному и Каспийскому. Кавказ — страна вечных снегов и величавых гор, где к скале был прикован ревнитель народной свободы, враг тирании, герой греческой мифологии титан Прометей.

Тяжелой была доля кавказских горцев, оказавшихся волей судьбы на перекрестке стратегических ворот Евро-Азии. Трагедия или величие горского народа заключалась еще в том, что он никогда в своей истории не признавал над собой иноземной власти. Отсюда — вечная борьба за самосохранение. Многочисленные войны против во много раз превосходящего завоевателя — иногда безумно наступательные.

Периодические войны императорской России за покорение горцев Кавказа продолжались, если считать только с Петра I до Александра II, 150 лет. Они были жестокими и бесчеловечными с обеих сторон, но особенными жестокостями отличился на Кавказе человек, который в Петербурге слыл либералом и чуть ли не другом декабристов, а в Чечне и Дагестане — безбож-

ным палачом: генерал Ермолов. Знаменитая Кавказская война, ведшаяся непрерывно 47 лет (1817—1864), собственно и началась с Ермолова, когда он был назначен в 1816 г. главнокомандующим всеми русскими войсками на Кавказе.

Официально Кавказская война кончилась в 1859 г., когда действующая армия была доведена, по словам генерала Фадеева, до 280 тыс. чел. — при постоянной армии у Шамиля 20 тыс. с трофейными пушками и снарядами, отлитыми национальными мастерами и русскими пленными. (Вся русская армия в Отечественной войне 1812 г. против Наполеона составляла всего 500 тыс. чел.)

В августе 1859 г. новый главнокомандующий кавказскими войсками генерал князь Барятинский мог издать свой победный приказ: «Гуниб взят, Шамиль в плену. Поздравляю кавказскую армию. Князь Барятинский».

О Кавказской войне и ее трагическом исходе для горцев существует огромная историческая, повествовательная и поэтическая литература. В глазах официальной России задача Кавказской войны была чисто стратегическая — обеспечение экспансии Российской Империи покорением народов Северного Кавказа, которые после присоединения Азербайджана, Армении и Грузии остались независимыми в самом тылу империи. Даже либеральствующий историк Ключевский считал, что дагестанцы, чеченцы и черкесы — просто «дикие племена», которых надо было покорить, чтобы Россия могла решать свои стратегические задачи (В. О. Ключевский, т. 5, Москва, 1958, сс. 195—196).

Александр Дюма, путешествуя по территории имамата Шамиля, в своей очередной корреспонденции в Париж замечает: «Шамиль — титан, который воюет против владыки всех русских». Маркс в своих высказываниях, посвященных Кавказской войне, называет Шамиля «великим демократом».

Русские классики с глубоким сочувствием и пониманием относились к борьбе горцев за независимость. Начало положила бессмертная поэзия Пушкина о Кавказе, кавказских горцах, русско-кавказской войне. За ней последовали шедевры кавказской поэзии и прозы Лермонтова, который воспел кавказскую свободу и осудил Кавказскую войну. Великий кавказский цикл

завершил гениальный Толстой в рассказах «Набег», «Рубка леса», в повестях «Казачи» и «Хаджи Мурат». (Пушкин был свидетелем, а Лермонтов и Толстой и сами участвовали в Кавказской войне, но, став выше великодержавных предрассудков, они были вдохновлены на свои великие творения неистребимой любовью горцев к свободе!



ШАПИ КАЗИЕВ

ШАМИЛЬ

(Пленник)

Драма в двух действиях

Действующие лица:

Шамиль — руководитель освободительной борьбы кавказских горцев, а ныне почетный пленник государя императора Александра II.

Шайнат — молодая жена Шамиля, армянка.

Руновский — штабс-капитан, пристав при особе военнопленного.

Кази-Магомед

Магомед-Шапи — сыновья Шамиля.

Джамалутдин

Керимет — жена Кази-Магомеда.

Чичагов — генерал-губернатор Калужской губернии.

Мария Николаевна — жена его.

Адъютант.

Крюков — околоточный надзиратель.

Святомудров — репортер «Калужских Губернских Ведомостей».

Гольдберг — калужский фотограф.

Никишка — слуга в доме Шамиля.

Настя — кухарка.

Купец.

Ветеран.

Приказчик.

Дама

Действие происходит в Калуге, в середине прошлого столетия.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Далекий звон дорожных бубенцов. Юная Шуайнат в белом платье и такой же шали вносит горящую лампаду. В ее свете появляется Шамиль. Он еще крепок в свои шестьдесят нелегких лет. В черкеске, увешанной оружием, в палатке с белой лентой, отличающей простых горцев, Шамиль засучивает рукава, намереваясь свершить молитву.

Шамиль. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного... Да простит меня всевышний, что тревожу души, мне не принадлежащие. Но здесь, в России, я все чаще вспоминаю несчастного сына моего — Джамалутдина.

Шуайнат зажигает свечи на стоящем на небольшом столике подсвечнике. За столом сидит стройный юноша — это Джамалутдин. Он разворачивает пергаментный свиток и начинает писать.

Шуайнат. После тяжелой битвы, потеряв почти всех своих товарищей и домочадцев, Шамиль отдал его, четырехлетнего, заложником русскому генералу. Но вера в справедливость нашего дела оказалась силь-

нее любви к сыну. Шамиль собрал новых людей, повел за собой народ и одержал много славных побед.

Д ж а м а л у т д и н. Я всегда гордился тобой, отец.

Ш а м и л ь. Твои братья были рядом со мной. Но мне так не хватало тебя...

В темноте проступают лица остальных сыновей Ша-миля — статного Кази-Магомеда и круглолицего Маго-мед-Шапи.

К а з и-М а г о м е д. Мы помнили о брате. Из набе-га на Грузию я привез семьи князей Чавчавадзе и Ор-белиани.

М а г о м е д-Ш а п и. И в обмен на них царь вер-нул нам Джамалутдина.

Д ж а м а л у т д и н. Государь окружил меня лас-кой и особым попечительством. Я получил образова-ние, лучшее из того, что могла предложить своим юно-шам просвещенная Россия. Незадолго до моего возвра-щения государь принял участие в том, чтобы мне не было отказано в доме моей избранницы...

Ш у а й н а т. Его хлопоты оказались напрасными.

Ш а м и л ь (сыну). Ты говоришь о нашем враге с уважением. Ты полюбил его?

Ш у а й н а т. Он полюбил Россию.

Ш а м и л ь. За что?

Д ж а м а л у т д и н. За то, что лучшие люди ее превыше всего ставят справедливость. Ради избавления от тиранов своего униженного народа многие из них отдали свои жизни.

К а з и-М а г о м е д. Он бредит!

М а г о м е д-Ш а п и. Мне трудно понять своего брата.

Д ж а м а л у т д и н. Мне больно говорить, но, воюя против империи, вы только укрепляете ее устои.

К а з и-М а г о м е д. Мы бьемся против неверных.

Магомед-Шапи. Которые пришли к нам, чтобы вернуть продажным ханам свободу грабить и притеснять.

Джамалутдин (с горькой улыбкой). Мир не делится на правоверных и неверных. В нем есть только угнетенные и те, кто их угнетает, лишая человеческого достоинства. Разве не так было в Дагестане? Точно так же и русские люди поднимаются теперь от темноты рабства к свету свободы.

Казим-Магомед. Царь отравил Джамалутдина!

Шуайнат. Может статься, брат ваш знает то, чего не знаете вы.

Шамиль. Пусть говорит.

Джамалутдин. Я знаю только, что наша свобода без свободы России останется гибельным наваждением. Таким же невозможным и призрачным, как цветение розы на снежной вершине.

Шамиль. Ты говоришь о какой-то другой России. Сквозь лес штыков и пороховой дым она выглядит иначе.

Джамалутдин (пылко). Это великая и прекрасная страна!

Лампада гаснет. Затем гаснут и свечи.

Калужская площадь перед домом, отведенным для Шамиля. Проворный Гольдберг поспекает к месту первым и тут же принимается устанавливать свою громоздкую треногу. Следом является репортер Святотомудров, оглядывает, прищелкивая языком, дом и, взяв наизготовку блокнот, нахально становится перед объективом.

Гольдберг. Господин Святотомудров! Вы можете сколь угодно дурачить своих подписчиков, но извольте не заслонять мне историческую перспективу!

Святотомудров. Помилуйте, какая перспектива? Имейте ввиду, Шамиль не охотник фотографироваться. Его молодцы разорвут вашу машинку я вместе с вами!

Г о л ь д б е р г. Тут им не Кавказ, милейший. Тут сиди смирно!

С в я т о м у д р о в. Государь облобызал Шамиля в Гатчине и учинил в его честь военный парад. Сейчас видно — газет не читаете. А надобно бы знать, что первый враг России высочайше обласкан, назван другом и щедро одарен.

Г о л ь д б е р г (*продолжая настраивать аппарат*). Выходит, он теперь вроде как дворянин?.. Да и дом-то из лучших в городе ему отвели.

С в я т о м у д р о в. Почитай, месяц благоустраивали на кавказский манер.

Г о л ь д б е р г. Да-с... А не могли бы вы, любезнейший, составить мне, в некотором роде, жизнеписание Шамиля? Эдак из пяти рублей.

С в я т о м у д р о в. На что вам?

Г о л ь д б е р г. Предполагаю пустить в продажу портрет, а на обороте чтобы любопытные сведения...

С в я т о м у д р о в. Ловко! В каком свете желаете? (*Читает из блокнота.*) Шамиль взят! Наполеон Кавказа на привязи! Грозный имам Чечни и Дагестана препровождается в Калугу! Почетная ссылка! Иллюминация в честь Шамиля в Санкт-Петербурге!

Г о л ь д б е р г. Эдак я и сам могу. А надобно, чтобы всякий, купив портрет, тут же и уяснил себе, кто таков есть оригинал, какого роду-племени, да на чем зиждется слава его.

С в я т о м у д р о в. Говорят, из простых крестьян.

Г о л ь д б е р г. А я слышал — генералиссимус!

С в я т о м у д р о в (*чешет в затылке*). Десять рублей дадите?

Г о л ь д б е р г. Право, не знаю... Ведь серебром просите?.. Не много ли за пленного?

С в я т о м у д р о в. Считайте — даром! Я этого героя так распишу, вам от покупателей отбою не будет!

Тем временем площадь перед домом заполняется калужскими обывателями всех сословий. Ветераны, не казавшие носу из своих имений после войны с Наполеоном, — и те явились в город, влекомые чрезвычайными известиями. Околоточный надзиратель Крюков грозно поглядывает на толпу и оттесняет ее подальше от дома.

Крюков. Не велено! Осади! Не велено!

Вдали возникает неясный шум.

Купец. Разбойник-то полагал, что в Сибирь везут, а государь ему золотую шашку с высочайшим посвящением.

Дамы. Мне кузина из Санкт-Петербурга отписала... Балы во дворце! Туалеты!.. И что Шамиль-де — статный красавец. И из глаз его брызжет огонь, а из уст его сыплются розы!..

Ветеран. Это мыслимое ли дело, господа, — податей не платят, рекрутов не дают, власти над собой никакой не ведают?! Единственно Шамиль их дикие племена и собрал в кулак!

Никишка (*кивает*). Пьянство и разврат, равно как и курение табаку — под страхом смертной казни!

Святомудров. Монах, словом, только женатый!

Дамы. А верно ли, у него жен много?

Ветеран. Осталась одна. Прочие в боях пали.

Дамы. Амазонки, сохрани и помилуй! Теперь и на улицу не покажись?

Купец. У нас не пошалишь. Калуга пока еще русский город.

Приказчик. Шамиль объединил вольные общества и устроил праведное царство, где всякий преследуемый находил себе прибежище, голодный — хлеб, а угнетенный — защиту! Дух вольности и равноправия составлял его силу!

Крюков. Не велено! А вот у меня в холодную!

Ветеран. Сообразно правителю, кодекс обнарудовал. А не трожьте, говорит, нас. А у нас по-своему. А кто сунется в горы — секир башка!

Купец. Фанатик! Христианину башку оттяпать — за первое геройство почитал.

Святомудров. В Санкт-Петербурге, господа, задрал голову на Исаакий — так чалма и слетела! В итальянской опере рыдал, что курсистка, и желал пройтись у реки, в коей Наяда утопилась!

Дамы. Хи-хи, азиат!

Ветеран. Мы, было, и вовсе Кавказ к рукам прибрали, а как поставили они над собой Шамиля, так он утесы свои от солдатского духа и очистил. А уж там мы его в кольцо, крепостями обложили, да просеки через леса...

Купец. Аккурат Пугачев! Плаха по нему плачет!

Нарастает шум. Шум битвы со свистом пуль, молодецкими выкриками и звоном сабель, горными обвалами и разрывами мин. Толпа отшатывается, прячась за Ветерана и Крюкова, которые берут под козырек. Никишка снимает шапку и отвешивает поклон. Отважный Гольдберг выдирается из толпы и делает свой ослепительный снимок. Хаос битвы смолкает, уступая поле брани звукам, сопровождающим приближение и остановку дорогой кареты с эскортом.

Все. Шамиль!..

Большая гостиная в доме Шамиля. Скупая мебель и массивная, странно изогнутая, уходящая вверх лестница. Шамиль стоит у окна, отрешенно созерцая незнакомый город, в который судьбе было угодно бросить его после долгих лет изнурительной борьбы. Дом полон звуков, голосов движенья: уже внесли тяжелые вещи, и семейство Шамиля устраивается на новом месте. Но все это мало интересует Шамиля. По лестнице сбегает штабс-капитан Руноский. Ему около сорока, и это боевой офицер, имевший дело с Шамилем на Кавказе.

Р у н о в с к и й. Слава Богу, все как будто устроилось. Только вот дамы желали бы иметь вид на город, а не в сад, как теперь.

Ш а м и л ь. Ты останешься с нами, Аполлон?

Р у н о в с к и й. До тех только пор, пока мое присутствие не покажется обременительным Вашему Превосходительству.

Ш а м и л ь. Пока меня обременяет лишь твое обращение. Я вовсе не Превосходительство, а просто Шамиль, крестьянин из аула Гимры.

Р у н о в с к и й. Как будет угодно Вашему Превосходительству.

Ш а м и л ь. ...И сверх того — ваш пленник.

Р у н о в с к и й. Почетный пленник государя императора.

Ш а м и л ь (*подходит к окну*). У дома собралось много людей. Что им нужно?

Р у н о в с к и й. Они пришли приветствовать славного гостя.

Ш а м и л ь. Наша слава осталась на Кавказе. Прикажи, чтобы эти люди ушли, Аполлон. Или собери с них деньги. Ведь они платят, когда им показывают диких зверей?

Р у н о в с к и й. Я здесь, чтобы исполнять твои пожелания, Шамиль. (*Быстро уходит.*)

Шамиль с улыбкой смотрит ему вслед.

Молодой красавец К а з и-М а г о м е д вносит охапку знамен.

К а з и-М а г о м е д. Отец! Где их поставить?

Ш а м и л ь (*резко*). Прежде мы шли за своими знаменами. Теперь они пришли за нами. Им пора отдохнуть.

Казии-Магомед уносит знамена в свою комнату. Входит Ш у а й н а т. Незаметно, чтобы долгие переезды хоть сколько-нибудь утомили ее.

Ш а м и л ь. Хорошо ли ты устроилась на новом месте, Шуайнат?

Ш у а й н а т. Я не испытывала неудобств и в походных лагерях. Может ли чего-то не доставать в таком доме?

Ш а м и л ь. Твои окна выходят в сад?

Ш у а й н а т. Ты скоро увидишь, что нет места лучше этого тихого тенистого сада.

Ш а м и л ь. Тебе нравится здесь?

Ш у а й н а т. Я счастлива.

Ш а м и л ь. Вдали от родины?

Ш у а й н а т. Моя родина — это Шамиль.

Ш а м и л ь (*сдержанно обнимая жену*). Не теперь я стал пленником, а когда впервые увидел тебя.

Ш у а й н а т (*улыбаясь, снимает с Шамиля саблю*). Пусть думают, что ты проиграл войну. Они не знают, какую победу одержала я. Я обрела больше, чем потерял Кавказ.

Н и к и ш к а приносит дрова и принимается растапливать печь.

Ш а м и л ь. Время молитвы, Шуайнат.

Ш у а й н а т. Время молитвы, Шамиль. (*Уходит.*)

Шамиль смотрит ей вслед, затем скрывается за сводчатой дверью молельни. В гостиную заглядывает Н а с т я.

Н и к и ш к а. Чего тебе, Настя?

Н а с т я. Велено враз на базар. Живого барашка привести!

Н и к и ш к а. Да ты иди сюда.

Н а с т я (*походит*). Барыня заругают. И на что им живой-то? Неужто так и съедят?

Н и к и ш к а. Тише ты... Уж это у них так заведено:

покуда самолично не заколют с молитвою, нипочем есть не станут.

Н а с т я. Боятся — отравим? Что ж на нас креста нет?

Н и к и ш к а (*вытирает руки о рубаху*). Кажись, принялось. — Закрывает печную дверцу и крадется к двери, за которой скрылся Шамиль. Заглядывает в щелку, жестами подзывает Настю. Настя, преодолевая страх любопытством, подходит. — Ишь, ишь, дьявол! Усердствует, басурман кавказский! Ишь, поклоны бьет! Да ты глянь, не бойся!

Н а с т я (*заглядывает в щелку*). Грехи, видать, замаливает. Сколь христианского люду-то погубил!

Н и к и ш к а (*обнимая Настю*). Да и своих не жаловал, если пакость какую учинят. Писарь полковой сказывал, организма-то у него — рана на ране, будто сквозь строй провели.

Н а с т я. Матерь пресвятая богородица... И как в ем дух-то держится?

Н и к и ш к а. И штыком его пронзали, и башку срубали почти всю... А вона — царь-герой!..

Н а с т я. Поклоны-то исправно кладет. Любо-дорого...

Сверху, обнажив кинжал, сбегает К а з и-М а г о м е д. Настя в ужасе закрывает лицо передником. Ни-кишка бухается горцу в ноги.

Н и к и ш к а. Пощадите, Ваше басурманское! Одним только глазком на веру вашу! Страсть антиресно на геройского человека!..

К а з и-М а г о м е д (*изгоняет Никишку пинками*). Пошел вон, пес! (*Прогнав Никишку, возвращается к Насте.*)

Н а с т я. Лю!.. (*Замирает.*) Ди.. Господи, помилуй..

Кази-Магомед подносит клинок к самому ее лицу и резким движением вспарывает на ее груди кофту.

К а з и-М а г о м е д (*усмехаясь, вкладывает кинжал в ножны*). Вечером придешь в сад. А теперь убирайся, пока цела.

Настя убегает. Кази-Магомед оглядывается, затем проверяет на прочность ставни на окнах, засов на дверях. Входит К е р и м е т в нарядном темно-синем платье с золотым поясом и изящной шали.

К а з и-М а г о м е д. Что тебе нужно, Керимет? Это мужская половина дома.

К е р и м е т (*дерзко*). Мужчины были там, на Кавказе. Здесь ты всего лишь пленник.

К а з и-М а г о м е д. Калуга плохо действует на твой нрав, женщина.

К е р и м е т. Для этого, забытого Аллахом города и одного имама достаточно. Убеди отца принять присягу на верность императору, и ты станешь хозяином Дагестана.

К а з и-М а г о м е д. Лучше я останусь сыном своего отца.

К е р и м е т. Тогда отпусти меня.

К а з и-М а г о м е д. Я женился не для того, чтобы так быстро с тобой расстаться. Лучше подумай о том, чтобы родить мне наследника.

К е р и м е т. Если он родится — родится урод.

К а з и-М а г о м е д. Ты сошла с ума!

К е р и м е т. Я не хочу детей от тебя.

К а з и-М а г о м е д. Послушай, Керимет. Кавказ перебрался в Калугу. И твое место подле мужа, который пощадил однажды твоего отца-изменника.

К е р и м е т. Мой отец хотел мира!

К а з и-М а г о м е д. И потому выдал план нашего последнего укрепления? Мир не достигается предательством.

Появляется Ш а м и л ь. Керимет быстро уходит.

Ш а м и л ь. Чем порадовала тебя жена?

К а з и-М а г о м е д (*нервно*). Приходила спросить, нет ли у нас в чем нужды?

Ш а м и л ь (*удовлетворенно*). Она умная женщина.

К а з и-М а г о м е д. Она слишком похожа на своего отца.

Ш а м и л ь. Отец ее был хороший советник, исполнитель плохой, а воин никуда не годный... Ты уже совершил полуденную молитву?

К а з и-М а г о м е д. Да, отец.

Ш а м и л ь. В какую же сторону ты молился?

К а з и-М а г о м е д (*неопределенно показывает рукой*). На юг, где могила пророка.

Ш а м и л ь (*показывает в противоположную сторону*). И твоя родина.

К а з и-М а г о м е д. Здесь трудно определить, день пасмурный...

Входит Р у н о в с к и й.

Р у н о в с к и й. Его Высокопревосходительство генерал-губернатор Калужской губернии граф Чичагов с супругой просит аудиенции.

Ш а м и л ь. Пусть войдут.

Руновский отворяет двери и отдает честь. Входит дородный, в блеске орденов, Ч и ч а г о в с супругой. Следом А д ь ю т а н т. Шамиль идет им навстречу и подает руку графу.

Ч и ч а г о в. Честь имею представиться, здешний воинский начальник граф Чичагов.

Ш а м и л ь. Раб божий в чужой стороне Шамиль.

Ч и ч а г о в. Прошу познакомиться. Супруга моя, Мария Николаевна.

Шамиль, не замечая протянутой для поцелуя ручки, кивает.

Мы приветствуем тебя, о славный шейх, в нашем городе. Осененный милостью Августейшего Монарха, ты почтил нас своим выбором. И мы приложим старания, чтобы пребывание твое не было тебе в тягость, как нам оно не обременительно, а лестно. Прими же нас, как добрых друзей, свидетельствующих тебе свое всеполнейшее почтение и предвидящих тот светлый день, когда... Как это у стихотворца... Когда народы распри позабыв... Э-э...

Р у н о в с к и й. В великую семью соединятся...

Ч и ч а г о в. Вот именно, соединятся. *(Делает знак Агьютанту.)*

А д ъ ю т а н т *(открывает папку, читает)*. «О Благородный Имам! Шлем тебе свои добрые пожелания. Счастливейшим днем почтем тот день, когда ты в согласии ума и сердца поймешь, что был побежден не только оружием, но также и любовью к тебе. Божьей милостью Император Александр Второй».

Ш а м и л ь. Внимание, оказанное сардаром Александром, доставляет мне удовольствие, какого я не испытывал при своих успехах против его войск. Теперь я должник Александра и уповаю на то, чтобы мне предоставился случай достойно отблагодарить его.

Ч и ч а г о в. Государь только воздал тебе должное. Сверх того спешу сообщить, что доблесть и благонамеренность сына твоего Магомеда-Шапи превзошли все ожидания. Волею государя императора он произведен в полковники и назначен в почетный конвой.

Ш а м и л ь. Его склонность к военному делу нам хорошо известна. Проживание со мной стало бы сыну в тягость.

Ч и ч а г о в. Открываются хорошие виды в смысле его дальнейшего продвижения по службе. Но, думается мне, государю легче было бы возвышать сына своего подданного, нежели пленника. Вот тебе и случай.

Ш у а й н а т вносит блюдо с восточными сладостями. Все, желая угодить Шамилю, пробуют. Чичагов вдруг состраивает гримасу и осторожно достает что-то изъ рта.

А д ъ ю т а н т (*беря под козырек*). Осмелюсь доложить, пуля! Кавказская штучка, Ваше Высокопревосходительство!

Р у н о в с к и й (*быстро забирает пулю и прячет ее в карман*). Недоразумение, господа. Сладости привезены с Кавказа. Прислуга не досмотрела.

Ч и ч а г о в. Однако... Сюрприз! Гхм... Доволен ли домом, господин Шамиль?

Ш а м и л ь. Гостеприимство жителей Калуги заставляет меня сожалеть о том, как я содержал пленных у себя.

Р у н о в с к и й. Господа, нашему гостю понравился дом, сад он нашел великолепным, а конюшни превосходными. Он пожелал только вернуть серебряные приборы и некоторые дорогие вещи.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Вернуть в казну?

Ш а м и л ь. Роскошь, по убеждению горцев, составляет верную причину болезней и несчастий ее обладателя.

Ч и ч а г о в. Похвально, похвально...! Я тоже, иной раз, делаюсь аскетом... Как тебе понравилось в Санкт-Петербурге?

Ш а м и л ь. Жизнь там похожа на рай.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Вы находите?

Ш а м и л ь. Только в раю нам обещаны прекрасные гурии, а в доме сардара Александра я видел, как мужчины обнимают полуголых женщин.

М а р и я Н и к о л а е в н а (*мужу*). А он милый азиат! И верно, был красавец в молодости. (*Садится на диван вместе с Шуайнат, во все глаза рассматривая ее наряд.*)

Ч и ч а г о в. Однако, позволь полюбопытствовать. Будучи ознакомлен с жизнью просвещенной России, не раскаиваешься ли ты в жестокостях, которые совершал над людьми?

Ш а м и л ь. Я был пастырь, а те были мои овцы. Чтобы удержать их в покорности, я должен был употреблять жестокие меры.

Ч и ч а г о в. Но верно ли, что ты велел высесть собственную мать?

Ш а м и л ь. Я исполнял законы Пророка и потому требовал того же и от избравших меня. А мать, по слабости своей, пришла просить за изменников.

Р у н о в с к и й. Осмелюсь доложить, Ваше Высокопревосходительство, ваш подопечный назначил сто палок, но девяносто пять принял на себя.

Ч и ч а г о в (*удивленно*). Достойно, достойно... А что батюшку своего за пьянство хотели?..

Ш а м и л ь. Он семь раз клялся на Коране, что не станет больше пить, и столько же раз нарушал данное слово. Тогда я сам поклялся, что убью себя на его глазах, если он вновь нарушит клятву и не оставит свою позорную привычку.

Ч и ч а г о в. И вы вовсе не употребляете вина?

Ш а м и л ь. Однажды пророк искал уединенное место, желая предаться размышлениям и самосозерцанию. По пути он встретил пирующее общество, сопровождавшее беседу обильными возлияниями. Пророк пожелал им мирного веселья и поехал дальше. На обратном пути увидел он их мертвыми, ибо пьяные перебили друг друга в ссоре. Пророк стал молиться, прося у Всевышнего позволения запретить вино. Тогда предстал перед ним архангел Джабраил, Гавриил по-вашему, и возвестил волю Аллаха запретить употребление вина, а пьющих объявить врагами общества, способными причинить рано или поздно большое зло.

Ч и ч а г о в. И что же, исправились твои соплеменники? Со времен пророка много воды утекло.

Ш а м и л ь. Дома пьяниц я заливал вином до потолка. И вина всегда находилось в избытке.

Ч и ч а г о в. Уж так устроено Господом, что каждый живет своим законом. А позволь взглянуть на твою моленную. Архитектор наш трижды ее переделывал...

Ш а м и л ь (распахивает дверь в моленную). Двери Аллаха всегда открыты ищущему.

Ч и ч а г о в (заглядывает). Гхм... Пусто... Темно... Что касается пяти молитв, так они, я знаю, установлены в вашей вере. А что же это за молитвы, кои ты, как мне докладывали, совершаешь до и после узаконенных?

Ш а м и л ь. Они подобны множеству лампад, которыми вы освещаете свои дома.

Мужчины, продолжая осматривать дом, уходят в правые двери.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Шуайнат, душенька, позвольте узнать, как вас звали до того, как вы... такое странное слово... стали ренегаткой?

Ш у а й н а т. Анна Ивановна Улусова, с вашего позволения.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Как же вы пошли за иноверца?

Ш у а й н а т. По любви, сударыня.

М а р и я Н и к о л а е в н а. По любви? Разве он не похитил вас?

Ш у а й н а т. Верно, похитил. Но не сам. Его люди сделали набег, надеясь захватить золото моего батюшки, которому война приносила немалые деньги, как поставщику армии. Но отец чудом успел перевести состояние в Москву. Уходя ни с чем, люди Шамиля и наткнулись на нашу карету. Мы с матушкой как раз возвращались из крепости после бала.

М а р и я Н и к о л а е в н а. И эти разбойники вас схватили?

Ш у а й н а т. За нас они могли получить то, чего не

нашли в банке. Нас доставили в ставку Шамиля и заперли в мечети. К вечеру Шамиль пришел взглянуть на пленниц, да так и простоял около часу. Не шелохнувшись и не отводя глаз. Тогда-то все и случилось.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Ангел мой! Ведь он, простите, в отцы вам годится. И не иметь жалости к юной воспитанной особе!..

Ш у а й н а т (*улыбаясь*). Напротив, сударыня. Шамиль, против воли своих сподвижников, тогда же и повелел отвезти нас обратно без всякого выкупа. Маменька не верила в столь счастливое избавление, целовала полы его черкески, плакала. А когда я объявила, что не вернусь в родительский дом, что твердо решила остаться с Шамилем, маменьке сделалось дурно.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Страсти господни!

Ш у а й н а т. Однако же я не изменила своего намерения и не жалею о том.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Неужто у вас не было нареченного?

Ш у а й н а т (*вздыхает*). У меня был жених, сударыня, — кавалерийский полковник. Уже и свадьба была назначена... Узнав о случившемся, он застрелился, да простит меня Всевышний.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Неужто вы так полюбили?

Ш у а й н а т. На все воля Божья. Я и сама не знаю, что со мной тогда сделалось.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Судьба ваша представляется мне романтической. Но ведь у магометан, я слышала, многоженство заведено? А я, как истинная христианка, убеждена, что в одно время любить нескольких жен невозможно. Это противно даже естеству человека.

Ш у а й н а т. Ах, сударыня, я сама была христианка и знаю, что у ваших мужей тоже всегда по несколько жен. Но они имеют их тайно.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Однако же быть первой дамой Кавказа и терпеть соперниц?..

Ш у а й н а т. Моей соперницей была война, сударыня. (Пауза.) А что до многоженства, так ведь жениться прежде могли лишь богатые. Не заплатишь за невесту тысячу серебром, так и будешь холостым до скончания дней. Девиц седых множество было. Оттого и разврат — от отчаяния. Или на грабежи пускались...

М а р и я Н и к о л а е в н а. Что ж теперь, без выкупа?

Ш у а й н а т. Дабы увеличить в народе счастье, установил Шамиль, чтобы платить за жену не более десяти рублей, да и те обращать в пользу женщины на случай развода.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Этак ведь каждый босяк захочет жениться?

Ш у а й н а т. Ровно столько платил и Пророк Магомед за жену свою. А что до босяков, так ведь это у вас, кто барин, а кто — раб.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Азия-с... Как же мужику без хозяина? Ведь он пропьет все, да семью по миру пустит. Или, того и гляди, в зятья к тебе сунется, было немывтое. Разве ж мужик может понимать, что есть просвещенные люди?

Ш у а й н а т. Куда ему! Разве что и сумеет, так это обушь да одеть хозяина, накормить да оборонить просвещенного от неприятеля...

Кази-Магомед дерзко разглядывает Марию Николаевну, чем заметно ее беспокоит. Беседа, возвращаются Шамиль, Чичагов и Руновский.

Ч и ч а г о в. Велико ли было твое состояние к концу войны?

Ш а м и л ь. Счетом занимался мой секретарь, который и обокрал меня, когда я уходил в Гуниб.

Р у н о в с к и й. По данным генштаба, в казне имама было более трех миллионов рублей серебром.

Сверх того было немалое имущество...

Ч и ч а г о в. Следовало бы подать ходатайство о вытребовании награбленного.

Ш а м и л ь. Я довольствуюсь малым, я могу довольствоваться еще меньшим; я буду доволен и тогда, если у меня ничего не будет... Дети мои должны добывать себе хлеб сами, так же, как я его добывал. Для них это будет гораздо легче, нежели это было для меня, потому что я оставляю им такое наследство, какого не получил сам: они дети Шамиля.

Ч и ч а г о в. Однако же стоит примерно наказать наглецов...

Ш а м и л ь. Одно, чего я могу желать, это — возвращения всех моих книг.

Ч и ч а г о в. Полагаю, следует известить об этом фельдмаршала князя Барятинского.

Ш а м и л ь. Его сделали фельдмаршалом? За то, что взял меня в Гунибе?

Ч и ч а г о в. За покорение Кавказа.

Ш а м и л ь. Кавказ покорится лишь тому, чьим оружием станет справедливость.

Ч и ч а г о в. Гхм, да... Засим позвольте откланяться. Неотложные дела вынуждают меня покинуть твой гостеприимный дом. Желая приятнейшего благоустройства на новом месте.

Ш а м и л ь. Двери мои всегда открыты гостю.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Благодарим за угощение. Рады были познакомиться. (*Шуайнат*) Анна Ивановна, душенька, не забывайте нас...

Гости покидают дом. У двери, вытянувшись во фронт, стоит К р ю к о в.

Ч и ч а г о в (*Крюкову*). Дьявол! Надзирать неестественно, но постоянно.

Шуайнат забирает поднос и тоже уходит.

К а з и-М а г о м е д. Он сказал, что Магомед-Шапи теперь полковник в охране царя Александра?

Ш а м и л ь. Хочешь последовать его примеру?

К а з и-М а г о м е д. Золотые погоны — слишком тяжкий груз для моих плеч. Когда сыновья Шамиля становятся царскими полковниками, царь может не беспокоиться о своих делах на Кавказе.

Ш а м и л ь. Разве ты видел, чтобы победитель награждал истинно побежденных?

К а з и-М а г о м е д. Губернатор намекал на присягу государю. Пока ты не объявишь себя его подданным, а Дагестан частью империи, Александру придется держать на Кавказе большую армию. Это стоит дороже, чем вся Калута вместе с ее губернатором.

Ш а м и л ь. Если сардар столько лет не мог утвердиться на Кавказе, значит, желание это несправедливо. Когда в Россию пришел Наполеон, его очень скоро настигла кара небесная.

К а з и-М а г о м е д (*смотрит в окно*). Город почти весь деревянный. Если в ветреную погоду правильно его поджечь...

Ш а м и л ь. Не делай этого, сын мой. Русские будут над тобой смеяться. (*Подходит к окну.*) Здешние мальчишки радуются, видя меня в плену. Но они не сердятся и не желают мне зла. Наши бы закидали пленного камнями, да и убили. Я напишу, чтобы этого не делали.

Возвращается Р у н о в с к и й с небольшим саквом в руках.

Р у н о в с к и й. Господа. Имею честь сообщить, что, во исполнение все милостивейшего соизволения государя императора, в казначействе калужском вытребована пенсия. Пятнадцать тысяч рублей серебром: годовое содержание.

Ш а м и л ь. Мой жалкий разум не видит, как воспользоваться этим богатством...

Руновский. У тебя большая семья, Шамиль.

Шамиль. Женщины будут ходить в ваши лавки, а мужчины — покупать вино и табак?

Руновский. Сколько я знаю, мусульманину, отправившемуся в далекий путь, нет нужды соблюдать суровые предписания Корана.

Шамиль (улыбается). Они суровы для порочных, Аполлон, праведным они даруют счастье.

Руновский открывает саквояж, достает перо и бумагу.

Шамиль (сыну). Пиши.

Руновский. Позвольте заметить, по правилам российского казначейства, лицу получающему надлежит самому...

Шамиль берет перо и, подумав недолго, пишет.

Шамиль. Месяца хиджры, пятнадцатого, года 1368, пятнадцать тысяч рублей государевых денег получил от Аполлона нуждающийся в милости Божьей, Шамиль.

Руновский (приписывает). Ноября, пятнадцатого, лета от рождества Христова 1859. Извольте получить.

По знаку Шамиля Кази-Магомед берет саквояж и уносит его в свою комнату.

К сему присовокупляется список наиболее интересного из того, что может предложить почетному гостю осчастливленный его посещением край. (Читает список.) Детский приют, дом трудолюбия, духовная семинария, сахароделательный завод, бумажная фабрика, госпиталь. Дабы было не обременительно и сообразно уставу — все не далее тридцати верст от Калуги.

Шамиль. А что же дальше?

Руновский. Дальше — Сибирь.

Пауза.

Шамиль. Что ж, это не худший удел побежденного. Я повидал многое, но никогда не видел, как дела-

ют сахар. Он белый, но, я слышал, получают его из черного корня?

Р у н о в с к и й. Из свеклы... Я извещу господина губернатора о вашем намерении посетить сахароделательный завод. *(Уходит.)*

Кази-Магомед возвращается, весело поигрывая серебряным рублем.

Ш а м и л ь. Сын мой, подумай, как употребить деньги на добрые дела.

К а з и-М а г о м е д. Я мог бы вооружить сильный отряд и заставил бы губернатора чистить наши конюшни.

Ш а м и л ь *(гневно)*. Оставь глупые намерения! Лучше подумай о своих близких. Теперь они — наша армия.

К а з и-М а г о м е д *(прячет рубль)*. Да, отец. Но чем больше почестей нам оказывают, тем больше я их ненавижу.

Ш а м и л ь. Там, у церкви, много нищих. Каждое утро ты будешь раздавать им милостыню. Такова моя воля.

Врывается репортер С в я т о м у д р о в. Следом — К р ю к о в.

С в я т о м у д р о в. Господин Шамиль! Господа! Я — репортер «Калужских Губернских Ведомостей»! Несколько слов для истории!

К р ю к о в. Дозвольте изъять прохвоста? Я ему... *(Показывает кулак.)*

Ш а м и л ь. Что нужно этому человеку?

К а з и-М а г о м е д. Хлеб. Он зарабатывает себе на жизнь, продавая чужие.

С в я т о м у д р о в *(уже строчит в блокноте)*. Чужие жизни... Прелестно! Какие дерзкие фантазии!..

Ш а м и л ь *(сыну)*. Скажи сторожу, чтобы оставил мой дом и больше не входил по своей воле.

К а з и-М а г о м е д *(надвигаясь на Крюкова)*. Не входить! Не орать! Не беспокоить.

К р ю к о в. Слушаюсь! *(Берет под козырек и исчезает.)*

С в я т о м у д р о в. Варварство! Никакой свободы печати!

К а з и-М а г о м е д. Кто тебя подослал, болтливая ворона?

С в я т о м у д р о в. Какая простота нравов! *(Строчит в блокноте.)* В газете помрут от зависти!

К а з и-М а г о м е д. Отвечай, шакал!

С в я т о м у д р о в *(напугавшись всерьез)*. М-меня? Р-редактор... С-с разрешения Его Превосходительства генерал-губернатора.

К а з и-М а г о м е д. Нужно спрашивать разрешения не у губернатора, а у Шамиля!

Ш а м и л ь. Оставь его. Гость — посланец Бога.

С в я т о м у д р о в *(снова строчит)*. Войдет в историю государства Российского!

Ш а м и л ь. Чего ты хочешь?

С в я т о м у д р о в. Я вас не обременю, милейший. Пару вопросов. Мне бы только обрисовать в коротких словах, как это вы там, на Кавказе, бунтовали против самодержавия целых двадцать пять лет, и как вам понравилось в нашем маленьком городишке?

Ш а м и л ь *(смеется)*. Как ты хочешь описать мою жизнь, когда видишь меня впервые?

С в я т о м у д р о в. В газете все можно, Ваше благородие!

Ш а м и л ь. Если я расскажу тебе правду, неужели об этом узнают все люди?

С в я т о м у д р о в. Это уж не извольте беспокоиться. На вас теперь спрос большой. Мы хоть и не в столицах живем, а довольно наслышаны о милости к вам нашего августейшего.

Ш а м и л ь. Выходит я зря воевал за свою правду, если она так легко может стать правдой для всех?

С в я т о м у д р о в (*строчит*). В России не такое случается. Страна парадоксов, как говаривал один мой приятель. Правда, его недавно подстерегли ваши молодцы на Кавказе.

Ш а м и л ь. И ты можешь говорить людям то, что думаешь?

С в я т о м у д р о в. Ежели вы имеете в виду свободу слова, то на сей счет в государстве Российском (*крестится*) все устроено презанимательнейшим образом! Ведь если говорить правду, то ее же надобно и отстаивать. Во всеоружии, так сказать. А кто в нашем благословенном Отечестве во всеоружии? Армия! Так что последнее слово по части свободомыслия у нас всегда за ней.

К а з и-М а г о м е д (*усмехается*). Как горох в мешке.

С в я т о м у д р о в. Рекомендую подписаться на нашу газету ввиду вашего, по всей вероятности, длительного здесь пребывания. Полюбопытствуйте. (*Достает газету и отдает ее Шамилю.*) Недавно, кстати, мы поместили очерк жизни героя российского графа Ермолова. Он и на ваш счет не преминул...

Ш а м и л ь. Да, я знаю его немного... И что же он говорил обо мне?

С в я т о м у д р о в. Э... Не припомню, наверное, Ваше Высокоблагородие, ну, что ли, выходило, что ваши помощники вас не стоили. А в главном проводилась мысль о том, как славное войско российское сумело кроткими внушениями обнаружить горцам их легкомысленность и суеверие. И что призрак независимости, изгнанный доблестными войсками Государя Императора, оставил после себя совершеннейшее спокойствие и выгоды жизни под властью самодержца. То есть — горец суть дитя малое и есть совершенная игра природы, как и горы, его сохраняющие.

Ш а м и л ь (с грустной улыбкой). Напиши: мы недостаточно ценили свою свободу, недостаточно любили родину, недостаточно верили.

С в я т о м у д р о в (строчит). Великолепно! Господа! Да из этого может вытанцеваться повесть! Роман! Горы! Кинжалы! Орлы в небесах! Этакая песня дикой вольности! Поверьте, Ваше Превосходительство, я человек передовых взглядов! Я это так изображу — Ермолов зарыдает! (Оглядывается опасливо на дверь.) Но это потом, как-нибудь... За границей... Как, к примеру, Герцен... Вы, конечно, читали? «Колокол»... Кружки, масоны... Впрочем, черт их разберет. Вольно им там, в Лондонах, бумагу марать. А тут редактор жалованье грозит убавить. Паскудником обозвал, крыса жандармская. А сам-то, сам-то, знаете ли, таким пуделем перед губернатором вертится. Кузину обрюхатил, а исполнителю взятку. Угнетатель!

Шамиль делает сыну знак. Тот подхватывает газетчика под руку и ведет к двери.

Позвольте! Ваше Высокопревосходительство! А как же роман? Я положительно хотел бы изъяснить... Ваше сиятельство!

К а з и-М а г о м е д. В другой раз. Отцу молиться пора... А скажи-ка, любезный, есть ли в вашем городе пансион благородных девиц?

С в я т о м у д р о в. Есть... Женская гимназия...

К а з и-М а г о м е д. Проводи.

С в я т о м у д р о в. Так ведь это тут, недалеко. По вечерам у Оки гуляют. А вы дамским полом интересуетесь? Отменные штучки доложу я вам... Вольтера читают, а отцов не почитают...

К а з и-М а г о м е д. Жену хочу поместить. Мне жена ученая нужна...

С в я т о м у д р о в. А?! (Строчит.) Всенепременно устроим!

К а з и-М а г о м е д. Это не пиши. Голову отрежу. И газету твою сожгу.

С в я т о м у д р о в. А?.. *(Прячет блокнот.)* По закону не дозволяется...

К а з и-М а г о м е д. У вас свои законы, у нас свои... А проведешь туда, я тебе очень много расскажу. Три романа напишешь.

С в я т о м у д р о в. Всенепременно... Теперь и отправимся?

К а з и-М а г о м е д. Завтра, завтра. *(Выставляет его за дверь.)*

На авансцене появляется К р ю к о в, грозя кулаком вслед репортеру.

К р ю к о в. Чертова писулька! *(Достает бумагу и, тяжело дыша, пишет по слогам.)* Сего числа военнопленного Шамуила навестил известный вам, Ваше Высокочтимейство, газетчик Андрей Святомуудров, и имел с военнопленным тайный разговор в продолжении около получаса, о чем и спешу уведомить. Околоточный надзиратель Семен Крюков.

Шамиль разглядывает газету, затем отдает ее сыну и садится.

К а з и-М а г о м е д *(читает)*. «Дело королевы бриллиантов! Новые сведения показывают, что убитая Костинская уже тринадцати лет познала все прелести разгульной жизни. В момент убийства жертва имела троих тайных детей».

Ш а м и л ь. О, Аллах, чем заняты их головы?

К а з и-М а г о м е д. Театр. Премьера. «Душа женщины — потемки»... Любовная игра в четырех действиях. «Шалая бабенка» — картины из жизни наших вельмож.

Ш а м и л ь. Это и есть то счастье, которое сулили нам взамен свободы?

К а з и-М а г о м е д. У них своя жизнь, отец... *(Читает дальше.)* «Я был лысым! Мой способ ращения

волос... Самоновейшее средство «Байрон» от всех видов сифилиса...»

Шамиль резко встает, отбирает у сына газету и рвет ее в клочья.

Ш а м и л ь. Ты читаешь по-русски? Где ты этому выучился?

К а з и-М а г о м е д (*опускает голову*). В горах.

Ш а м и л ь. В горах? У Джамалутдина?

К а з и-М а г о м е д. Помнишь того пленного, которого ты отдал брату?

Ш а м и л ь. И который вскоре сбежал?

К а з и-М а г о м е д. Воспитанный в Санкт-Петербурге, Джамалутдин не мог терпеть при себе раба. Мы обменяли офицера на триста русских книг, без которых брат не прожил бы и недели.

Ш а м и л ь. Мне говорили об этом, но я не верил.

К а з и-М а г о м е д. Ты видел, как угасал Джамалутдин. Он оживал лишь тогда, когда говорил о просвещенной России. Он был так красноречив, что я решил сам узнать, правда, что русские книги лучше солдатских штыков?

Ш а м и л ь. Не хочешь ли ты сказать, что их книги вернее наших?

К а з и-М а г о м е д. Наши повествуют о прошлом, а русские книги — зеркало настоящего.

Ш а м и л ь. Святые истины не подвластны времени.

К а з и-М а г о м е д. Среди книг Джамалутдина и среди тех, что я приказал отбирать у пленных, чаще всего встречались сочинения Пушкина. Удивительно, но этот русский поэт не расставался с Кораном и даже писал стихи в подражание вечной книге.

Ш а м и л ь. Хороши ли эти стихи?

К а з и-М а г о м е д. В них есть отблески нашего солнца. Прежде я отдал бы тысячу Пушкиных за одну

пушку, а теперь знаю, что все пушки не стоят одного Пушкина.

Ш а м и л ь. Значит, это человек, с которым можно говорить открыто?

К а з и-М а г о м е д. Он родился в один год с тобой и был убит на дуэли в тридцать восемь лет.

Ш а м и л ь. Да простит его Аллах. Великая тайна сокрыта в том, что люди, в чьих помыслах проступает вечность, так беззащитны в своем земном существовании...

Густой колокольный перезвон врывается в дом пленного. Кази-Магомед бросается к окну. Слышится песнопение.

К а з и-М а г о м е д. Они вынесли из храма своих идолов!

Ш а м и л ь (*подходит к окну*). Как много золота в их вере.

К а з и-М а г о м е д. Похоже, здесь принято не заслуживать милость Божью, а покупать ее?

Ш а м и л ь. Покупать? На что Богу золото?

К а з и-М а г о м е д (*пожимает плечами*). А кругом столько нищих.

Входит Р у н о в с к и й.

Р у н о в с к и й. Не пожелает ли Шамиль присутствовать на нашем празднике?

Ш а м и л ь. Благодарю, Аполлон. Есть много причин, не позволяющих мне этого. И прежде всего та, что не велит иноверцу нарушать святость чужого таинства. Эти люди прекрасны в своем единодушии. Сердца их наполнены любовью.

Р у н о в с к и й. Любовь к ближнему суть основание нашей веры. А знаешь ли ты, что прежде и твой народ был православным?

Шамиль. Этого никто точно не знает. Но в горах много церквей, это верно. Когда ваши солдаты начали переходить ко мне, я повелел восстановить на свой счет все храмы, и даже построить новые, чтобы желающие того могли отправлять свои духовные потребности, не испытывая от нас притеснений.

Руновский. Разве православные храмы в горах не говорят за верность моего предположения?

Шамиль. Но разве не в обычаях всевышнего предписания одного пророка заменять законами пророка, приходящего после? Ведь были заменены предписания скрижалей Пятикнижием Моисея? А Пятикнижие затем было заменено Евангелием. Так почему вы не хотите признать замену Евангелия Кораном?

Кто-то швыряет в окно камнем. Казим-Магомед готов наказать виновного, но Шамиль удерживает его. Слышен свисток полицейского. Крики.

Казим-Магомед. Хороша любовь к ближнему!

Руновский (*бросается к окну*). Полиция!

В окне появляется **Никитка**. Он горестно оглядывает урон и начинает собирать осколки.

Никитка. В участок поволокли.

Руновский. Кто таков?

Никитка. Из студентов.

Руновский (*Шамилю*). Не извольте беспокоиться. Дело будет расследовано, а виновный наказан по всей строгости.

Шамиль. Что направило руку его?

Никитка. Да пока вязали, и разобрать не успели. Кричал-де, ваши джигиты отца его зарезали.

Шамиль (*мрачней*). Кто был его отец?

Никитка. Не скажу точно, Ваше сиятельство... Из офицеров... Будто человек десять пленных разом и порешили.

Ш а м и л ь. Да, я знаю это дело.

Р у н о в с к и й. Господа, стоит ли теперь? То была война.

Ш а м и л ь (после паузы). Поймешь ли ты меня, Аполлон, но я принял исламское звание не для войны с русскими, а для уничтожения несправедливости среди своего народа. И вовсе не проповеди побудили горцев взяться за оружие и обнажить сабли, а деспотизм ханов, подкрепленный вашими пушками. У горцев отобрали лучшие земли и пастбища, запретили торговлю с приморскими равнинами, которая доставляла нам хлеб и соль. А сверх того — введение непосильных податей и повинностей, наказания, без разбору, правых и виноватых очень скоро довели горцев до последней крайности, оставив на выбор голодную смерть или решительную борьбу с притеснителями. И все же, если бы первым словом было «война», а не «равенство» и «свобода», первый же аул выдал бы меня ханам или вашим войскам. Но, раненый и разбитый, я спасался в саклях бедняков, которые и были потом верной моей опорой... Однако, уничтожив ханскую власть и освободив горы, наибы мои сами не замедлили обнаружить порочную склонность к наживе и притеснениям, сея новую несправедливость и развращая тем души горцев, обманутых в своих ожиданиях. А когда сардар Александр сменил штыки на золото, многие общества изгнали моих наивов, оказавшихся наивами порока, отошли от меня и приняли вашу сторону. Власть стала для меня каторгой. Государство разваливалось неудержимо. Еще оставались чистые сердца, но возможность победы таяла быстрее, чем снег весной. Я рассказал тебе малую долю того, что привело меня к твердому желанию кончить войну. Однако случай с пленными офицерами продлил ее еще на много лет.

К а з и-М а г о м е д. Они погибли, но их убили не мы.

Р у н о в с к и й. Кто же?

Ш а м и л ь. Фельдмаршал Воронцов, наместник на Кавказе.

Р у н о в с к и й. Господа! Покойный князь почитается у нас за человека честного и добродетельного.

Ш а м и л ь. Я тоже почитал его за человека верного, и с ним первым пошел на мирные переговоры. В подтверждение своих честных намерений, я согласился обменять ваших офицеров на пленных горцев и ожидал их списка. Но вместо него, в коровьем масле, присланном для офицеров, найдено было письмо, в котором приглашали их мужаться и потерпеть, так как открывается возможность освободить их без выкупа. Тогда я им ничего не сделал, рассудив, что весьма естественно стараться освободить своих более быстрым и выгодным способом. Но скоро появление вашего экспедиционного корпуса решило судьбу пленных. Не спрашивай моих друзей, спроси моих врагов, так ли было дело.

Р у н о в с к и й (*задумчиво*). Тогда я служил при штабе фельдмаршала и имею на сей счет другие сведения.

Ш а м и л ь. Другие? Ты сомневаешься в моей искренности?

Р у н о в с к и й. Ничуть, Шамиль. Но скажи, того человека, который нашел в масле записку, звали Мирза?

Ш а м и л ь (*удивленно*). Ты его знаешь?

К а з и-М а г о м е д. Мирза был храбрым мюридом.

Р у н о в с к и й. Был ли тот Мирза горцем?

Ш а м и л ь. Он пришел к нам из других мест, но я видел его преданность.

Р у н о в с к и й. Что же с ним стало потом?

К а з и-М а г о м е д. Мне сообщили, что Мирза погиб в набеге.

Ш а м и л ь. Почему ты спрашиваешь, Аполлон, но сам ничего не говоришь? Мирза предал нас?

Р у н о в с к и й. Он предавал вас с самого начала.

Ш а м и л ь. Мне трудно в это поверить.

К а з и-М а г о м е д. Пусть докажет.

Р у н о в с к и й. Документы хранятся в надлежащем месте, но суть дела мне известна. Мы взяли Мирзу, когда он пробирался к туркам через Батум. Его выдал духанщик.

Ш а м и л ь. К туркам?! Что ему от них понадобилось?

Р у н о в с к и й. Дело в том, что Мирза был тайным агентом Англии, засланным к тебе через Константинополь. Он бывал на Кавказе и раньше, под видом купца, изучая вашу речь и обычаи. Задача же его состояла в употреблении всевозможных мер дольше, отнимая у нас войска и тем ослабляя русскую армию в Крымской кампании.

Ш а м и л ь (сыну). Как же ты не увидел этого? Мирза был среди наших приближенных!

К а з и-М а г о м е д. Мирза понимал в картах и умел строить хорошие крепости.

Р у н о в с к и й. В Крыму, господа, нам действительно не хватило войск, занятых на кавказском театре. Но вернемся к той злополучной записке, якобы найденной в масле. Правда состоит в том, что князь Боронцов принял твои условия, Шамиль.

Ш а м и л ь. Принял?!

Р у н о в с к и й. Но вместо его согласия ты получил гнусное произведение Мирзы. Вскоре за тем мы получили оскорбительный ответ с присовокуплением головы одного из офицеров.

Ш а м и л ь. Этого не было, клянусь Аллахом!

Р у н о в с к и й. Мне тоже показалось странным такое послание. Однако же князь был не охотник долго рассуждать. И дерзкая перемена твоих намерений побудила его двинуть в горы войска.

Ш а м и л ь (после тяжелой паузы). Да покарает Мирзу Аллах! И доля из того наказания причитается слепцу Шамилю, не сумевшему отличить слуг всевыш-

него от приспешников дьявола.

К а з и-М а г о м е д. Выдайте нам Мирзу. Я изрублю его на столько кусков, сколько людей погибло по его вине!

Р у н о в с к и й. Негодяй уже получил сполна по заслугам.

Ш а м и л ь (*устало садится*). Поистине — ищи врагов среди друзей своих... И какое дело до нас англичанам? Их маленькая страна находится где-то на окраине Европы.

Р у н о в с к и й. Это верно. Но колонии ее простираются по всему миру. Даже огромную Индию Англия превратила в свою рабыню. Англия — давняя соперница России и союзница Турции, и войны, подобные Крымской, ей только на руку.

Ш а м и л ь. Если это верно, то Дагестан ждала участь Индии.

Р у н о в с к и й. Прости, Шамиль, но в большой политической игре Дагестану отводилась роль не более, чем пешке в шахматах.

Ш а м и л ь (*мрачно*). Пусть так. Но мы смотрим на свои горы иначе, потому, что они — наша родина. (Пауза.) Теперь я сожалею о случае с офицерами и прошу не наказывать бросившего камень в мой дом. Он сделал это по душе, как человек благородный. А благородства я и на Кавказе видел от вас немало.

К а з и-М а г о м е д. Отец, помнишь ли того русского лекаря, что перешел к нам под Салтами?

Ш а м и л ь (*кивает*). Поступок его оказал на горцев больше действия, чем ядра неприятеля.

Р у н о в с к и й. В чем же он заключался?

Ш а м и л ь. Лекарь перешел к нам, чтобы вынуть осколки гранаты из тела моего сотника. Горец порывался убить лекаря, но тот не вернулся к своим, пока благополучно не закончил дело, усыпив раненого каким-то волшебным туманом.

К а з и-М а г о м е д. Он называл его наркозом.

Р у н о в с к и й. То был академик Пирогов. Многие обязаны ему жизнью. Однажды он спас и меня.

Ш а м и л ь (*удивленно*). Ты был ранен, Аполлон?

Р у н о в с к и й. И не раз. Одна пуля так и сидит у меня в ноге.

Ш а м и л ь. И ты ходишь с пулей?

Р у н о в с к и й. Она напоминает о себе лишь в очень скверную погоду.

Ш а м и л ь. В такую погоду болят и мои раны, Аполлон.

Приемная генерал-губернатора, богато убранная и с самодержцем в полный рост на стене. За красивыми окнами, на плацу, муштра. Входит Р у н о в с к и й.

Р у н о в с к и й. Ваше Высокопревосходительство! Имею честь прибыть по вашему приказанию!..

Ч и ч а г о в. Здравствуйте, любезный Аполлон Иванович! Присаживайтесь.

Р у н о в с к и й. Благодарю.

Ч и ч а г о в (*заглядывает в рапорт*). Доволен ли Шамиль содержанием?

Р у н о в с к и й. Возносит хвалы Всемилоостивейшему Государю Императору.

Ч и ч а г о в. Это после былого-то величия?

Р у н о в с к и й. Сколько я понимаю, о потерянном имуществе своем Шамиль жалеет, как о прошлогоднем снеге.

Ч и ч а г о в. Был ли замечен в подозрительных сношениях с неблагонадежными лицами?

Р у н о в с к и й. Никак нет. По большей части занят молитвами да посильной помощью нуждающимся и калекам.

Ч и ч а г о в. Гранжирит, значит, государево содержание?.. А что я слышал, будто в доме у него неладно?

Р у н о в с к и й. Имею честь доложить, что беспокойства проистекают большей частью по многочисленности семейства и удаленности от родины, а также от своенравности невестки Шамиля Керимет, дочери нашего союзника Даниэль-Бека. Однако не стоит придавать этому большой важности.

Ч и ч а г о в. Хорош герой: орды разбойников собрал в крепкое государство, а с семейством не совладал? Гхм, впрочем, семья — тоже не фунт изюму. А что сын его? Джигит не из последних, я слышал?

Р у н о в с к и й. Выказывает чрезмерное усердие в смысле карт, порочных знакомств и назойливых ухаживаний за воспитанницами женской гимназии. Сие может опорочить нашего гостя, осененного милостью Государя Императора.

Ч и ч а г о в. Гхм... Препятствий не чинить. Дикае народы чадолюбивы. И в случае надобности мы найдем повод указать Шамилю на неподобающее поведение сына его. А семейные разлады... Что ж, батенька, это плохо в нашем доме и отнюдь не возбраняется в чужом. Делал ли визиты?

Р у н о в с к и й. Тому два дня, Шамиль навестил в лазарете раненого горца и дал ему пять рублей серебром. Затем посетил сахароделательный завод Маркелова, где пришел в величайшее изумление, узнав, как употребляются в дело свиные кости. После чего велел домашним употреблять только мед.

Ч и ч а г о в. А в смысле политическом ничего предосудительного не замечено?

Р у н о в с к и й. Никак нет, Ваше Высокопревосходительство.

Ч и ч а г о в. А что вы на это скажете? *(Полагает Руновскому портрет Шамиля.)*

Р у н о в с к и й. Как нельзя более соответствует оригиналу.

Ч и ч а г о в. Вы находите? (*Оборачивает портрет.*) Полюбопытствуйте.

Р у н о в с к и й (*читает*). «Родился... Учился... По избрании имамом тридцати пяти лет от роду открыл неприязненные действия... Эпилептические припадки почитаются его последователями за божественное отличие... Взят в Гунибе... Помилован царем и сослан в Калугу. Держался за счет Турции, подстрекаемой Англией...»

Ч и ч а г о в. Произведение господина фотографа Гольдберга и газетчика Святомудрова. В настоящее время взяты под арест.

Р у н о в с к и й. Поделом. Выставили Шамиля таким продажным негодяем.

Ч и ч а г о в (*берет со стола другой портрет*). Оно бы и ничего... А вы поглядите на этот экземпляр.

Р у н о в с к и й (*оборачивает, читает*). «Тягчайшее преступление Романовых перед народом...»

Ч и ч а г о в. Читайте, читайте, что по рукам-то ходит.

Р у н о в с к и й. «Шамиль уничтожил дворянство да помещичью власть, освободил крестьян и учредил свободную республику?! Не по вкусу пришелся сей пример достойной жизни нашим кровопийцам, и посланы были наши же братья-солдатушки, дабы задушить вольный народ и разорить край... Лучшие люди российские и теперь ссылаются на кавказское братоубийство. Видят горцы, что солдаты посланы не им в помощь, а чтобы прежних угнетателей опять народу на шею посадить, так и поднялись единым духом на справедливую войну. Многие и наши перебежали к Шамилю и жили у него вольной жизнью, наделенные землей и при своей вере. И всякий, кто был там, на то же укажет. Пора бы и нам, ребяташки, сбросить с себя паучье племя дворянское, произвол помещичий, да вольными людьми стать. И пример тому — вот он перед вами — вождь народный, защитник крестьянский — Шамиль. Поднимается Русь во гневе праведном. Поднимайся и ты, коли звание человека с гордостью хочешь

носить. Не будет богатых, не будет бедных, но будут братья, будут люди!»

Ч и ч а г о в. Каково? Бунты кругом. Усадьбы горят, солдаты в бунтовщиков постреливают, а тут Шамиль со своей дикой демократией на нашу голову.

Р у н о в с к и й. Газетчик признался?

Ч и ч а г о в. Велю, так признается. Да дело-то здесь не по его уму. Кто-то мутит народ? А? Может, и Шамиль тут руку приложил?

Р у н о в с к и й. Осмелюсь доложить, Шамиль тут ни при чем.

Ч и ч а г о в. Как это? Разве не он ханские фамилии под корень извел, а мужика с дворянином вровень поставил?

Р у н о в с к и й. Я только имел в виду сие возмутительное воззвание...

Ч и ч а г о в. Отчего бы и не он?

Р у н о в с к и й. Хотя бы по той простой причине, Ваше Высокопревосходительство, что изображение человека преследуется в их вере наравне с самыми тяжкими грехами и подлежит немедленному уничтожению. Сверх того, воззвание сие есть плод изощренного ума, тогда как за всю войну с нами Шамиль не употребил ни разу военной хитрости, не устроил ни одной засады. Все подобное он ненавидит от всей души и считает величайшей гнусностью и делом недобросовестным, на которое и сам он никогда не покушался, и подчиненным запрещал из опасения навлечь на себя насмешки неприятеля и неуважение соотечественников.

Ч и ч а г о в. Больно уж прямодушен... Нет ли тут какой тонкости? Нюанса этакого? Плен, хотя и почетный, однако, не может не изменить строй мыслей...

Р у н о в с к и й. Если Шамиль окажется не таков, каким я его представляю, то поступайте со мной, как знаете.

Ч и ч а г о в. Ну уж, ну уж... А ведь ловко, бестии, выдумали. Гольдберг плачет — мол, продал всего три сотни, на остальные, говорит, денег не хватило. Так у кого-то же хватило? Каковы мерзавцы! Так что имейте в виду и на сей счет, любезный... (*Берет Руновского под руку.*) Считаю, однако же, необходимым напомнить вам о главной цели в отношении Шамиля. Военная победа на Кавказе не может удовлетворить нас, пока не будет достигнута победа политическая. Вы меня понимаете?

Р у н о в с к и й. Не могу утверждать, Ваше Высокопревосходительство, что Шамиль готов принять присягу на верность Государю Императору, но взгляды его на российскую действительность и политические коллизии заметно поколебались.

Ч и ч а г о в. Превосходно! Разумеется, диким горцам, приглашаемым в кабалу к местным князькам, нет дела до нашей европейской политики. Но нас это смущать не должно. И вы, я полагаю, найдете средства сладить с этим кавказским Пугачевым.

В доме Шамиля тихо. За окнами смеркается. Опасливо озираясь, появляется К р ю к о в с четвертью вина, завернутой в тряпку. Он подходит к двери в комнату Кази-Магомеда и негромко стучит. Дверь тут же отворяется, пропуская в комнату полицейского. Вдруг где-то наверху слышится шум, брань, и по лестнице скатывается плачущая Н а с т я. В нее летят поднос, туфли, лампа. Следом сбегает по лестнице разгневанная К е р и м е т, преследуя перепутанную Настю, которая мечется по дому, стараясь увернуться от хозяйки.

К е р и м е т. Дрянь! Змея! Я вырву твой поганый язык! Выколю бесстыжие глаза!

Н а с т я (*воет*). Пощадите, барыня! Не по своей воле! А-а-а! Помогите!

Вбегает Ш у а й н а т. Она становится между женщинами и защищает Настю, у которой уже нет сил, и она только горько плачет, лежа на полу.

Ш у а й н а т. Остановись, сестра!

К е р и м е т. Прочь, это мое дело!

Ш у а й н а т. Ради Аллаха, чем Настя тебя разгневала?

К е р и м е т. Чем?! Эта тварь соблазнила моего мужа! А теперь жалуется, что ни один поп не хочет крестить ее дочь!

Ш у а й н а т. Чем же виновата эта бедняжка? Разве ты не знаешь Кази-Магомеда?

К е р и м е т. А, так ты ее защищаешь?! Ты всегда была неверной, ей и осталась! Пусти меня! У меня отняли родину, теперь хотят отнять и мужа!

Кази-Магомед на мгновение выглядывает из комнаты, но, оценив обстановку, тут же закрывает дверь.

Н а с т я. Только бы малютку окрестить! Ваша милость...

К е р и м е т. Продажная тварь!

Ш у а й н а т. Успокойся, сестра.

К е р и м е т. Прочь! Отец хотел меня убить, но не отдавать в дом Шамиля! Теперь я вижу, что он был прав! А ты предала свою веру и вышла за старика! Ты хотела быть правительницей в горах! Это ты сеешь зло в этом доме. Ты не даешь Шамилю одуматься и покориться царю! Ты сама была пленницей, а теперь превратила в пленников нас всех!

Ш у а й н а т. Одумайся, Керимет. Какой бы ни была наша доля, мы должны разделить ее с мужьями, как мы делили с ними горе войны!

К е р и м е т. Ненавижу тебя! Этот город! Всех! (Плачет.)

Н а с т я (крестится). Грешна, господи. Но малютка-то! Как же ей без крещения?

Сверху спускается Ш а м и л ь и останавливается на пролете лестницы. Появляется К а з и-М а г о м е д с папироской в зубах. Из-за входной двери выглядывает Н и к и ш к а.

К а з и-М а г о м е д. Дочь предателя! *(Выплевывает окурок и надвигается на Керимет.)* И ты смеешь поднимать в этом доме свой голос?

К е р и м е т. Женой ты смог меня сделать, но рабой твоей я не была и не буду! Ты способен лишь на то, чтобы обрюхатить служанок!

Настя в ужасе отодвигается.

К а з и-М а г о м е д *(вынимая шашку)*. Что-о-о?

К е р и м е т. Она пришла, чтобы ты дал имя своей дочери!

К а з и-М а г о м е д. Эта клевета тебе дорого обойдется, девка.

К е р и м е т. Убей ее, ну, что же ты?! Сын имама! Вождь гордых горцев!

Кази-Магомед медлит в растерянности.

Или убей меня! Свою жену, которая ненавидит мужа и всю его семью.

Ш а м и л ь. Во имя Аллаха милостивого и милосердного!

Все оглядываются на Шамиля.

К а з и-М а г о м е д *(растерянно)*. Хвала ему — господу миров, царю в день суда.

Ш а м и л ь. Я молился о вашем благе. *(Печально смотрит на свою семью.)*

Тем временем Никишка уводит задыхающуюся в плаче Настю. Все молча расходятся. Входит Р у н о в - с к и й. Опасливо, держа под козырек, приближается К р ю к о в. Он заметно пьян.

Р у н о в с к и й. Что же ты, голубчик?..

К р ю к о в. Не могу знать, вашвысбродь! Азиаты-с! Буйствуют, басурманы!

Р у н о в с к и й. Пьян? Службы не знаешь?

Крюков. Никак нет, вашвысбродь! Службу исполняю, не щадя живота своего...

Руновский. А шашка твоя где же?

Крюков. Не могу знать... *(Испуганно хватается за бока и обнаруживает, что на боку болтаются пустые ножны.)* Мать честная! Козни дьявольские!

Руновский. Сгною, скотина!

Крюков бухается на колени и ползает по полу, разыскивая пропавшую шашку. Добирается до двери Казы-Магомеда, осторожно приоткрывает ее.

Крюков *(жалобно)*. Господа хорошие, шашечку пожалуйста...

В ответ летит пустая бутылка.

Руновский. Вон отсюда!

Крюков с трудом поднимается на ноги и, грозя кому-то кулаком, убегает. Руновский с грустью смотрит вокруг, затем медленно проходит через гостиную, поддевая сапогом то пустую бутылку, то лампу, то еще что-то...

Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!..

Ужель пещеры и скалы
Под дикой пеленою мглы
Услышат также крик страстей,
Звон славы, злата и цепей?

Нет! Прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество свое;
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для нее.

Шамиль медленно спускается по лестнице.

Шамиль. Чья это песня, Аполлон?

Руновский. Михаила Лермонтова. Он был поэт. Сослан на Кавказ.

Ш а м и л ь. Правда, я тоже наказывал за песни, почитая веселье грехом, когда кругом оплакивают павших. Но великие песни не знали страха и возносились над моим гневом, как птица над крепостью.

Р у н о в с к и й. Двадцати семи лет Лермонтов убит на дуэли.

Ш а м и л ь. Кто же его убил?

Р у н о в с к и й. Разве важно, кто нажал роковой курок, когда скорбный удел и гибель уготована у нас каждому, кто осмеливается поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром? Кто повешен, кто предательски убит, кто убиваем нищетой и голодом.

Ш а м и л ь. Подобное творили и наши ханы, чтобы отбить у остальных всякую охоту рассуждать и мыслить...

Р у н о в с к и й. А еще проще — на Кавказ, под пули.

Ш а м и л ь (*потрясен*). Неужели я воевал, чтобы избавить Дагестан и Россию от лучших людей?!

Р у н о в с к и й. Они и теперь там гибнут.

Шамиль кладет руку на плечо Руновскому. Затем в раздумье отходит к окну.

Ш а м и л ь. В войне нет счастья, Аполлон. Но еще меньше его в рабстве.

Никишка с обнаженной шашкой вырывается из рук уцепившейся за него Насти и бросается на Шамиля. Но прежде птицей метнулась к мужу Шуайнат. Руновский падает, принимая удар на себя. Никишка стоит, как вкопанный. Шуайнат в гневе бьет его по лицу. Шамиль склоняется над раненым в плечо Руновским. Вбегает Кази-Магомед, вынимая саблю, чтобы зарубить Никишку. Но поднимает руку Шамиль.

Ш а м и л ь. Остановись! Вспомни, как сам ты карал за прелюбодеяния! Лучше помоги Аполлону. Если бы такие были моими наибами, мы бы и теперь жили в своих домах.

Н и к и ш к а (*в отчаянии, бросая пашку*). Дьявол! Ничего его не берет.

Руновского укладывают на диван. Вваливается К р ю к о в.

К р ю к о в (*Руновскому*). Прикажете солдат, ваш-высбродь? Мы их...

Р у н о в с к и й. Врача, скотина! И цыц у меня!

Крюков обнаруживает свою пашку, затем хватается Никишку за ворот и тащит вон. Шуайнат стаскивает с Руновского мундир, снимает платок и перевязывает рану.

К а з и-М а г о м е д. Она обнажила голову!

Ш у а й н а т. Довольно я видела голов, не стойвших своих папах, но никогда, чтобы русский защищал горца среди горцев.

Р у н о в с к и й (*садится*). Благодарю вас, мадам. Не беспокойтесь, рана пустяковая.

Ш а м и л ь. Отведите его в молельню. Пусть принесут наши снадобья.

Кази-Магомед подставляет Руновскому свое плечо и уводит. Шуайнат берет мундир и идет следом. Кази-Магомед возвращается.

Ш а м и л ь. Принеси нашу казну.

К а з и-М а г о м е д. Казну? Ты никогда не спрашивал о ней...

Ш а м и л ь. Даже идущим на смерть я не повторял сказанное.

К а з и-М а г о м е д. Отец... У нас нет денег...

Ш а м и л ь. Как же мы живем?

К а з и-М а г о м е д. Вчера все вышли. В городе ходят слухи о твоей щедрости, и у дома каждое утро собирается больше нищих, чем у церкви. Кроме того, женщины всегда что-то покупают. Скоро срок, тебе пришлют еще пятнадцать тысяч. И я расплачусь со всеми...

Ш а м и л ь. Разве мы должны?

К а з и-М а г о м е д. Немного. Портному, садовнику и конюху...

Ш а м и л ь. Тем, кто обкрадывает тебя в домах греха и разврата! Подай часы.

К а з и-М а г о м е д (*гостает золотые часы*). Подарок императрицы.

Ш а м и л ь (*гостает и свои часы*). Прибавь к ним свои серебряные газыри. Если этого не хватит, напиши родственникам, чтобы продали твой дом в ауле. Но пусть у младенца, которого родила Настя, будет достойная жизнь. Дашь имя ей Саламат — мирная.

К а з и-М а г о м е д. Но, отец...

Ш а м и л ь (*поднимает руку*). В преданность твою верю, как в милость Божью. Поклянись, что исполнишь мою волю.

К а з и-М а г о м е д (*опустив голову*). Клянусь именем Пророка, Преславным Кораном, землей отца своего...

Ш а м и л ь. Аминь. Да поможет тебе Всевышний. Иди.

К а з и-М а г о м е д, вынимая газыри из черкески, понуро бредет прочь. Шамиль медленно, с трудом поднимается по лестнице.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

З а невысоким столом с едой, чайником и чашками К а з и-М а г о м е д и К р ю к о в играют в карты.

К а з и-М а г о м е д. А что, Семен, давно ли служишь?

К р ю к о в. Давненько... Эх-хе-хех!.. Служба! Одно недоразумение. Стоишь, что чурбан, у начальства на виду...

К а з и-М а г о м е д. На Кавказе был?

Крюков. Господь миловал. Да и на что он мне, ваш Кавказ? Он токмо для генералов да штабных чинов хорош, да интендантов там разных.

Кази-Магомед. Чем же хорош?

Крюков. Известно чем! Где ж им еще столько славы добыть? Отличий и орденов без счету? Опять же, чем дольше кампания, тем поставщикам сытнее. Небось, на мирном деле столько же не наживешь.

Кази-Магомед. Значит, выгода кругом? Так она сама не дается. Солдатской кровью оплачена.

Крюков. Уж это как Бог свят. Только ведь целковые считать куда приятнее, чем солдатскую скотинку подневольную. А иному легче и на Кавказе, чем на вахт-парадах ружейные приемы фокусно отбрасывать.

Кази-Магомед. Не все знаешь, Семен. Солдаты, которые поумень, тоже с нас выгоду имели.

Крюков. Да какая ж с голых утесов выгода?

Кази-Магомед. Перебежали к нам часто. А когда возвращались, говорили, что из плена ушли, за что и получали вольную да награду.

Крюков. Ишь, бестии!

Кази-Магомед. Только не все возвращались. Больше — оставались, женились, хозяйство заводили. Эх, Семен, не догадался ты к нам перебежать. я бы тебе красивую бабу нашел! Был бы джигит!

Крюков. Кхе-кхе... *(Поглаживает усы.)* Красивую бабу... Оно, конечно, ничего, только больно уж высоко, к тому свету близко...

Кази-Магомед победно бьет козыри Крюкова. Крюков растерянно смотрит на оставшиеся у него карты.

Кази-Магомед. Видишь, Семен, какой я хороший ученик?

Крюков. Откуда ж дама-то у вас козырная? Я полагал, вы ее в начале сбросили...

К а з и-М а г о м е д. Насчет дам у меня никогда недостатка не было. Ну, служба, давай! *(Наполняет чашку Крюкова.)*

Крюков встает и, быстро перекрестившись, пьет. По нему видно, что в чайнике отнюдь не чай. Затем снимает фуражку и, набравшись духу, произносит непонятные слова.

К р ю к о в. Бисмала, арахман, ирахим, Ваше Высокоблагородие.

К а з и-М а г о м е д. А дальше?

К р ю к о в. Ирахим... Забыл, мать честная... Язык сломаешь...

К а з и-М а г о м е д *(смеется)*. Тогда пляши! *(Принимается отбивать на столе ритм лезгинки.)*

А Крюков делает несколько неуклюжих движений, похожих, по его мнению, на горский танец. Входит Шамиль.

Ш а м и л ь. Джигит!

Крюков хватает фуражку и ретируется.

К а з и-М а г о м е д. Он почти готов к принятию нашей веры.

Ш а м и л ь. Хорошего сподвижника ты готовишь Всевышнему. Дурно исполняя свои обязанности, сторож лишит свою семью хлеба.

К а з и-М а г о м е д. Нас они лишили большего... Не устал ли ты с дороги, отец?

Ш а м и л ь. Слава всевышнему, добрались благополучно. Напрасно Керимет не поехала с нами. Здесь много такого, что могло б развеять ее печаль.

К а з и-М а г о м е д. Она больна.

Ш а м и л ь. Что говорит лекарь?

К а з и-М а г о м е д. Она не верит здешним лекарям.

Ш а м и л ь. Все наши недуги от того, что дом наш не здесь...

К а з и-М а г о м е д. Тихо ли в городе?

Ш а м и л ь. Не тихо, не шумно... Но скоро все изменится.

К а з и-М а г о м е д. Что здесь может измениться?

Ш а м и л ь. Изменилась Россия. Александр освободил крестьян! *(Протягивает сыну газету.)* Шуайнат сказала, что здесь об этом написано.

К а з и-М а г о м е д *(разворачивает газету)*. Я скорее поверю, что Александр отречся от престола.

Ш а м и л ь *(взволнованно)*. Читай, читай скорее.

К а з и-М а г о м е д *(читает)*. «Высочайшее утвержденная Его Императорским Величеством положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости...

Ш а м и л ь. Удивительно! Александр не так силен, как казался... Народ заставил его решиться... Помнишь, в Санкт-Петербурге, он с вниманием слушал о том, как мы освободили горских крестьян.

К а з и-М а г о м е д. Думаю, царь плохо понял тебя, отец.

Ш а м и л ь. Разве он не совершил благое дело?!

К а з и-М а г о м е д. Александр не тронул помещиков, оставил им лучшие земли, а за худшие крестьяне еще должны заплатить выкуп.

Ш а м и л ь *(не веря)*. Выкуп? Видно, ты плохо усвоил русскую грамоту. Ты не так прочел, Кази-Магомед, Свобода крестьянина всегда измерялась величиной его земли. Да и откуда у крестьян деньги? По пути сюда мы видели деревни беднее наших аулов.

К а з и-М а г о м е д *(читает)*. «Помещики, сохраняя права собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют за установленные повинности в пользование крестьян усадебную их оседлость... И не

обязаны впредь ни в коем случае наделять их каким бы то ни было сверх того количеством земли... Помещику предоставляется вотчинная полиция и право надзора за охранением общественного порядка».

Ш а м и л ь (*мрачней*). Назови крестьянина утром хотя бы султаном турецким, к вечеру он все равно захочет есть...

К а з и-М а г о м е д. Чему удивляться, когда Александр сам называет себя самым большим помещиком?

Ш а м и л ь. Нет, ты не все понял, сын! Как бы там не было написано, сардар решился на великий шаг! Нет худшего позора, чем рабство! И если безгласный раб назван свободным гражданином, Россия не останется прежней! Да пошлет Всевышний здоровья и благополучия сардару Александру!

На авансцене появляется **К р ю к о в**. Оточив ошашку карандаш, садится писать донос.

К р ю к о в. Не щадя живота своего, Ваше Высочайшее превосходительство, сподобился доверия сына Шамиля Казии-Магомы. Дабы в намерении тайные проникнуть, подвергся внушению одного в рассуждении веры басурманской, коей суть излагаю. Нет, де, Бога, акромья Аллаха, а Магомет его агент. Буде явится к нам, о том доложу непременно. А коли нагробит басурман чего, так сороковую долю — попу своему, али соседям, дабы не выдали и Бог простил. Опять же назначено им, коли на то будет возможность, явиться в святые места, что в городе Мекке, в пределах Аравийских, где гроб чудесный в воздухе витает, да источник священный «Земзем», воды коего, прости, Господи, проистекают-де, из райских кущей. Сверх того надлежит поститься, яко и мы постимся, в году месяц. А Шамиль, примечаю, сверх того на неделе по три дня постится, а в иные дни главная пища его — молоко да кукурузные лепешки. Полагаю, по недостатку средств, ибо милостыню раздаёт бесчисленно. Пяти раз на дню указано магометанам молиться, в чем семейство выказывает усердие необычайное.

Сцена погружается во тьму. В свете лампы появляется Ш а м и л ь. Позади него К а з и-М а г о м е д. Загораются свечи — их зажгла Ш у а й н а т. И теперь мы видим Д ж а м а л у т д и н а, который продолжает писать свой свиток. Рядом с ним стоит М а г о м е д-Ш а п и, теперь он в мундире полковника.

Шамиль устало проводит руками по бороде и делает знак сыновьям приступить к молитве.

Ш а м и л ь. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного...

Д ж а м а л у т д и н (*читает свиток*). «...Я, подписавший внизу бумаги имя свое, клянусь Государю всемогущему...»

Ш а м и л ь. Сын мой, Джамалутдин. Если дорога тебе твоя родина, если помнишь ты, что я — отец твой и они — твои братья, скажи, о чем были твои самые сокровенные молитвы?

Д ж а м а л у т д и н (*сворачивает свиток*). Я молился о том дне, когда народы наши посмотрят в глаза друг другу без ненависти, но с любовью. Когда вражда сменится рукопожатием. Когда перестанет напрасно литься братская кровь, и мы вместе встретим зарю свободы.

Ш а м и л ь. Разве мы боролись не за свободу? Разве помыслы наши были черны? Зачем же мы увидели огонь и меч?

К а з и-М а г о м е д. Но и мы подавляли аулы, не разделявшие наших устремлений. Так и царь не стал терпеть очаг вольности в крепостной России. Слишком притягателен был наш пример для рабов.

М а г о м е д-Ш а п и. Разве польские революционеры не пришли помочь нам? Разве беглые русские солдаты не строили для нас пороховые заводы и не отливали пушки? Мы видели сочувствие и от ссыльных декабристов.

Д ж а м а л у т д и н. А солдаты, возвращающиеся с Кавказа, приносили с собой легенды о том, как сильны

люди, защищающие свободу и человеческое достоинство.

Ш а м и л ь. О, Всевышний! Наставь раба своего, как разделить неразделимое? Как спасти народ твой? И есть ли для него спасение, если даже дети мои молятся в разные стороны?

Д ж а м а л у т д и н. Я вижу, как трудно тебе, любимый мой отец. Ты начал борьбу ради счастья своего народа, но продолжение ее несет гибель. Нельзя победить зло в одиночку.

Ш а м и л ь. Несчастный сын мой... Увидев тебя после долгой разлуки, я восславил судьбу. Слыша речи твои, я забываю, что ты — плоть от плоти моей.

Д ж а м а л у т д и н. И потому ты отправил меня в дальний аул. В ссылку. Ты надеялся, что я болен и излечусь...

Ш а м и л ь. Вместо этого ты научил русскому языку своих братьев. Ты внушал им слабость. Убеждал покориться сардару Александру. Я знал это, но терпел...

Д ж а м а л у т д и н (*исчезая во тьме*). Я ушел от вас прежде, чем кончилось твое терпение.

Ш а м и л ь. Ты умер от тоски по России?

Д ж а м а л у т д и н. Оттого, что не сумел склонить тебя к миру.

В кинжальном луче света Шуайнат.

Ш у а й н а т. О жены чистые пророка,
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица.
А вы, о гости Магомеда,

Стекаясь к вечери его,
 Брегитесь суетами света
 Смутить пророка моего.
 В паренье дум благочестивых,
 Не любит он велеречивых
 И слов нескромных и пустых:
 Почтите пир его смиреньем,
 И целомудренным склоненьем
 Его невольниц молодых ¹.

Шуайнат поднимается и, взмахнув руками, как крыльями, начинает танец. Входят в круг Кази-Магомед и Магомед-Шапи. Под дробь барабанов и звуки зурны они сходятся в танце, который зовется в горах Шамилевской лезгинкой. В полумраке сверкает оружие горцев и вспыхивает белое платье Шуайнат. Затем сыновья уступают место отцу, почтительно становясь в стороне и негромко хлопая.

С улицы вдруг раздаются выстрелы и трели полицейских свистков, крики и цокот копыт, вопли.

Вспыхивает свет: на полу лежит израненный П р и -
 к а з ч и к, которого поддерживает Н и к и ш к а.

Н и к и ш к а. Господа хорошие... Ваше басурманство... Не погубите...

Ш а м и л ь. Кто этот несчастный?

Н и к и ш к а. Не погубите, господин Шамиль... В народ стреляют...

Входит Р у н о в с к и й. Громкий стук в дверь.

К р и к и. Отворить! Полиция!

Ш а м и л ь. Спрячьте его.

Кази-Магомед и Никишка уносят Приказчика. Шуайнат подбирает с пола сверток. Руновский открывает двери. Вваливается К р ю к о в.

Р у н о в с к и й. Как ты смеешь?

¹ А. С. Пушкин. Подражания корану, стих 11.

Крюков (*отдавая честь*). Так что велено изловить бунтовщиков, вашвысбродь! Так что дворник указал! (*Тише.*) По политическому.

Руновский. Тут все по политическому. Вон!

Крюков. Воля ваша. Однако записку по всей форме... Верой и правдой Царю и Отечеству.

Руновский. Убирайся!

Крюков (*отступая*). Дом окружить! В саду хронится, мерзавец!

Руновский закрывает за Крюковым дверь.

Шамиль. В тихой Калуге свои стреляют в своих? Что происходит, Аполлон?

Руновский. Народ почел себя обманутым. Ходят слухи, что попы и помещики подменили царский указ, даровавший волю и землю без выкупа. Повсеместно читают новую «золотую волю», якобы истинно царскую.

Шамиль. Если это верно, прольется много крови.

Руновский. Так уж повелось на Руси, что народ верит в доброго царя. Но царь все дальше, а Бог все выше.

Шуайнат (*погает сверток*). Это уронил раненый.

Шамиль берет сверток, разглядывает его и отдает Руновскому.

Руновский (*читает*). «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон...»

Шамиль. Из-за этих бумаг люди готовы расстаться с жизнью?

Руновский (*читает*). «А как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми стать? Можно и это обработать; и не то, чтобы очень трудно было: надо только единодушие между собой иметь...» (*Смотрит другие прокламации*). Великорус. К молодому поколению... К солдатам... Молодая Россия...

Ш а м и л ь. Что это за списки, Аполлон?

Р у н о в с к и й. Воззвания к борьбе против гнусной действительности. На Руси не стихают бунты и волнения. Поднялась Литва, Белоруссия... Пылают усадьбы. А царь шлет войска на вырубку помещикам.

Ш а м и л ь. Как слал их и на помощь нашим властителям. Я перестаю понимать мир, Аполлон. Там, в горах, луна казалась мне ближе, чем Россия. Здесь, в Калуге, мне начинает казаться, что нет под луной более близких народов, чем наши.

Р у н о в с к и й. Правители придерживаются другого закона: разделяй и властвуй.

Ш а м и л ь. Кто сумеет разделить реки, слившиеся в единый поток?

Р у н о в с к и й. Однако прежде должно отыскаться верное русло.

Ш а м и л ь. Каждый ищет его по своему разумению. Но если народ ваш ропщет, значит, царь уже не хозяин в своем доме. Нужен новый царь.

Р у н о в с к и й. Или новый дом. Слишком долго мы верили, что спасение в новом справедливом царе.

Ш а м и л ь. И ты знаешь, как построить новый дом, чтобы не было в нем печали?

Р у н о в с к и й. Его построит народ. И архитекторами станут лучшие люди России.

Ш а м и л ь *(в сомнении поглаживает бороду)*. Я видел тысячу человек, строивших дом, который может разрушить один; но что может построить один человек, когда позади его тысячи разрушителей?

Р у н о в с к и й. Нас много, Шамиль. И с каждым днем становится больше.

Вбегает К а з и-М а г о м е д.

К а з и-М а г о м е д. Двери нашего дома широко открыты несчастьям!..

Ш а м и л ь. Этот человек умер?

К а з и-М а г о м е д. Керимет... Она ушла от нас...

Ш у а й н а т. Бедная сестра! (*Уходит.*)

К а з и-М а г о м е д. Лекарь говорит, что виноват здешний климат...

Ш а м и л ь (*проводит руками по бороде*). Керимет... Аллах да примет ее душу... У нее не было другого пути на родину, которую она любила не меньше, чем мы.

Р у н о в с к и й. Приношу свои искренние соболезнования. (*Крестится.*)

К а з и-М а г о м е д (*подавленно*). Я должен похоронить ее на родине. Что, Аполлон, разрешат мне ехать?

Р у н о в с к и й. Следует подать официальное прошение. Но вряд ли кто-нибудь станет препятствовать исполнению вашей печальной обязанности.

Ш а м и л ь. Составь бумагу, друг Аполлон.

Р у н о в с к и й. Будет исполнено. Еще раз примите мои сожаления. (*Уходит.*)

Ш а м и л ь. Сын мой, Кази-Магомед. (*Обнимает его за плечи.*) Мы взяли Керимет вопреки ее желанию. Эта вольная птица не смогла полюбить нас.

К а з и-М а г о м е д (*сдерживая слезы*). Но я любил ее больше жизни.

Пауза.

Кази-Магомед отходит к окну, стараясь не глядеть на отца.

Ш а м и л ь. Ты твердо решил ехать?

К а з и-М а г о м е д. Я не покину ее, пока земля не разлучит нас.

Ш а м и л ь. Что ж... Поезжай... (*Пауза.*) Дом мой и к нему принадлежашее отдаю сиротам. И половину из того — тому, кто пожелает их поддерживать. Если

отыщутся книги мои — пусть вернут хозяину. А кто увидит в них важность — пусть назначит цену.

К а з и-М а г о м е д (*беря себя в руки*). Это разорит тебя окончательно.

Ш а м и л ь. Знающие им истинную цену продавать не станут.

К а з и-М а г о м е д. Отец... Я должен сказать тебе... На днях я встретил в цирке мюрида Ата-бая, бывшего в Калугу под видом индийского борца...

Ш а м и л ь. Ата-бая? Разве я не видел, как его сразила пуля?

К а з и-М а г о м е д. Он выжил. Бежал из плена в горы. И теперь прибыл к нам на помощь. До него дошли слухи, что ты подвергаешься на чужбине всевозможным истязаниям и лишениям.

Ш а м и л ь. Следовало сказать ему, что живу в Калуге гораздо спокойнее, чем в горах.

К а з и-М а г о м е д. Он видел это и призвал меня, как твоего законного преемника для новой борьбы.

Ш а м и л ь. Такой уж он человек, что не успокоится, пока голова его не слетит с плеч. (*Тяжело вздыхает.*) Но не слушай тех, чьей матерью была война, а отцом — кинжал. Порой они опаснее своим, чем неприятелю. (*Подходит к сыну.*) О Дагестане я имею верные сведения. И ты убедишься в их верности, когда придешь на место. Шуайнат знает Россию и нашла возможность наладить тайную переписку. Так вот, сын мой, русские в Дагестане удовлетворились признанием своей власти, и горцы находят ее сносной. Русские завели больницы и школы, открыли торговлю и поощряют ремесла. Они ограничили власть богатых, хотя и вернули им часть из нами отнятого. И это лучше, чем смутное безначалие, к которому горцы имеют большую склонность. А утешительнее всего то, что русские оказались более терпимы к нашей вере, чем мы того опасались. И если будет на то воля Всевышнего, во вчерашних соперниках обнаружатся добрые намерения. Прибавь к этому, что ты увидел в России, а также

то, к чему может привести кругом происходящее, и ты поймешь, что мои слова — это не слова трусости.

К а з и-М а г о м е д. Я слушаю тебя, отец.

Ш а м и л ь. Повелеваю тебе, сын мой, передай тем, кто думает обо мне, пусть подумают о себе и сделают то, от чего бывает спокойствие, а не бывает нужды и лишений.

К а з и-М а г о м е д (*с отчаянной дерзостью*). И это говоришь ты, чья воля вихрем врывается в наши души, очищая их от боязни и осторожности?! Кто отнял у нас земную слабость и дал взамен свет высокой веры? Давно ли в саклях, где бились вольные сердца, поселились совы и летучие мыши? Давно ли было то время, когда никто не смел поднимать глаза на наши аулы? Не скажут ли в горах: мы верили ему, и он оставил нас? Мы надеялись на него, и он развеял наши надежды, как холодный ветер сухую листву? Разве поверят они, что ты предлагаешь нам смирение? Ты — наша святая вера!

Ш а м и л ь (*сурово*). Я сам закон своей веры и могу. Умные — поймут, а лишённые разума пусть уповают на милость Божью.

К а з и-М а г о м е д. В горах помнят другого Шамиля. Того, что не уставал повторять: «Любите свободу, как мать родную, и жизнь ваша будет вечно прекрасной! Пусть золото и богатство вас не манят. Боритесь за свободу, защищайте ее. Без нее для вас, бедных горцев, нет жизни!»

Ш а м и л ь (*задыхаясь*). Любая свобода оборачивается рабством, если сердца не очищены любовью и праведными намерениями. Народ знал, когда ставил меня над собой. Знает он и теперь.

К а з и-М а г о м е д. Я передам твою волю, имам. Но два кинжала не вложить в одни ножны.

Ш а м и л ь (*опускаясь в кресло*). Храбрым — привет мой, трусам — презрение. В спутники даю тебе мир.

Приемная генерал-губернатора. Ч и ч а г о в мечется по кабинету, часто прикладывая к лицу платок. Перед ним навтыяжку стоит А д ъ ю т а н т.

Ч и ч а г о в. Я им покажу, как у меня бунтовать! Миндальничать с либералами? Увольте! Этого, который камнем, доставили?

А д ъ ю т а н т. Убит, Ваше Высокопревосходительство.

Ч и ч а г о в. Кто таков?

А д ъ ю т а н т. Губернской гимназии учитель словесности Николай Протасов, Ваше Высокопревосходительство! Обыск на квартире обнаружил его связи с тайными обществами, кои предполагают от крестьянской общины перейти к социализму.

Ч и ч а г о в. Дожили! Налиберальничались! Сей реформатор из дворян?

А д ъ ю т а н т. Никак нет, из помещиков.

Ч и ч а г о в. Зачинщиков взяли?

А д ъ ю т а н т. Осмелюсь доложить, среди прочих застрелен и наш осведомитель. Из взятых предводитель пока не выявлен...

Ч и ч а г о в. А вы, сударь, выявите! Выявите сукиного сына! Следствие учинить по всей строгости! Заговор! Это все Шамиль-мошенник! Вольность проповедует, шельма! А со смутьянами впредь поступать сообразно: усмирять или истреблять! И чтобы у меня ни-ни! Извольте навести порядок в губернии! Пуль не жалеть! Царь наградит — Господь помилует. И газетенку нашу, ежели заикнется, пресечь! И зачинщиков мне, предводителей! И хорошо бы живыми. Ступайте!

Адъютант берет под козырек и уходит. Входит Р у н о в с к и й.

Р у н о в с к и й (отдавая честь). Честь имею доложить...

Ч и ч а г о в. Оставьте, оставьте! (*Демонстрирует разбитую губу.*) Извольте лицезреть знак покорности и довольства нашего благодарного населения.

Р у н о в с к и й. Весьма сожалею, Ваше Высокопревосходительство.

Ч и ч а г о в. Утешили! Благодарствую! (*Взрываясь.*) Вот, оно, как крепостным волю-то давать! Нашему мужику — кнут слаще Марсельезы! В самого генерал-губернатора камнем! Вешать мерзавцев, чтобы не сбивали народ! В кандалы! В каторгу негодяев! На Кавказ! (*Ходит по кабинету.*) А все наши умники в столице. Европы захотелось с ее революциями?! И вы туда же?

Р у н о в с к и й. Позвольте...

Ч и ч а г о в. Не позволю! Напозволялись, господа, наплодили смутьянов! Я им слова разные: «Братцы, — говорю, — ребятки несмышленные, на злое дело вас подбивают». Хотел по-доброму, по старинке... А они — за камни! Архирей-то наш!.. Нет бы именем Христовым народ образумить, так нет, отбыл в Оптину пустынь, в монастырь, так носу и не кажет. Извещает, де, молится во избавление и во вразумление. А в меня, его молитвами, камнем!

Р у н о в с к и й. Весьма сожалею...

Ч и ч а г о в. Да, так вот, милостивый государь. Укрывать? Политических преступников? При вашем-то чине?

Р у н о в с к и й. Ежели вы имеете в виду Шамиля...

Ч и ч а г о в. Кого же еще мне иметь в виду, когда докладывают мне, что бунтовщик в его доме укрылся?

Р у н о в с к и й. Не могу знать, Ваше Высокопревосходительство. Клевета.

Ч и ч а г о в. Искали, батенька, искали. Да не нашли. А видели, как через забор-то в сад сиганул. Видели!

Р у н о в с к и й. Верно, через другой забор и ушел. В тот день, как вам известно, скончалась невестка Ша-

миля Керимет. И, сообразно обычаем, все семейство находилось подле нее.

Ч и ч а г о в. Обычаем, говорите? Обычай у них один — как бы нам навредить, да туркам угодить.

Р у н о в с к и й. Осмелюсь доложить, Ваше Высокопревосходительство, если бы Шамиль желал предаться туркам, он мог бы это легко сделать, выйдя к ним в Крымскую кампанию и тем отрезав от России Кавказ.

Ч и ч а г о в. Ну и напрасно, что не вышел.

Р у н о в с к и й. Но ведь тогда нас бы ожидали последствия катастрофические.

Ч и ч а г о в. На все воля Божья. Только от теперешнего попечительства над Шамилем тоже прок не велик. Своих забот полон рот. *(Открывает папку.)* Да-с... Скверно, скверно, милостивый государь. В доме подопечного вашего беспорядки. К присяге Шамиля так и не склонили, а посему племена горские не сложили окончательно оружия, и волнения производят недопустимые. А также высказывания Ваши некоторые, несообразные, мягко говоря, Вашему назначению... Замечены были среди неблагонадежных... С помилованными декабристами встречаетесь. Почитываете там разное... «Письмо Гоголю», к примеру. Или господин Герцена... «Колокол» да «Полярную звезду»... По всем статьям выходит Вам Сибирь, драгоценнейший. Но я человек добрый и батюшку Вашего имел честь знать... Так что рекомендую представить рапорт с просьбой об откомандировании. На Кавказ. В действующую армию. Оно, конечно, тоже Сибирь, но теплее.

Р у н о в с к и й. Смею спросить, Ваше Высокопревосходительство. А как же Шамиль?

Ч и ч а г о в. Что ж, смутьян этот за столько лет не одумался... Упорствует. А денег из казны сколько на Кавказ течет? Казалось бы, все ущелья их можно бы с верхом засыпать... Так что приставим к пленному кого построже. Вдоволь науважались. Одних рапортов на него — воз ко двору представил.

Р у н о в с к и й. Разрешите идти?

Ч и ч а г о в. Погодите. Думаю, вы недостаточно осведомлены о связях Шамиля с Турцией и Англией. (*Открывает другую папку.*) Сведения конфиденциальные. Но считаю возможным... Так сказать, для полноты картины. Уже много лет в газетах Англии и даже Америки о Шамиле упоминается не иначе, как в самом выгодном для последнего свете. Вот, к примеру... (*Читает.*) «Настоящей войны, войны, в которой участвует сам народ, мы не видели в центре Европы в течение нескольких поколений. Мы видели ее на Кавказе, в Алжире, где борьба продолжалась почти непрерывно свыше двадцати лет». Каково? Или вот еще... Э-э... «Храбрые черкесы»... Вот!.. «Народы, учитесь у них, на что способны люди, желающие остаться свободными». И после этого — Шамиль не вражеский сателлит? Тут есть высказывания и более возмутительные.

Р у н о в с к и й. Позвольте узнать, кто же так внимательно наблюдает за нашими делами на Кавказе?

Ч и ч а г о в. Осведомлены мы и на сей счет, тем более что авторы открыто подписывают свои статьи. (*Читает.*) Э-э-э... Господин Карл Маркс, высланный из Пруссии за недозволенную политическую деятельность, и господин Фридрих Энгельс — англичанин.

Входит А д ъ ю т а н т.

А д ъ ю т а н т (*погает генешу*). Ваше Высокопревосходительство! Срочное, особой важности, из Санкт-Петербурга!

Ч и ч а г о в (*читает, испуганно крестится*). Господи, Царица небесная! На самого Государя Императора?! Злодейское покушение?!

Р у н о в с к и й. Убит?

Ч и ч а г о в. Что-о-о? Жив Государь, Слава Тебе Господи! Жив! (*Руновскому.*) Рапорт! И немедля!

Дом Шамиля. Ш а м и л ь полулежит на подушках, делая выписки из книг, которых здесь множество. Ш у а й н а т приносит поднос с чаем.

Ш а м и л ь. Ты вернулась?

Ш у а й н а т. Сегодня чудесный день, Шамиль. А ты даже не вышел в сад. Разве книги могут заменить жизнь?

Ш а м и л ь. В наших книгах сказано, что человеческий век определен богом в шестьдесят лет. Пророк Магомед жил шестьдесят лет. Мне тоже остается жить недолго, поэтому я должен теперь думать как можно больше о том, что со мной будет после смерти. В книгах написано об этом в полной подробности.

Ш у а й н а т (*высвобождает место для подноса*). Твои приготовления преждевременны, Шамиль. Ты не ел сегодня. Эти орехи и мед из Дагестана.

Ш а м и л ь. Разве кто-то приехал?

Ш у а й н а т. Люди из Дербента торгуют на здешнем рынке.

Ш а м и л ь. Почему же они не пришли ко мне?

Ш у а й н а т. Они не взяли с меня денег, Шамиль.

Ш а м и л ь (*с грустью*). Что ж, торговля лучше войны... Как идут их дела?

Ш у а й н а т. Они довольны. Сожалуют лишь, что не привезли больше.

Ш а м и л ь. Торгуя с русскими, твой брат тоже приобрел немалое состояние.

Ш у а й н а т. Армяне торгуют со всеми.

Ш а м и л ь (*показывает письмо*). Теперь он предлагает деньги и мне.

Ш у а й н а т. Разве у нас есть что продать?

Ш а м и л ь. Пятьдесят тысяч рублей серебром. Хорошая цена, Шуайнат.

Ш у а й н а т. Я мало смыслю в торговле. Но чего же он хочет?

Ш а м и л ь. Эти деньги он предлагает за тебя.

Ш у а й н а т (сдержанно). Он щедр.

Ш а м и л ь. Подумай, Шуайнат. Не лучше ли тебе оставить старца, которого оставили многие? Плененного и сосланного, и не видящего ничего впереди, кроме встречи со Всевышним?

Ш у а й н а т. Разве я не с тобой? Шамиль?

Ш а м и л ь. Когда я увидел тебя среди пленниц, я понял, что это небеса послали мне ангела в помощники.

Ш у а й н а т. Так ответь доброму брату моему, что даже если он предложит во сто крат больше, я не оставлю тебя и на день.

Входит Р у н о в с к и й. Шамиль с дружеской улыбкой поднимается ему навстречу.

Р у н о в с к и й. Добрый день, господа.

Ш а м и л ь. Мир тебе! Садись, Аполлон, раздели мою трапезу. Нам принесли горский мед. Когда я лежал, исколотый штыками, с разбитым плечом, лекарь залил раны медом, и я скоро поднялся на ноги. А тогда я полагал, что дни мои сочтены.

Р у н о в с к и й. В канцелярии губернатора получено известие, что сын твой Магомед-Шапи произведен в генерал-майоры за отличие в деле, которого результатом стало признание Кокандским ханством и Бухарским эмиратом зависимости своей от России.

Ш а м и л ь. Значит, Александр опередил англичан?

Р у н о в с к и й. Народ тамошний принял нас без вражды.

Ш а м и л ь. Изгнал ли сардар прежних правителей?

Р у н о в с к и й. Он удовлетворился их согласием принять нашу сторону.

Ш а м и л ь. Если народ не стал защищать своих ханов, значит, не видит в них проку. Судьба их решена.

Р у н о в с к и й. Во всяком случае, мы прекратили там междоусобицы и запретили торговать людьми.

Ш а м и л ь. Благое дело народ не забудет, Аполлон. А что до того человека, так он поправился и ушел в надежное место.

Р у н о в с к и й. Спасибо, Шамиль. Я знал, что ты не оставишь его.

Ш а м и л ь. Посмотри, какие замечательные книги прислал нам Кази-Магомед. Это лишь малая доля из утраченных мною, но большая из всего, чем я теперь обладаю. В них так много есть хорошего, что чем больше я их читаю, тем больше читать хочется.

Руновский рассеянно листает старую книгу, затем кладет ее на место.

Р у н о в с к и й. Я пришел проститься с тобой, Шамиль.

Ш а м и л ь. Ты уезжаешь?

Р у н о в с к и й. Я получил назначение в главный штаб Кавказской армии.

Ш а м и л ь *(встревоженно)*. Разве дурно ты исполнял свои обязанности?

Р у н о в с к и й. Я старался исполнять их по совести... Я бы мог подать в отставку, но у меня семья, которую нужно содержать.

Ш а м и л ь. Я напишу Александру, чтобы тебя оставили и прибавили жалования. Он мне не откажет, я знаю.

Р у н о в с к и й. Не затрудняй себя. Это дело решенное.

Ш а м и л ь. И ты покидаешь меня, когда стал другом?

Р у н о в с к и й. Даст Бог, свидимся.

Ш а м и л ь. Но на Кавказе все еще свистят пули, Аполлон!

Р у н о в с к и й. Они всегда свистят там, где недостает справедливости. *(Разворачивает платок и пода-*

ет Шамилю пулю — ту самую, которой поперхнулся прежде Чичагов.)

Ш а м и л ь (печально разглядывает горскую пулю).
Кусочек дерева, облитый свинцом...

Р у н о в с к и й. Не дашь ли каких-нибудь поручений к Даниэль-беку, тестю Кази-Магомеда? Он теперь близок к наместнику.

Ш а м и л ь. Поручений к бывшему наibu моему не даю. Но если бы можно было, я охотно протянул бы руку из Калуги на Кавказ, чтобы убить изменника. А наместнику передай: если хотите мира, прежде всего уничтожьте ханскую власть и дворянское звание, держите беков в таком же черном теле, в каком держал их я. За время моего правления дворяне наши к этому привыкли, и им не будет тяжело расставаться со своими правами навсегда. Если вы этого не сделаете, то увидите в Дагестане постоянные беспорядки и кровопролитие. Правительство же ваше будет иметь много хлопот и ни малейшей пользы. Поставьте над горцами честного человека, а если такового не окажется — то ребенка, глупца, самого порочного, но не выбирайте хана или бека. Это последнее вам мое слово.

Они тепло попрощались. Шамиль снимает с себя кинжал и вешает его на пояс Руновского. Руновский берет под козырек.

Р у н о в с к и й. Я не обнажу его против горца. Честь имею.

Ш а м и л ь. Иди с миром.

Руновский уходит. Шамиль устало садится на диван, разглядывает пулю. Вдруг роняет ее и падает на подушки. Появляется Н и к и ш к а с дровами. Видит лежащего Шамиля, вглядывается в его лицо и, бросив дрова, бежит к двери.

Н и к и ш к а (кричит). Господа! Барыня! Хозяину худо!

Сцена погружается во мрак. Когда он начинает неохотно рассеиваться, Шамиль уже сидит в красивом

кресле посреди гостиной. Входит Ш у а й н а т, она ставит подле Шамиля его знамена. Загораются свечи, и появляются сыновья Шамиля. Ма г о м е д-Ш а п и в генеральском мундире берет у Д ж а м а л у т д и н а свиток и протягивает его К а з и-М а г о м е д у. Тот складывает на груди руки и отворачивается. Джамалутдин берет свитоқ у брата и подходит к отцу.

Ш а м и л ь. Как далеко я был отсюда... Тело мое оставалось с вами, но крылья безмолвной молитвы подняли меня над страшной бездной, где великий дух витает над миром. Нет таких крыл, которые могли бы осилить бесконечность, но порывы сердца чудесными путями возносятся туда и свидетельствуют перед его престолом. Ибо нуждается в спасении народ, любящий его, и напрасно текут реки крови невинной. И горе тому из нас, кто в силах и бездействует. *(Оборачивается к Джамалутдину и протягивает к нему руку.)*

Джамалутдин вкладывает в руку отца свиток. Гостиную заливают яркий свет, и тут же дом начинает заполняться гостями. Уже суетится Г о л ь д б е р г, прикидывая, как бы повыгоднее установить свою треногу. Появляется в блеске орденов Ч и ч а г о в в сопровождении С у п р у г и и А д ь ю т а н т а. Следом входят и другие почетные гости, среди которых и К у п е ц с Д а м о й. Гости раскланиваются с Чичаговым, а затем, в нетерпении, расхаживают по гостиной, удивляясь приметам горского быта. Вспыхивает магний. Гольдберг спешит запечатлеть гостей.

Ч и ч а г о в *(Адьютанту)*. Избегать всего, что могло бы оскорбить чувства Шамиля в священный момент. К присяге привести с надлежащим почтением и торжественностью.

А д ь ю т а н т. Будет исполнено, Ваше Высокопревосходительство!

Губернатор делает знак. Гости становятся полукругом позади старца. Вновь вспыхивает магний.

Ч и ч а г о в. С Божьей помощью приступим.

Адьютант торжественно открывает папку и читает.

А д ъ ю т а н т. «Министерство военное, года тысяча восемьсот шестьдесят шестого, июля двадцатого. Благороднейшему превосходнейшему ученому, величайшему совершенному другу Шамилю — мир. Великий наш Император Александр Второй, в полной уверенности в том, что принятием тебя в число его подданных он найдет в тебе того, кто более других отличается назидательным примером и преданностью интересам царским и России, этой твоей новой родины, высочайше соизволил принять твою добровольную и великую присягу. Такая перемена — от сурового повелителя диких народов во вражде противу России — до ее подданного, без лицемерия верного — такая перемена возможна только в человеке, подобном тебе — великом, благородном и славном по своему существу! Военный министр Милютин».

Аплодисменты.

Ч и ч а г о в. Я приветствую тебя, о славный шейх, с завершением великого дела. Живи же подобной похвальной жизнью среди нас до конца. Хвали и прославляй щедрость и благородство ученых царей, среди которых твой и наш Великий Император Александр Второй.

Аплодисменты и вспышки магния.

Ш а м и л ь (*разворачивает свиток*). Я, подписавший внизу бумаги имя свое, клянусь Государю Всемогущему, в присутствии преславного Корана, произнося клятву — валлахи, билляхи, таллахи, — в том, что взял на себя и обязался служить верой и правдой Его Императорскому Величеству, моему августейшему Владыке и Повелителю, Всемилостивейшему Императору Самодержцу Государю всея Руси Александру Николаевичу... Дряхлый старец, нуждающийся в милости Божьей, Шамиль.

Присутствующие поздравляют друг друга, откупоривают шампанское. Шамиль отдает присягу Магомед-Шапи и принимается медленно сворачивать выцветшие полотнища своих знамен. Гольдберг преподносит Чичагову огромный снимок.

Г о л ь д б е р г. Не жалея ни трудов, ни ограниченных средств своих, видя в принятии Шамилем присяги

и нашего гражданства замечательное историческое событие, я поставил себе целью изобразить сие торжество посредством фотографии...

Ч и ч а г о в (*разглядывает снимок*). Превосходно, голубчик! Отменное свидетельство! Я преподнесу плод трудов Ваших Государю Императору. Будьте покойны, старания Ваши не останутся без вознаграждения. Это, вот, справа, я? Хе-хе, недурно.

Г о л ь д б е р г (*кланяясь*). Единственно из глубочайшего к Вам почтения...

Ч и ч а г о в. Сделайте-ка мне еще дюжину, милейший. И для истории, ну что ли, пару.

Г о л ь д б е р г. Всенепременно! (*Уходит, кланяясь.*) Всенепременно!

К у п е ц (*Ветерану*). А скажите, любезный, что, можно ли торговать с горцами?

В е т е р а н. Отчего же и не торговать? Это можно. И даже выгоду предвижу немалую, если по совести торговать станете.

Размахивая газетой, появляется С в я т о м у д р о в.

С в я т о м у д р о в. Господа! Господа! Последние петербургские газеты сообщили радостное известие о торжественном вступлении в подданство России всех дагестанских племен, находившихся еще под управлением одного из наибов Шамиля Магомед-Амина! Узнав об этом, Шамиль воскликнул: «Слава богу! Теперь кровь людей не будет больше литься. Спасибо Магомед-Амину!» Вслед за этим, обычные девять намазов Шамиль усилил еще одним — экстренным!

Шамиль забирает свои знамена и начинает медленно подниматься по лестнице.

Ч и ч а г о в (*Адъютанту*). Вот что, милейший. Дело сделано. Ждите награды. И с сего дня надзор усилить. Гостей не допускать. Все расходы по дому отнести за счет Шамиля. Казна-таки — не скатерть-самобранка.

А д ъ ю т а н т. Будет исполнено, Ваше Высокопревосходительство! Осмелюсь доложить, Шамиль подал прошение.

Ч и ч а г о в. Прощение? Чего же ему еще надобно?

А д ъ ю т а н т (*погает бумагу*). На имя Государя Императора.

Ч и ч а г о в (*читает*). Гхм, отпустить в Мекку? Что ж, отпустим на покаяние. Вместе со всей семейкой. Полагаю, государь отпустил бы его и домой, в горы. Да только ведь не поедет. Нечего ему теперь там делать. Не до него-с...

Начинается бал. Военный оркестр играет вальс. Но музыка бала неожиданно обрывается, уступая место другой, льющейся откуда-то издалека. Это — Шамилевская лезгинка, мелодия которой принимает все более грустный лад.

Публика провожает Шамиля молчанием. Свет гаснет, задерживаясь лишь на изогнутой лестнице. На авансцене, в мягком луче света появляется Ш у а й н а т, сменившая белое одеяние на траур черного. Подле нее стоят сыновья Шамиля, но постепенно их лица теряются в темноте.

Шамилю все трудней подниматься по лестнице, но он не оставляет свои знамена.

Ш у а й н а т. В этой жизни у моего мужа оставалось лишь одно незаконченное дело — паломничество в Мекку. Он надеялся, что обретет в святых местах успокоение и разрешение всех своих сомнений. Но чем дальше мы уходили от России, тем тяжелее становился для Шамиля путь. Муж мой покинул нас в Медине, когда до цели оставалось совсем немного... Это случилось во время молитвы, которую Шамиль, вопреки закону, свершил не в сторону Мекки, а оборотясь лицом на север, туда, где осталась наша родина. Сыновья Шамиля были некоторое время со мной, но затем пути их разошлись. Кази-Магомед принял предложение турецкого султана и пошел к нему на службу. Магомед-Шапи вернулся в Россию и дослужился до высоких чинов.

Говорят, они встретились на новой русско-турецкой войне. Но я в это не верю... Слухи сюда долетают искаженными. Да и вся история нашей семьи мне теперь кажется неправдоподобной, подернутой плывущим мазевом аравийских пустынь.

Шамиль с трудом преодолевает последние ступени своей лестницы. Мелодия лезгинки еще долго продолжает звучать в темноте.

1987 г.





НАШИ ПЕРЕВОДЫ

*КАМАЛ-АД-ДИН БИНАИ
(1453-1512)*

Не дозволяется мне, под запретом вино.
Что же тогда в этом городе разрешено?
Стоит взглянуть на муфтия, на вора кази,
чтобы отбросить сомнения все как одно.
Мысль об утерянном и обретенном оставь,
коль совершенство порока тебе суждено.
Искренний друг, источающий верности дух,
это вино, галии аромата полно.
Ныне же я — Искандар, ибо так же как он
с зеркалом вечно и чаши исследую дно.
Пью иногда не пьянея, ты это заметь,
ограничение стойкости в слуги дано.
Прячется тот, кто убийцей влюбленных прослыл,
гурию славить обычаем заведено.
Скупость и зависть — от них только печень болит,
плод незрелый — в глазах от него зелено.
Нет у Хали и Хафиза изъяна в словах,
тем было дело, а этим лишь слово дано.

* * *

Я устал, истомились свидетели стонов моих,
От меня дай свободу им, смерть, мне ж — свободу
от них!

Истекают слезами глаза, уж одежда влажна,
и пола, будто складка бутона, в крови воротник.
Как сиянью луны в мою келью пробиться, скажи?
Двери слезы замкнули, в раззан дым стенания

проник.

О, свеча ее лика! Что солнце пред ним, что луна!
Светлым днем к темной ночи кудрей ее я бы приник.
К праху улицы милой о ней вспоминая прильну.
О садах плодоносных забыв, презирая цветник.
Я сказал ей: «Убей!», а она — «Ты не стоишь того!»
О несчастный, ты смерти блаженной не вымолил миг.
Бинаи, если царство Хосрова услышит тебя,
значит ты похвалы благосклонной Хасана достиг.

* * *

Покину улицу твою, не обессудь, я пьян,
не знаю сам куда иду, но вот в чем суть — я пьян,
я кубком губ твоих пленен, и как кувшин свалюсь,
коль в руки не возьмут меня, не унесут — я пьян.
Когда с душою расстанюсь, жалеют все меня,
а я жалею о тебе, тоски сосуд, я пьян.
Сокровище твоей любви скрываю от людей,
в руинах прячусь, над собой свершая суд, я пьян.
Пусть на дороге мухтасиб в пыли меня найдет,
упал, а ноги вновь меня к тебе несут, я пьян.
Всю ночь без сна брожу вокруг, и лишь наступит день
порывом слабым ветерка повержен тут — я пьян.
Ее плечо, о Бинаи, тебя к ней повлекло,
ах, знал ли что спасенья нет от этих пут — я пьян!

* * *

Ночь настала, владелицу амбры кудрей вспомнил я,
а увидев свечу, жар румянца у ней вспомнил я.
У ручья закачался сгибаемый ветром самшит,
поступь плавную, стан, что самшита стройней

вспомнил я.

О драконе, хранителе клада, поэты рекли,
На ланиты упавшие косы черней — вспомнил я.

В цветнике раздавалась рассветная трель соловья,
 Сам рыдал у ворот ее как соловей, вспомнил я.
 Обратившись к михрабу лицом, бил поклоны, молясь.
 Но изгибы ее насурьмленных бровей вспомнил я.
 После пьяного сна пробужденный увидев нарцисс,
 томный взор надо мной колдовавших очей
вспомнил я.

Бинаи, я узрел на лугу гиацинт и нарцисс,
 Очи дивные, шелк индостанский кудрей
вспомнил я.

* * *

Приходи к нам на пир и отведай вина наконец.
 Пламенея лицом, ты жаркое творишь из сердец.
 На жасминах твоих расцветает тюльпан от питья,
 наполни кубок вином, ты творения дивный венец.
 Как тюльпан на лугу воссияй, выпрямляя свой стан.
 Посрамила цветы, в дрожь ввела кипарис, о Творец!
 Змей волос прогони от лица, мир подлунный разрушь,
 показавшись едва, ты явишь красоты образец.
 «К роднику я разлуки, — сказала, — направлю
свой путь».

Несравненная, знаю, жизнь к смерти спешит,
как гонец.

Пребыванье твое в этом мире иллюзия, сон.
 Покрывалом закройся от всех, будь то муж
иль юнец.

Мы здесь кутим и пьем, обладатели славы дурной,
 добродетельна ты, так покинь наш презренный
дворец.

О Хали, ради бейтов своих рассыпай жемчуга,
 Всемогущего Шаха стихами прельсти наконец.

Перевод с фарси МАРИНЫ ЕЛИСЕЕВОЙ





ОТ РЕДАКЦИИ



Раздел литературного наследия имеет особый смысл для нашего журнала. Мы попытались представить, сколько интересных романов, повестей, рассказов, поэм, стихотворений, пьес могло бы появиться в «Отечественных записках» за сто с лишним лет вынужденного молчания. Но выяснилось, что не все еще потеряно. Некоторые произведения до сих пор ждут своего часа.

Одним из них является роман-хроника Роберта Штильмарка «Горсть света».

Предваряя первую полную публикацию романа статьей старшего сына писателя, редакция считает необходимым предупредить своих читателей, что из-за большого объема рукописи (более 60 авторских листов) она планирует печатать ее в течение всего следующего года.

*Публикация Д. Р. ШТИЛЬМАРКА и
Ф. Р. ШТИЛЬМАРКА.*

Ф. ШТИЛЬМАРК

ВОПЛОЩЕННЫЕ ПРОСТОРЫ МГНОВЕНИЙ

(о романе-хронике «Горсть света»)

Щедрый на парадоксы двадцатый век нарушил связь времен в нашем многострадальном Отечестве. Порой годы мелькали неприметно, а иные минуты растягивались на десятилетия. Российская жизнь то достигала трагедийных высот, то оборачивалась самым пошлым фарсом, и такое причудливое чередование сюжетов создавало тот поистине фантазмагорический спектакль, в котором поневоле участвовали все живущие, от мала до велика. И быть может именно жанр романа-хроники как нельзя более уместен для отражения такого, «фильма без экрана» на книжных страницах.

Нет необходимости подробно рассказывать о жизни и деятельности писателя Роберта Александровича Штильмарка (1909—1985), поскольку читателю предстоит познакомиться, собственно говоря, с беллетризированной автобиографией, детально повествующей о сложном и довольно длинном пути, пройденном автором. Однако данное сочинение не принадлежит к разряду мемуаров, оно даже в рамки романа не всегда вмещается, подчас приближаясь к приключенческо-детективному жанру. И причина здесь не в буйстве авторской фантазии (хотя отец и обладал ею в избытке!), но в хитросплетении самой жизни, оказавшейся весьма изобретательной на выдумки и козни...

Семьдесят шесть лет жизни отпущено было родителю. Ему довелось вбóчию видеть и царскую Россию, фабричный Иваново-Вознесенск, где зарождалась будущая Совдепия, и воплощение этого нового строя «от края до края». Он был свидетелем эволюции ленинского НЭПа в сталинский «союз нерушимый» и даже застал начало «перестройки», обернувшейся развалом коммунистической империи. Жил отец весьма скромно, если не сказать бедно, сторонился привилегий и благ, причитавшихся ему как члену Союза писателей, впрочем, и не отвергал их полностью — ходил в писательскую полик-

линику, ездил в дома творчества, выступал перед читателями...

Многое вмещается в рамки человеческой жизни, тем более личности творческой, энергичной и талантливой. Отец был воспитан прежде всего в духе порядочности, честного отношения к любому делу, за которое приходилось браться, дисциплинированность и трудолюбие были для него повседневной нормой, он терпеть не мог столь привычных для нашего бытия расхлябанности, лени и необязательности. Оставшись волею судеб со всем своим семейством (немецко-шведского происхождения!) на просторах преобразенного большевиками Отечества, будущий писатель стал служить ему верой и правдой, искренне пытаясь принести новому строю максимальную пользу. Только случай уберег его от вступления в Коммунистическую партию (заявление было подано и принято благосклонно), от больших успехов на служебном поприще и даже от... роли секретного сотрудника НКВД. Сия трудная тема едва ли не впервые в отечественной литературе поднимается в «Горсти света», и это, пожалуй, самые тяжелые страницы его исповедальной прозы. Признаюсь откровенно, что нам, его близким, говоря казенным языком, «правопреемникам», было не так-то просто решиться на публикацию этих страниц. Но и оставлять их в узком семейном кругу было бы негоже... Еже писах — писах!

«Горсть света» — это, думаю, мое главное, — писал мне отец, приступая в самом конце 60-х годов к работе над новой своей рукописью, — но куска хлеба она не сулит, эта самая «Горсть». Работоспособность снизилась, и появилась страсть к бездумному и бессмысленному наслаждению уходящей жизнью, вот этим снегом под лесом, теплом от печи и счастьем от великого чужого труда, то есть от этих самых слез над вымыслом. Тем более, коли «вымысел» описывает свою собственную судьбу и чудным образом вскрывает твое собственное сердце...

Очень об этом — жизни собственной! — трудно... Надо писать «Горсть света», это главное, не дай Бог, чтобы я не успел! Не дай Бог, чтобы понято было не так, и чтобы кто-то истолковал нашу жизнь не по «Горсти света», а по неким протоколам или записям. Не только изреченная, но и записанная мысль (в документах) есть ужасная

ложь. Правда мыслима лишь в солженицынской прозе, то есть в толстовской, пушкинской, гоголевской прозе, более правдивой, чем любой протокол об этих событиях. Дай Бог мне спастись от тяготения протокола, приказа, сводки, штабного донесения и суть всех этих «протоколов» изложить в форме художественной...»

Такова, видно, и была его первоначальная «установка» — не детально-дотошные мемуары, не документальная хронология, но разновеликое по своей ширине русло «свободного романа», основанного на фабуле «жизни собственной».

Этот роман не столько хроника, сколько исповедь и покаяние. Его начальные главы, посвященные истории семьи, предкам и родителям, прорисованы с особой тщательностью. Далее следуют годы революции, НЭПа, предвоенного периода. Обозначается главная тема книги — сквозь школьные, студенческие годы, через журналистскую, преподавательскую, дипломатическую работу, за огненными смерчами Ленинградского и Волховского фронтов пролегает как бы незримый, но отчетливо предопределенный «крестный ход» героя романа, неутомимо ведущий его в казематы Лубянки и Лефортова, за колючую проволоку подмосковных, зауральских, енисейских концлагерей. «Железное лицо» лубянского Вия и его «железный палец», начиная со второй половины книги, присутствуют почти постоянно, а в четвертой части, почти целиком посвященной лагерным этапам, они предстают уже воочию, во всем своем мрачном блеске... Впрочем, чары «лубянского Вия» не оставляли и самого автора в период его работы над «Горстью света». Деловые коллеги не однажды сообщали мне доверительно: «Твоего отца пасут!» Само собой, что родителям не разрешали выехать за рубеж даже в Польшу (а мне — в Монголию). Говорят, что в компетентных органах «Горсть света» называли условно «романом века», говоря о нем в тонах скорее уважительных, чем иронических...

«Железные веки Вия» на сей раз проявили деликатность — они приоткрылись лишь после кончины отца (приступ аневризмы аорты случился в электричке, когда писатель ехал на свое выступление в Переделкино). Уже в перестроечном марте 1986 года пришли к родственни-

кам и знакомым автора с настойчивым требованием сдать все экземпляры рукописи, опасаясь утечки «ценной информации» (отец же о ее тайной передаче и не помышлял, а закончив свой труд в начале 80-х годов, просто положил его в стол — без всяких кавычек! — и давал читать многим, кого вскоре начали «хватать» и «трясти» ни за что, ни про что). Кинулся я было в союзписательские комиссии по литнаследству родителя, но быстро убедился, что «органы» установили там прочные контакты гораздо раньше меня. Все шло в «законно-плановом порядке». Пришлось во избежание угроз всеобщих обысков и неприятностей отдать имевшиеся рукописи за исключением единственного авторского экземпляра, который сберег младший сын автора Дмитрий Робертович¹.

Впрочем, тревоги «лубянского Вия» были совершенно напрасны — уже в то время «Горсть света» не представляла никакой особой крамолы и не могла разгласить какие-либо государственные тайны. Не прошло и года, как разочарованные «компетентные органы» передали рукописи в один из архивов (сначала, конечно, в спецхран), где они пребывают и по сей день. Возвратить законным владельцам гебисты и не подумали: это было бы вовсе против правил...

Пока что из «Горсти света» опубликованы только небольшие отрывки (в журналах «Северные просторы», «Вокруг света», «Огонек»), а ведь значимость этого произведения прежде всего — в широте полотна, во временном размахе. Конечно, после новых публикаций В. Шаламова, О. Волкова, Л. Разгона и многих других острота тюремно-лагерной темы в глазах читателей сегодня изрядно притупилась. И все же, многие страницы «Горсти», например, посвященные общению писателя с немецкими военнопленными, сцены в Бутырской тюрьме или описания «крепостного театра» в Игарке, должны пополнить эту тематику. Особенно интересна может

¹ Заслуга сбережения рукописи «Горсти света», по которой осуществлены все публикации, включая настоящую, принадлежит также его покойной жене Галине Анатольевне. Историю ареста рукописи и сохранения одного из экземпляров Д. Р. Штильмарк рассказал в передаче «Пятого колеса» в декабре 1989 года.

быть «Горсть света» для зарубежных читателей (как иностранцев, в частности, немцев, так и наших соотечественников-эмигрантов).

Безусловно, могут быть высказаны и определенные претензии к роману-хронике. Он неоднороден, не готовился самим автором для печати, имеются эпизоды второстепенного плана, но все же ценность произведения в откровенности, предельной — вплоть до саморазоблачений! — искренности.

Писательская судьба отца также была необычной, как и вся его довольно бурная жизнь. До войны вышла в свет только небольшая очерковая книжечка «Осушение моря» (М., 1931 г.). Знаменитый «Наследник из Калькутты» впервые появился в 1958 г., спустя два года после реабилитации автора. Но, переизданный в 1959 г., он не печатался ровно тридцать лет — запрещал всесильный Госкомиздат по причине «безыдейности»... Зато в 1989—1991 г. роман был издан в Москве, Ташкенте, Ленинграде, Горьком, Красноярске, Владивостоке, Кишиневе, Элисте, Махачкале, Владикавказе, Душанбе общим тиражом более 5 млн. экземпляров и вошел в число самых известных бестселлеров (киностудия им. М. Горького ставит по роману обширный телесериал). Горький триумф, когда главная книга никому неизвестна!

Из других книг Р. А. Штильмарка, написанных в 60—70 годах, переиздана (в 1991 г.) только «Повесть о страннике российском», впервые опубликованная Географгизом в 1962 г. Главной же среди своих изданных книг отец считал «Образы России» (М., «Молодая гвардия», 1967 г.), посвященную древнерусской архитектуре. В том же издательстве увидели свет повесть «Пассажир последнего рейса» (1976 г.) и книги об А. И. Герцене и А. Н. Островском, предназначенные для юных читателей.

Конечно же, «Горсть света» не «Война и мир», не «роман века»... И все-таки, думается, что эта главная книга писателя, заодно с «Наследником из Калькутты», «Образами России» и «Повестью о страннике российском» когда-нибудь выйдет в будущем собрании его сочинений. И едва ли не самым интересным в таком издании может стать отдельный том писем отца, который был великим мастером эпистолярного жанра. Впрочем, го-

вора словами столь любимого в нашем доме Николая Гумилева, «давно спутаны страницы в книге судеб», и кто может заглянуть сегодня в будущее, предсказать неведомое?



РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК

ГОРСТЬ СВЕТА

Роман-хроника

В такие минуты весь смысл существования — его самого за долгое прошлое и за короткое будущее, и его покойной жены, и его молоденькой внучки, и всех вообще людей, — представлялся ему не в их главной деятельности, которой они постоянно только и зажимались, в ней полагали весь интерес и ею были известны людям. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутненным, непродрогнувшим, неискаженным изображением вечности, зароненное каждому.

Как серебряный месяц в спокойном пруду.

А. И. Солженицын. «Раковый корпус».
Часть вторая, концовка главы 30-й.

Книга первая
ЗВЕЗДА НА ВОСТОКЕ

Вступление к роману

Б ыло это в начале семидесятых, ранней осенью, после Успения.

На Псково-Печерском монастырском кладбище, менее прославленном, чем лаврские пещеры Киева, зато по-прежнему еще действовавшем, похоронили за день

до моего приезда новопреставленного из старшей братии.

Хоронили монахов здесь безымянно, не тщились сбереечь для будущих поколений имена тех, кто в Советской России, спустя столько десятилетий после Октябрьской революции, искали мира душевного в монастырском затворе. В руки усопшему клали начертанную на листке разрешительную молитву, легкий венчик налагали на чело, белой холстинкой укрывали лик; потом тесную домовину с вечным жильцом несли подземными ходами к большой пещерной нише — одной из братских монастырских могил.

Вход туда еще не был замурован, и Настоятель позволил мне войти со свечкой под свод этого склепа, ископанного глубоко в плотном песчаном грунте. Там, в глубине усыпальницы, смутно чернели целые штабелю узких гробов, поставленных друг на друга.

— Нижних-то... в конце концов раздавит так, — со стесненным сердцем сказал я Настоятелю.

— Что за беда? Братья ведь. Безымянный прах!.. Избранные свыше, как вы знаете, сохраняются на века в виде мощей. Прочие же постепенно истлевают, претворяются в пыль земную... Так что же, если и смешается?

Никакого запаха тлена в пещере не ощущалось. Останки умерших действительно очень долго не поддаются распаду в этом прохладном мраке... Изможденные тела псково-печерских старцев столь сухи и жилисты, так приурочены постами к нетленности, что превращение их здесь в мощи никого не удивляет: ни людей верующих, ни строгих рационалистов.

Мы долго шли с Настоятелем извилистым подземным коридором. От него кое-где ответвлялись боковые ходы. В иных тупиках или расширениях коридора устроены были небольшие храмы-часовни, горели лампы перед иконостасами. Сохранились погребения выдающихся светских людей, пожелавших упокоиться здесь, в монастырском некрополе, в псковских Печорах...

Заметил я несколько склепов аристократических родов, например баронов Медем. Их последняя представительница по женской линии, уже глубокая старуха, собрала во времена буржуазного правительства в Эстонии останки своих родственников, дальних и

ближних, со всего бела света, привезла их в Эстонию и похоронила в подземельях Псково-Печерской обители. Здесь же вскоре легла и сама, с сознанием выполненного семейного долга. А монастырь, переживший вторую мировую войну, отошел от Эстонской республики к Псковской области.

Настоятель, сам знаток российской старины и художник, рассказывал мне о старейших могилах в своей обители. По его словам, еще за четыре столетия до основания монастыря (существует же он, по летописи, с 1472 года) приходили сюда, в глубокое Запсковье, киевопечерские старцы-отшельники времен владимировых и ярославовых, находили природные «явленные» пещеры в здешней прекрасной лесной пустыне и доживали в этих пещерах свой век с обетом молчания и уединения. Тела их клали в дубовые колоды и погребали в пещерных нишах, по соседству с жилищами братьев.

— Иногда наталкиваемся на могилы девятисотлетней давности, — говорил Настоятель. — Вот эта, к примеру...

Все могильные ниши замурованы здесь превосходно выполненными керамическими плитами местного, монастырского изготовления. Научил своих монахов этому искусству отец Корнилий, настоятель монастыря в XVI столетии. При нем и прославилась на Руси Псково-Печерская обитель, возникшая на рубеже Русской земли с владениями Ливонского рыцарского ордена, верстах в двадцати от Старого Изборска с его знаменитой крепостью.

Проезжая мимо этой Старо-Изборской крепости по дороге в Печоры, вспоминаешь музыку «Псковитянки», ищешь взглядом ворота, откуда выезжала Вера Шелога... Холмы и леса Изборска, богатырские могильные плиты и загадочно огромный гранитный крест, прозванный Труворовым, башни и стены, поросшие березками-верхолазами, — все это, даже увиденное впервые, находит в сердце будто уготованную лунку и ложится в нее навечно. Вот ведь и «Андрея Рублева» надумали снимать именно здесь, в Старом Изборске, неподалеку от псковских Печор.

Псково-Печерское монастырское предание о гибели отца Корнилия несколько отличается от летописного.

По летописи, царь Иоанн Грозный повелел заточить Настоятеля в темницу, пытать и казнить как пособника бегству князя-воеводы Андрея Курбского. Здешнее же, монастырское сказание рисует событие так: получив донос о бегстве князя Курбского, царь Иоанн сам поспешил в великом гневе к Печорам, услышав, что отец Корнилий посмел дать кратковременный приют опальному воеводе на пути того к литовцам. Сойдя с коня у монастырского храма Николы Ратного, царь, в припадке ярости, собственноручно снес саблей голову отцу Корнилию, когда псково-печерский Настоятель вышел встречать своего державного гостя монастырскими хлебом-солью. После же содеянного, опамятавав, царь подхватил тщедушное обезглавленное тело игумена и в ужасе бежал с ним вниз, от церкви Николы Ратного к Успенскому храму. С тех пор и до наших дней дорожка эта, устланная каменными плитами, зовется в псково-печерской обители «кровоавой». Мне так и объяснил встречный монах: дескать, дойдете кровоавой дорожкой до Корнилиевых стен...

Корнилиевыми называют в монастыре высокие, с волнообразной кромкой стены, взлетающие со дна глубокой лощины по обеим ее склонам вверх, к сторожевым башням, будто символизируя этим плавным движением каменных масс взлет ангельских крыл. Восстановил стены и башни из развалин уже после войны мой собеседник, Настоятель, отец Алипий, — мудрец, мастер кисти и хозяин, самолично водивший меня по своим подземным владениям.

Мы заметили, что одна керамическая плита, закрывавшая нишу, покосилась и отошла от стены. Настоятель нахмурился:

— Может упасть и разбиться. А ведь очень стара и хороша. Сотни их у нас здесь, а двух вполне одинаковых нет. Надобно спасать!

Сильной рукой, отдавши мне фонарь, он было попытался один выпрямить плиту-керамиду, как их тут называют, но та поползла вниз. Я оставил фонарь и свечу, поспешил на помощь. Вдвоем мы осторожно опустили плиту на грунт и прислонили к песчаной стенке. Из открывшегося черного отверстия потянуло еще большим холодом. Поистине, это было дуновение могильное!

— Тут как раз одно из старейших захоронений, — говорил Настоятель. Он нагнулся, перешагнув во мрак приоткрывшегося склепа, подал мне руку и помог последовать за ним. Я ничего не видел в этой тьме. Голос моего спутника звучал глухо, и была в нем некая торжественность.

— Вот где можно воочию увидеть, что есть человек! — услышал я. — Приглядитесь получше... Тут положили его в гробу-колоде восемь ли, девять ли столетий назад. И теперь... Вот он, след его земной!..

Настоятель наклонился, шурша длинной своей рясой, пошарил рукой по песчаному дну или полу пещеры, и вдруг я увидел во мраке его ладонь, поднимающую со дна нечто слабо светящееся, фосфоресцирующее. Пальцы Настоятеля разжались, легкие искорки этого загадочного света редкой струйкой пролились вниз и померкли.

— Видели вы? Осталась от человека на Земле — одна горсть света! Какой ни мрак кругом — нам она приметна. Такое, стало быть, назначение наше в земном мире — хоть горстью света, но просиять!



Сейчас, за этим письменным столом, я ощущаю в доме еще нечто давнишнее, будто вот нарочно пришедшее из глубины дней, чтобы вести память «как под узды коня»... Запах горелого торфа!..

Он чуть-чуть сродни дымку охотничьего выстрела. Если слышишь торфяную гарь зимой, близ жилья, в поселке, значит, чья-нибудь хозяйка купила на топливном складе не углю-антрациту, не березового швырка, а тонну-две торфяных брикетов. Горят они споро, но за зиму замучают хозяйку при чистке печей — столько легчайшей рыжеватой зольной пыли оседет даже в комнатах...

Если же зачует эту гарь летом, на природе, вдали от деревень, значит, где-нибудь в сухом болотце взялась огнем подпочвенная залежь.

Слабый еще огонек норовит быстрее заползти в темную глубь торфяного пласта. Набравши там силу, огонь пробирается тайными ходами к лесным корням, чтобы под ними дождаться ветра посильнее и уж на

его широких плечах вдруг вымахнуть вверх, кинуться на лесные стволы и кроны.

Мне еще в детстве пояснял отец, командовавший военизированными лесными заготовками в начале революции, что, мол, одолеть подземный торфяной пожар — все равно как трудную болезнь вылечить. Ведь воды поблизости от загоревшегося участка нет. В том и естественный закон, что лесные болотистые озера, сплошь зарастая травой и мхом, совсем пересыхают, превращаются в торфяник.

Мы и ныне, в последней трети атомного века, сражаемся с торфяным пожаром тем же способом, что и мой отец полстолетия назад, в этих же подмосковных лесах.

Горящий участок окапывали тогда широким рвом, до дна очищенным от торфяного слоя, чтобы подземный огонь, как обложенный зверь, не прорвался, не ушел бы дальше в леса. Вся и разница в том, что мужики-дезертиры, являвшиеся в военкоматы с повинной и мобилизованные под команду отца, копали этот ров лопатами, а мы, в наши дни — бульдозером.

На огороженном рвом участке лес и торф прежде выгорали начисто. Точно так же выгорают и ныне, коли не подспекает пора осенних проливных дождей или богатая снегом зимушка-зима.

И пока подземный огонь медленно и неуклонно истребляет все живое на обреченном ему участке, плывет и плывет по лесу, тревожа округу, недобрая, горьковатая, похожая на пороховую гарь...

* * *

...Я зимую один в загородном доме. Воротясь из лесу, затопил печь и поверх дров бросил в топку десяток темно-коричневых, хорошо, до блеска спрессованных брикетов. Сразу же потянуло по дому еще ощутимым духом тлеющего торфяного болота.

Так уж получилось, что запах этот неизменно и властно возвращает мне детство, воскрешает прошлое, лица близких, образ отца и многих, давно ушедших.

Хочу, чтобы прочитавший эти страницы ощутил себя присяжным на суде над героем книги и вынес под конец свое решение: виновен или невиновен!

И да будет милосердным тогда приговор судьи высшего и вечного!

Часть первая

ДВА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЬЦА

Глава первая КОЛЬЦО МУЖСКОЕ

У подножия знаменитой башни, где в дни Петровы чернокнижничал Яков Брюс и помещались Навигацкая и Цифирная школа, кипит самый людный из московских базаров — Сухаревка. Больше всего здесь приезжих с трех соседних вокзалов на Каланчевке и с четвертого, Курского, построенного чуть поодаль, за Покровкой.

Ранним утром пассажир из Санкт-Петербурга, Ярославля или Казани, на извозчике, а то и пешком, направляется с привокзальной Каланчевской площади под железнодорожную эстакаду и сразу за ней начинает подъем в гору, вдоль пыльного садика, к высокой арке Красных ворот.

Золотой окрыленный ангел, трубящий в длинную фанфару, покровительственно встречает прибывшую издалека, равно как и здешнюю публику. Ангел будто возвещает и петербуржцу, и нижегородцу, и земляку-москвичу, что в старой нашей столице — не все суета сует. Есть, мол, над Москвою и ясное небо, и вознесенная к нему красота, и величие без чопорности. Не поленись поднять голову — и они тебе откроются!

Крылатый ангел берет под защиту пеший люд, переходящий площадь. Ангел укрывает пешеходов под сенью воротной арки от извозчичьих оглобель и конских копыт. Золотая ангельская фанфара указывает приезжему его дальнейший путь вдоль зеленых палисадников Садовой Спасской, сперва чуть понижающейся, а потом снова берущей вверх, чтобы подвести к самому подножию Сухаревой башни, к ее просторным лестничным ступеням.

Сопутствует приезжему не только золотой блеск изящного ангела с фанфарой, но еще и звучная медь с ближайших колоколен — на Мясницкой, Новой Бас-

манной, в узком Орликовом переулке и с бойкой Сре-тенки, из монастыря.

Простого народу толпится на Сухаревке столько, что приливы людского моря прокатываются от Домни-ковки до Самотеки, доплескивают даже до Грохоль-ского переулка на Первой Мещанской, где трамвай, выдравшись наконец из толпы, бежит дальше, к Вин-давскому вокзалу, будто в тоннеле под кронами сто-летних лип и тополей. Диву даешься, как вся кипящая здесь человеческая стихия не выплеснется из своего уличного русла и не натворит бедствий, свойственных всем беспокойным стихиям.

А ведь не слышно, чтобы на Сухаревке случалось что-либо схожее с Ходынккой. Разговору нет, чтобы здесь народ насмерть давили или до беспамятства стискивали. Обмануть — это одно, обчистить — дру-гое, а так, чтобы вовсе и дух вон — то ни-ни! Уж раз-ве под царский день!..

Что ж до обману... Этого здесь — сколько хочешь. Вот, к примеру.

...Студент в форменном сюртуке и серо-синей фу-ражке московского университета давно присматривал-ся к шумной азартной игре в «три листика», затеянной на клочке свободного пространства позади каких-то ларьков и лавок. Вели игру трое. С виду — приказчики из небогатых лавчонок либо трактирные половые.

Веселые эти молодцы не показались студенту жули-ками. Да и сама игра шла все время будто с перемен-ным успехом. То выигрывал банкOMET, а то поставив-ший против него понтер. Кучка зрителей быстро росла. Кто просто глазел с любопытством, а кто, не вязыва-ясь в игру сам, подзадоривал других. Мол, риск неве-лик, дело чистое, просто затеяли игру счастья попы-тать, судьбу подразнить, от нечего делать.

Студент-естественник, сильный в науках точных, уже успел прикинуть несколько вариантов, построен-ных на теории вероятности...

Определенно стоит рискнуть, шансы равные!

Рискнуть же студент мог лишь небольшой суммой, час назад полученной от родной сестры за репетитор-ские занятия с ее сыновьями, племянниками студента. Сестра вышла замуж за банкира Стольникова, которо-

му было решительно все равно, нанимать ли репетиторов со стороны или дать возможность подработать жениному брату, студенту-химику...

Деньги прямо-таки жгли карман, такая страсть разбирала проверить расчет вероятности... Шагнув из толпы, он сказал:

— Дайте-ка и я попробую!

— Денежки на кон, барин! — весело велел банкомет. — Личность у вас, конечно, приятная, но игра порядок любит.

Замелькали карты.

Студент проиграл первую ставку, а вторую, покрупнее, выиграл. Третью опять проиграл. Прикидывая свой математический вариант, решил добиться выигрыша удваиванием ставки. Тут нужна выдержка и... достаточный резерв! Первое удваивание принесло проигрыш.

Он хладнокровно удвоил еще раз. Проигрыш.

Теперь остается сыграть на все. В толпе стало тихо.

Опять проигрыш... А, черт!

Лоб у студента взмок.

— Поверьте в долг, — сказал он, вытирая лицо платком. — Я живу недалеко. Сходим потом домой, в Яковлевский, там рассчитаемся. Покамест дайте взаймы рублей хоть пять, должен же я сейчас отыгаться, если... здесь нет жульничества.

— Такие слова не извольте и говорить, — обиделся банкомет. Оба товарища его нахмурились. — Вас, господин студент, никто силой не заставлял с нами садиться. У нас все — начистоту.

— У них все честно, — пискнул бабий голосишко из толпы зрителей. — Даве простой мужик рязанский у них три рубля выиграл.

— Я же вам верю, — проговорил студент смущенно. — Поверьте и вы мне: дайте в долг пятерку.

— Нет, барин, в игре да в кабаке не одалживают. Деньги вышли — часики поставить можно или, к примеру, хоть сюртучок... Вон, у вас на пальце колечко обручальное. Как залог взять его можно. Не на пятерочку — целковых на пятнадцать потянет. Желаете так?

Кольцо? С именем невесты... Он уже носил его целых полтора года, с той поры, как родители дали согласие, и они с Олей заказали два кольца. Ювелир

вырезал на одном имя «Алексей», на другом «Ольга». Невеста, меняясь кольцами на «сговоре», пошутила тогда: «Смотри, Лелик, береги! Потеряешь колечко — и меня навсегда потеряешь!» Да ведь не может обмануть математика? Расчет элементарен. Система расчета, несомненно, верна, безошибочна. Дело — просто в настойчивости и последовательности... А, была не была!

— Натe кольцо. Давайте пятнадцать рублей. Продолжаем игру. Ставку удваиваю!

Банкомет снисходительно улыбался, но время от времени метал быстрые взгляды вокруг — не забрел бы ненароком городской...

Проигрыш!

— Удваиваю! Играю на все!.. Ставка — десять рублей...

Как легли карты, как исчезла последняя десятирублевка, будто унесенная ветром, и главное, как растворились в толпе сами банкометы — студент не смог бы и передать связными словами. Он стоял в грязном проулке позади сухаревских лавчонок, вокруг не осталось ни души. Вслед за участниками игры мгновенно разбежались и зрители. Всяк опасался, чего доброго, еще в свидетели попасть...

Боже мой! Обручальное кольцо с Олиным именем!

Из-за дурацкой и легкомысленной доверчивости безнадежно потерять такую заветную вещь!

Остывая от азарта, он уж и сам теперь не понимал, как это его, интеллигентного осторожного человека, угораздило так легковерно отдать кольцо базарным проходимцам. Вот она, та самая простота, что хуже воровства!.. Что же теперь предпринять?

* * *

Идти в Яковлевский, домой, студент не захотел. Там, в родительской квартире, никто не смог бы помочь беде советом или связями — слишком уж далеко была его чинная, живущая на немецкий лад семья от мира происшествий на Сухаревском рынке...

Расстроенный и смущенный, репетитор вернулся в дом старшей своей сестры Аделаиды, по мужу — Стольниковой. Во дворе, перед парадным подъездом,

кучер разворачивал назад, к чугунным воротам ограды, серую лошадь, запряженную в легкий экипаж лондонской выделки. Значит, супруг Аделаиды, банкир и фабрикант Павел Васильевич Стольников, только что вернулся к обеду из своей конторы. С ним и решил посоветоваться опечаленный студент-жених.

Застал он Павла Васильевича в охотничьем кабинете. Ожидая приглашения к столу, Стольников просматривал рекламы ружей-новинок в журнале «Псовая и ружейная охота».

Сухо-деловой, несколько желчный, воспитанный в Оксфорде и устроивший свой московский дом на английский манер, он все же был подвержен одной страстишке, нередкой в России, — подружейной охоте с легавыми. Он вывез из Англии пару пойнтеров редкостной черной масти и собрал в стеклянных шкафах своего охотничьего кабинета поболее двух сотен ружей — Голанд-Голандов, Пэрде и мейстерверков Зауэра. Слушал он повествование студента, стоя перед открытым шкафом с журналом в руке — собирался было сличать рекламные новинки с собственными недавними приобретениями.

Студент рассказал деверю весь эпизод без утайки. Банкир только головой покачал:

— Что ж, совет тут самый простой. Ничего другого тебе не остается, Лелик, как заказать поскорее копию кольца. Иди-ка, брат, к ювелиру. Если сам не проговоришься невесте в минуту глупой откровенности — никогда и не заметит.

— Так-то так... А нельзя ли, все-таки, настоящее поискать, как ты полагаешь, Паша?

Банкир осторожно прикрыл шкаф, воздвигая стеклянную преграду между своими редкостными ружьями и всей остальной атмосферой кабинета, отдающей сигарным дымом.

— Гм, может дороговато обойтись... Ну, что ж, попытка — не пытка! Сейчас, на твое счастье, у меня будет обедать один деятель московской управы... Может, останешься к обеду? А если ты в этом своем сюртуке встречаться с гостями не очень расположен, то... позвони-ка мне, Алексей, вечером, попозже по телефону. Может, получишь адрес, куда обратиться...

...И действительно, вечером Алексей получил нужные сведения, но с оговоркой: если та персона, с которой студенту надлежит встретиться, не пожелает заниматься розысками кольца или вообще не проявит желания беседовать с Алексеем, то уж последнему останется один выход — заказывать поддельное кольцо! Покамест же студенту велено было уповать на свою счастливую звезду и ровно через три дня, в четверг, явиться к шести вечера в трактир на Домниковке. Там надлежало сесть за столик справа от музыкальной машины, держать в руках номер газеты «Русское слово» и заказать бутылку сухого рейнского. Вот там-то и подойдет к столику нужная особа, называть которую следует не вполне привычным именем — Ванькой Клешем.

Не без волнения появился студент в трактире на Домниковке. Он бросил раздевальщику свое неновое студенческое пальто и остался в том же сюртуке, что был на нем во время злополучной встречи с игроками на Сухаревке. Свободных столиков в зале было немного, но, к счастью, ближайший справа от музыкального автомата оказался не занят.

Алексей заказал половому холодной телятины и заливного с хреном, поросенка под бутылку сухого рейнвейна, велел сменить скатерть и сервировать столик на две персоны, а кстати, пустить в ход и музыкальную машину. И пока раздавались в зале, еще для начала негромко, немецкие марши и польки, студент развернул номер «Русского слова» и принялся украдкой, из-за газетного листа, разглядывать публику, надеясь угадать, здесь ли нужная персона.

Народ в трактире, судя по виду и долетавшим до студента обрывкам фраз, был все больше мещанского сословия, но случались и господа средней руки. Студент определил, что за одним большим столом уселись конторские писаря, отпущенные домой на часок раньше обычного и решившие по этому случаю гульнуть. Еще были в зале железнодорожные служащие, угощавшие какого-то придирчивого коммерсанта, два слегка охмелевших мастера из соседнего депо и целая компания пожилых и степенных немцев-ремесленников. Ни в одном из этих посетителей студент не мог предположить Ваньку Клеша. Впрочем, уж не этот ли

бородач в поддевке? Нет, это, конечно, просто купчик из ближнего к Москве уезда. Или Ванькой Клешем может оказаться один из тех нагловатых страховых агентов, что вчетвером уселись по соседству и вначале подозрительно присматривались к молодому человеку в сюртуке?.. Но они уже выпили по третьей и больше не обращают на соседа никакого внимания...

Ну уж разумеется и не тот изящный господин с раздвоенной бородкой и в золотом пенсне. Студент с тайным сочувствием видел, что господину здесь столь же неуютно, как и ему самому. Морщится от звуков машины, курит приличную сигарету, читает французский журнал, недовольно что-то выговаривает половому. Сейчас, видимо, хочет уйти, и тогда из поля зрения исчезнет единственно привлекательное лицо среди всей этой публики...

Значит, нужная персона пренебрегла-таки скромным приглашением студента Лелика. Верно, пора уже и ему самому убираться отсюда. Ведь давно открыта бутылка вина, давно подана закуска. Густеет вокруг табачный дым. Теперь заняты уже все столики в зале, и за иными появились особы дамского пола с сомнительными кавалерами. Девицы так и косят глазом в сторону господина в золотом пенсне, тот же ни одной и не замечает. Машина гремит в полную силу, монеты в нее так и сыпятся.

Господин в пенсне встал и направился... нет, оказывается, не к выходу! Задержался на мгновение у машины и тоже опустил в нее монетку... Кажется, с ним неприметно перемигнулся сам хозяин трактира из-за буфетной стойки. И с какой-то ласковой, даже сияющей улыбкой незнакомец взялся за спинку пустующего стула против Лелика.

— Замечаю, заждались до нетерпения? Дико извиняюсь, что заставили скучать! Вы... кого бы желали встретить здесь?

Студент был поражен не только странным несоответствием между интеллигентным видом и своеобразной речью этого господина. Еще удивительнее был какой-то почти феерический, лучистый блеск его глаз. Они не просто блестели. Хотелось сказать, что из-за стекол пенсне они излучали сияние, как драгоценные камни.

— Мне бы... господина... Ваньку Клеша!..

Незнакомец убрал свое пенсне в карманчик жилета и осклабился с видом некоторого самодовольства.

— Стало быть, извольте изложить ваше дельце мне-с... Только для порядка, как водится, не мешает сперва пропустить по малой... Ваше здоровьице!

Узнав подробности происшествия, собеседник Лелика нахмурился и несколько омрачился.

— Непростое дело! Колечко ваше, господин студент, сработали тогда не мы, московские специалисты. Это вас пришлые обвели. Ну, а с ними надобно будет рядиться, как изволите понимать. Это не то, что из собственной жилетки достать... Полагать можно, что колечко все же сыщется, если... цена будет предложена сходная. Рублей, примерно... семьдесят, не меньше.

— Ему-то и цена вся — тридцать шесть. Только что вещь заветная.

— Да ведь в том-то и дело, — оживился и еще ярче засверкал очами представитель московских специалистов. — Известная примета: колечко утеряешь — жены лишишься либо невесты. Так что, решайте, потому как Ванька Клеш — не тот человек, кто с чужими рвачами за ради пустяка время на разговор тратить станет.

— Когда же можно будет получить кольцо и расчитаться за услугу?

— Об этом родственнику вашему, господину банкиру Стольникову по телефончику стукнем-с. Мы, конечно, не приминем дело побыстрее сладить, а вы извольте названную сумму, как положено, загодя при себе в конвертике иметь... Неприметно отдадите конвертик, а в обмен получите от нас пакетик... Можете оставаться без всякого сумления, потому как честнее настоящего вора на всем божьем свете никого не встретите... Благодарим за хлеб-соль!

* * *

Уже в следующую субботу банкиру Стольникову сообщили по телефону, пусть, мол, господин студент явится один к девяти вечера неподалеку, на угол Веденского и Лялина. Ему кое-что вручат, у него кое-что возьмут, а что именно — он и сам знает.

Студент уже прохаживался от угла морозовского особняка до первого фонаря в Лялином переулке, когда колокол Ильи-порока на Воронцовом поле отбивал девятый час. Моросил дождь, ветер морщил лужи и силился задуть газовый рожок в фонаре. Непогода загнала под крыши всех субботних гуляк. В круге света от фонаря маячила только одинокая фигура студента.

Так прождал он больше получаса. Никто не подходил, не собирался разговаривать с ним. Может, ошибка, путаница какая-то?

Измокший и иззябший, он отказался от напрасного ожидания и побрел, сутулясь, к дому Стольников-а, на другой конец того же Введенского переулка, чтобы сообщить деверю о неудаче.

Алексей уже почти поравнялся с чугунной оградой, как его догнал какой-то мальчишка-оборвыш. Подросток схватил студента за рукав:

— Дяденька! Тебе Ванька Клеш кланяться велел! Давай пакетами поменяемся!

Фигурка оборвыша мгновенно растаяла в вечерней мгле; с нею исчез и двухмесячный гонорар студента за репетиторские занятия с сыновьями Стольникова. В обмен на конверт с этими деньгами остался в руках Алексея маленький сверток. Студент развернул его нетерпеливо, на радостях даже весь просиял внутренне и тут же надвинул на палец свое обручальное кольцо с гравированной внутри надписью: ОЛЬГА.

...Лишь много лет спустя, уже давно будучи женатым, узнал он нечто для себя неожиданное.

Оказывается, в самые дни злоклучений с обручальным кольцом невесте его, Ольге, тайком сделал предложение давнишний приятель Алексея и коллега по университету Борис Васильевич Холмерс, отличный рисовальщик и талантливый актер-юморист. Олино сердце при этом чуть-чуть дрогнуло, хотя она любила жениха и очень ценила всю его старинную семью. Все-таки змей соблазна шевельнулся под девичьим сердцем, уж очень остроумен, весел и решителен был неожиданный кандидат, деликов опаснейший тайный соперник!..

Невидимая угроза всей будущей жениховой жизни была немаловажной: кто не знает таких вот роковых и стихийных подводных струй, вдруг бросающих судьбы

девичьи в сторону от наметившегося русла! Случай с Наташей Ростовою — не редкость в любые времена!

А миновала угроза так.

Жених и невеста вместе с их приятелем Борисом Холмерсом приглашены были на некий семейный вечер, где жениху предложили петь под хороший аккомпанимент любимые его вещи Чайковского, Рахманинова и Шумана. Баритоном Лелика, его манерой петь не только пленялись девицы, его любили слушать и настоящие музыканты. Был он на том вечере особенно в ударе и пел так, что Ольга, для всех неожиданно, вдруг навзрыд расплакалась...

Прощаясь в тот вечер с женихом, она тихонько и нежно поцеловала его в оба глаза и шепнула внятно:

— Уж скорее бы наш июнь!

В июне, как и назначено было заранее, их обвенчали по лютеранскому обряду, в доме жениха и сразу же отправили за границу в свадебное путешествие.

Чета в вагонном окне показалась всем провожавшим картинно-красивой, завидно юной и трогательно, до смешного, счастливой.

* * *

На следующий год супруга подарила мужу сына-первенца. На роды и крестины молодожены прчехали в Москву из провинциального города Иваново-Вознесенска, где они снимали просторный, удобный для приемов дом-особняк. Алексей Александрович, совсем недавно — любимый ученик академика Н. Д. Зелинского, а ныне — дипломированный химик, уже управлял производством на самой большой в городе красильной фабрике, вечерами же в доме у Ольги Юльевны собирались любители музыки и стихов.

В Москве первенца крестил тот же престарелый лютеранский епископ, что недавно соединил руки молодой чете, а много десятилетий назад венчал и родителей жениха, в том же доме, даже в том же зальце, что и Алексея с Ольгой.

Вот по его-то стариковскому выбору и совету нарекли младенца именем Рональд. Оно показалось и впрямь довольно благозвучным, не заезженным, хотя и не самым привычным в обиходе старомосковских ин-

теллигентов «кукуйского» происхождения, чьи далекие предки некогда писались немцами фряжскими или немцами свейскими... Увы, ни старый епископ, ни молодые родители, ни крестный отец-француз из пожилых коллег Алексея Александровича не предвидели, сколько непокоя сможет принести в России будущего... неправославно звучащее имя! Получалось-то все как будто складно: Рональд Алексеевич Вальдек...

К тому же знатоки геральдики и генеалогии утверждали, что, мол, если хорошенько порыться в архивной пыли, можно отыскать у далеких предков московского рода Вальдеков приставку «фон». Формальное право восстановить ее, вероятно, было уже сомнительно, да и не очень-то оно требовалось скромному российскому химику с малолетним отпрыском. И лишь в самой глубине отцовского сердца слегка пошевеливалось нечто щекочущее при мысли, сколь внушительно могло бы прозвучать имя сына: Рональд фон Вальдек, фу-ты, ну-ты!

Впрочем, вся эта чепуха с «фоном» отошла в глубокое прошлое, вспоминалась уже со стыдом как смешная детская блажь и наконец вовсе потерялась в лабиринтах натруженной профессорской памяти...

2

Артиллерийская гренадерская бригада отступала к северо-востоку, оставляя войскам германского фельдмаршала Макензена одно за другим галицийские местечки.

Июльским вечером артиллерийский парк бригады остановился у небольшого села на берегу луговой речки. Деревянный мост в селе обрушился еще днем, не выдержав переправы чужого гаубичного полка, опередившего бригаду на путях отхода. Артиллеристам-гренадерам пришлось искать подходящий брод на версту выше села, где берега были более отлогими, а грунт не таким топким, как на ближайших к жилью водопоях и бродах для скота.

Командир бригадного парка, средних лет капитан из бывших вольноопределяющихся, не доверился докладу своего юного адъютанта (а к тому же и родного пле-

мянника) и решил до темноты самолично осмотреть выбранное для утренней переправы место. Командир пожалел мальчишку-адъютанта, измученного дневным переходом и поисками жилья в местечке, оставив его в хате, а с собой на рекогносцировку позвал более зрелого годами ветеринарного врача. Вдвоем с ветеринаром пошли они берегом речки к верхнему броду.

Здесь, за селом, ничто еще не напоминало о войне. Разве что закат, зловеще багровый, недобрый. Оттуда, с юго-запада, могут уже завтра появиться немцы.

А пока все затихло кругом, усиливались влажные вечерние запахи, и среди них особенно сочно и сытно благоухало пойменное сено. Высокие стога этого сена еще стояли в лугах, но выше, на пашнях, хлеба уже были убраны, судя по зеленоватому оттенку жнивья и соломы, еще чуть-чуть недозревшими. И это, кстати, тоже была косвенная примета войны.

Брод был хорошо виден — тут с берега на берег перебегала пешеходная тропка. Ее прикрывали кусты, полные живности — у берега там гнездились камышевки и курочки, подальше от воды — кричали коростели-дергачи, а на лугу, у травянистых мочажинок, чуть не прямо из-под ног, вылетали бекасы. Капитану-артиллеристу вспомнилась любительская охота деверя с черными пойнтерами.

«Вот бы его сюда, этого стольниковского любимца Неро — отвели бы они с Сашей душу по бекасам. И дупеля здесь, видать, немало — лучшей подружейной дичи, по мнению Павла Васильевича», — думал артиллерист, приминая подростшую с покоса травку.

Ветеринар предложил командиру искупаться.

— Еще неизвестно, будет ли для нас нынче баня. Порядки здесь все же не наши, и добьется ли адъютант ваш толку от хозяев — еще неизвестно, сами изволите знать, голубчик мой Алексей Александрович! Давайте-ка рассупониваться!

Офицеры отстегнули шашки, разделись у самой воды, с трудом стащили с ног пыльные сапоги со шпорами, упираясь каблуками в корневища кустарников, и вошли в теплую, никем до них еще не замутненную нынче воду. Врач был лет на десять старше капитана, окунался со вздохами, ахал и постанывал. Глубины ис-

кать не захотел и принялся у самого бережка смывать пыль с грешных телес, как он выразился.

Командир же измерил босыми ногами весь брод от берега до берега, убеждаясь, что зарядные ящики и все упряжки на своих высоких колесах пройдут не только в один ряд, а даже в два или три. Значит, переправа будет недолгой и дружной... Разведав все это, командир проплыл немного вверх и вниз по течению, потом подкрался к врачу и по-мальчишески окатил его струей, пущенной открытой ладонью... И тут, вместе с брызгами, что-то промелькнуло едва заметной золотой искоркой в косом солнечном луче.

Пока недовольный врач, чертыхаясь, выходил из воды и плясал на одной ноге, чтобы обсушить и обтереть другую, спутник его уже заметил, что смахнул с безымянного пальца свое обручальное кольцо.

Пропажу искали долго, сперва раздетые. Потом, когда стало темно, прохладно и сыро, офицеры надели мундиры и португези, затянули ремни и продолжали поиски при шашках и револьверах, пока не сожгли до конца батарейки своих карманных фонариков.

Чем дальше искали, тем безнадежнее казалось дело. И наконец решили идти в село, где их, наверное, уже ожидали постели. Да не об одном кольце тревожился командир парка!

Пока они с ветеринаром старательно приминали осоку, искали по обе стороны береговой тропки и даже рылись в основании ближайшего стога сена, с тропы донесли звуки и шорохи будто от целой группы самокатчиков. И действительно из-за кустов чуть не у самой речки на миг показались головы и плечи пяти-шести солдат-велосипедистов. Они резко остановили самокаты, шаркая подошвами сапог по земле, и разом поворотили назад. Через мгновение их поглотили сумерки, так что сквозь кустарник оба офицера даже рассмотреть их обмундирование не смогли. А что самокаты без тормозов — черт их знает, может, они и у немцев такие же? Хорошо, если это разведка соседа, а коли самокатчики вообще не наши?

Так и пришел озабоченный капитан в свою хату... без обручального кольца. Саша-адъютант, похав на счет пропажи, вызвался было пойти на поиски, но,

проговоривши еще несколько столь же самоотверженных фраз, тут же уронил голову на подушку. Вестовой Никита Урбан тоже выразил готовность «пойти пошукать», но дело было столь безнадежным, коли уж сами купальщики ничего не нашли, что капитан только рукой махнул и велел будить себя утром пораньше.



Еще перед рассветом стала явственно слышна артиллерийская стрельба на юго-западе. Видимо, там завязывались нешуточные арьергардные бои. Отдохнувшие за ночь на бивуаке лошади бригадного парка легко брали с места и зарядные ящики, и обозные фуры, и неисправные пушки полевой мастерской.

Командир еще затемно выехал к месту переправы, отдал вестовому поводья своего Чинара и не отошел от брода до тех пор, пока последняя подвода не оказалась на том берегу.

Рядом с командиром маячил верхом адъютант, Саша Стольников. Погоны прапорщика он надел месяца два назад. Отец, использовав кое-какие связи, смог определить его в адъютанты к «дяде Лелику». Свежеиспеченный прапорщик явился к своему дяде-командиру еще в Варшаве, как раз когда в польскую столицу на недельку приезжала к мужу жена Ольга с сынишкой Роником повидаться перед тяжелой кампанией пятнадцатого года, уже грозившей потерей Варшавы... Саша Стольников сопровождал тогда тетю Олю с мальчиком от самой Москвы до Варшавы, всячески убеждая ее повлиять на всех близких насчет своей переаттестации и перевода в кавалерию, против чего решительно возражал Стольников-папа.

Вот и здесь, на переправе, Саша критически оценивал вслух достоинства своей воинской части в сравнении с другими родами войск.

— Конечно, дядя Лелик, конная артиллерия штука, в общем, тоже хорошая, только... пушки мешают! Вот бы... без них! Была бы и у нас с тобой настоящая кавалерийская часть!..

Командир обернул к нему усталое лицо, приказал негромко:

— Догони штабных, Саша. Держать на марше боевое охранение справа. Передай там...

Адъютант ускакал. Проехал мимо во главе своего ветлазарета и врач-ветеринар, крикнул командиру на ходу:

— Не нашли кольца, Алексей Александрович?

Вместо ответа командир отвернулся и дал знак Никите-вестовому, с которым он прошел все месяцы войны, тоже переправляться, оставив Чинара у кустов.

Стало тихо. Только вдали погромыхивала артиллерийская гроза. Конь всхрапывал и порывался скакать следом за ушедшим парком. Алексей Александрович отвязал повод, взял его в руку, но все еще медлил садиться в седло, оглядывался.

Вместо вчерашней тропки теперь уходили в реку четыре широкие, сильно разъезженные колеи, и в них уже проступала вода. Вдалеке, там, где двигался обоз артиллерийского парка, улеглась даже пыль, совсем замер на дороге звук тысяч подков и кованых железных ободьев.

Справа зашелестело что-то. Среди кустарников быстро шли к броду люди, и даже как будто с винтовками на плечо! Вспомнив вчерашних самокатчиков, командир положил руку на кобуру. Но вышла из кустов пожилая крестьянка с девочкой-подростком. Они были босы и держали на плечах деревянные грабли, ворошить сено.

— Слушай, добрая пани, — сказал офицер. — Если кто-нибудь из местных жителей, ваших крестьян, найдет здесь обручальное кольцо с именем «Ольга», пусть сразу напишет по такому адресу: Москва, Введенский переулок, дом Стольниковова, для Алексея Александровича... Вот, я пишу тебе этот адрес на листке бумаги... Алексей Александрович — это я. Кольцо я обронил вчера, при купании, здесь, где ты стоишь.

— Что вы, пан! Зачем надеяться понапрасну? Разве найдешь такую маленькую вещь, если тут прошла целая армия?

С этими безнадежными словами крестьянка провела граблями по растоптанной и примятой траве у самой воды, как бы показывая, насколько тщетны здесь всякие попытки поисков.

И когда она снова подняла грабли на плечо, что-то тихонечко звякнуло. Вглядевшись, офицер даже сожмурился от неожиданности: на одном из деревянных зубьев еще вертелось золотое колечко!

Женщина не сразу смогла и в толк взять, за что чужой офицер пытается вручить ей синий кредитный билет. А когда уразумела, наотрез отказалась взять деньги:

— Нет, нет, пан офицер! Если все то есть чистая правда и вы не посмеялись над моей простотой, отдайте деньги в церковь, на голодных беженцев. А мы с дочерью еще, слава Богу, не в столь горькой нужде!



Почти год спустя Алексей Александрович вернулся в свое пыльное Иваново, к Ольге, к детям — было их уже двое.

Из писем он знал, что жена перенесла серьезную операцию, а насколько она была тяжела, признался ему потом за рюмочкой сам хирург.

— Рискнул резать, потому что иного спасения уже не видел. Перитонит начинался. Сказать по правде, и на операцию надежды оставалось маловато... И вдруг, — сам уже не знаю как, поправляется и выздоравливает моя «безнадежная»... Верно, есть на свете какие-то силы и сверх нашей врачебной власти, дорогой мой!

3

А третий раз пропало кольцо неведомо как, в тридцать седьмом.

И хвятились не сразу, потому что давненько стало спадать оно с похудевших пальцев Алексея Александровича, и, опасаясь носить его, держал он кольцо в домашней шкатулке. Когда там его не оказалось, искали не очень прилежно, думали, что рассеянный профессор-химик сам переложил свою реликвию куда-нибудь в другое, еще более надежное место, да и позабыл, в какое именно.

Ему-то, однако, вовсе и не до того было.

Днем, в Наркомате, становилось работать все труднее. Каждый день вывешивали на доске очередной

приказ наркома об «исключении из списка сотрудников» таких-то и таких-то работников такого-то Главного управления. Как правило, эти «исключенные из списка» были самыми знающими инженерами, партийными руководителями или высшими администраторами. Врагами народа уже были официально, на общем собрании, объявлены оба предыдущих наркома. Одного из них Алексей Александрович знал несколько ближе, нарком давал ему ответственные поручения и на заседаниях Коллегии всегда был подчеркнута внимателен к мнению профессора Вальдека...

Эти мысли тревожили профессора днем, в стенах Наркомата.

Вечером же, в Институте текстильной химии, наступала пора новых тревог, весьма, впрочем, схожих с наркоматскими. И здесь, как и в Главном управлении, не проходило и недели, чтобы не сорвалась лекция, не отменены были семинарские занятия, не пустовал бы чей-нибудь стул на заседании деканата. Как и в Наркомате, и здесь, в Институте, испуганным шепотом называли фамилии коллег и знакомых, с кем еще на днях вместе уезжали с занятий, подвозя друг друга на наркоматской «эмке» или на такси. То и дело отменяли экзаменационные сессии, вычеркивали фамилии экзаменаторов, членов Государственной комиссии, руководителей кафедр, членов парткома; переносили сроки занятий, торопливо меняли расписание лекций, подыскивали других консультантов студентам-дипломникам. И тоже вывешивали приказы: «исключить из списков института»...

Сам профессор Вальдек продержался до февраля 1938-го. Уже казалось многим, что, может, неведомо почему, обошла угроза его седую голову. Кто-то пустил даже зловещий слушок-шепоток, дескать, может, мол, и не все ладно с этим профессором. Уже кое-кто осторожно вопрошал, приставив к уху коллеги ладошку трубочкой, не рискованно ли строить догадки вслух в присутствии профессора, а тем более выражать неуверенность насчет чьей-то виновности или, не дай Бог, еще и сочувствие к семье арестованного...

Так пошла осень и зима злого года — страшнейшего в истории России. Год новый встречали в узком семейном кругу — приходилось остерегаться даже неча-

янной фразы во время застолья, да и просто избегали люди заглядывать друг к другу. А то сядут знакомые за общий стол — глядишь, уже сляпано дело об антисоветской организации, по статье 58-й, пункт 10—11...

Только никак не могла профессорская совесть извлечь из глубин памяти чего-либо стыдного или недоброго, сколько ни перебирал он месяц за месяцем всю свою полувековую сознательную жизнь. Разве что принадлежность в прошлом к царскому офицерству? Однако ведь сами солдаты-гренадеры избрали его в дни февральской революции командиром артиллерийской бригады на место нелюбимого прежнего командира, полковника старой закалки. После же революции Октябрьской солдаты вновь утвердили Алексея Александровича в той же командной должности, и суровый к иным офицерам ревком выражал ему, командиру, полное доверие и уважение вплоть до расформирования бригады в начале 1918 года.

Потом, в самую разруху, командовал он военизированными частями в тылу, а после окончательной демобилизации пошла жизнь в лабораториях и цехах, в аудиториях и кабинетах.

Отмечали и премировали за десяток изобретений. Построено в стране пятнадцать фабрик по его проектам. Еще больше проектов консультировал, исправлял, переделывал — и для Баку, и для Ташкента, и для Анкары, куда его даже посылать собирались.

И студенты любят своего профессора за доброту и строгость, за бескорыстие и щедрость. Да еще и за редкой мягкости баритон, звучавший столько раз на вечерах институтской самодеятельности...

В самом деле, не может же быть, чтобы брали все уж без разбору, вслепую. Допустимо предположить и отдельные перегибы (оно в России — не впервой!), скажем, перегибы административные, следственные, судебные, но... не всему же лесу лететь щепками, коли идет рубка? Рубится-то светлое здание социализма, впервые в мире! А социализму нужны такие ученые, как профессор химии Алексей Вальдек!

Не оправдались оптимистические прогнозы, утихли подозрительные шепотки! Не минула и профессора общая судьба лучших его товарищей и ближайших коллег.

Зимней выюжной полуночью жена пошла открывать парадную дверь на долгий звонок и тусклый голос дворника:

— Телеграмма вам, Ольга Юльевна! (Добропорядочная наивность профессорской семьи априори исключала надобность в приемах более тонких!)

Вошли трое, и сразу — к письменному столу. Профессора подняли из постели. Велели одеваться. Предъявили неряшливо и малограмотно написанный ордер. На арест и обыск...

И сразу же пошли рыться, сбросив на шахматный столик в углу два полувоенных пальто и кожаный, на меху, реглан. Только дворник как вошел в телогрейке, та и присел в ней у окошка, не расстегнувшись, не глядя ни на что, творящееся в комнатах. Приоткрыл слегка занавеску и все время, пока происходил обыск, всматривался в игру снежинок за оконным стеклом. Он не первый раз исполнял в доме роль понятого, с каждым разом все менее понимал происходящее, а нынче испытывал нечто похожее на сердечную ноющую боль: сам необразованный и незадачливый, он уважал науку и понимал положение в ней Алексея Александровича Вальдека лучше, чем любой из трех оперативников и все они, вместе взятые.

А тем повезло!

Всего за несколько часов до ареста профессору принесли в конверте крупную сумму гонорара из издательства за последний учебник «Курс текстильной химии». Автор не успел еще и пересчитать деньги. Старший оперативник оценил ситуацию мгновенно. Ему была предельно ясна психология хозяев этого жилья. Такие ни в чем не заподозрят государственных людей, представителей органов. Они видят в них чекистов железного Феликса, неподкупных и безупречных, как все герои известных книг Юрия Германа... Момент удобен: оба помощника заняты обыском, дворник — не смотрит! И старший опергруппы хладнокровно и небрежно засунул в боковой карман полувоенного пиджака весь толстый пакет с деньгами профессора. Мол, тому-то они вряд ли еще понадобятся!..

Расчет был идеально верен: хозяева и не заподозрили кражу. Сам профессор ее просто не заметил. Полуоде-

тый, недвижно сидел он в своем кресле, уже прощупанном и даже несколько распотрошенном, порядка ради. За все время обыска он не удостоил пришельцев ни словом, ни взглядом, будто никого и не было вокруг. Знать, мчалась перед его взором кинолента прожитых лет, и понимал он, что с этим ночным визитом лента обрывается. А Ольга Юльевна, наблюдавшая исчезновение пакета с гонораром, решила про себя, что, стало быть, по нынешним и х порядкам так оно и полагается.

В те минуты нашлось пропавшее обручальное кольцо профессора.

Старший оперативник извлек его из лунки, разошедшая семейного буфета, куда оно нечаянно закатилось.

Приятная припухлость бокового кармана привела оперативника в благодушное настроение.

Рассматривая кольцо, он разобрал гравированную внутри надпись «Ольга» и принял соломоново решение:

— Ну, коли написано «Ольга», — произнес он в тоне почти шутливым, — пусть, стало быть, у Ольги и остается пока. А там — видно будет, как с имуществом.

Так вернулось кольцо к своей первоначальной обладательнице, носившей его тридцать лет назад в течение нескольких дней, до сговора и обмена кольцами с женихом.

После этой февральской ночи у нее стали опухать руки и надевать собственное кольцо она уже не могла. Мужнее вскоре сделалось ей впору.

Алексей Александрович, носивший это кольцо все три десятилетия не снимая, выручавший его при самых трудных и неожиданных жизненных обстоятельствах, больше не ощущал в себе ни сил, ни даже желания отстаивать свое право на эту жизнь.

Какое-то странное успокоение наступило в сердце его с приходом этих ночных гостей. Безучастно и без горечи разглядывал он их утомленные испытые лица, шарящие руки, потухшие папироски в углах жестких губ... Не трогали настороженные взгляды, полные насмешливого недоверия и презрительного превосходства над застигнутым враглом.

Росла на столе кучка документов, книг и предметов, сочтенных подозрительными и изобличающими. Попали сюда две германские каски — трофеи 1916 года,

подсвечник из винтовочных патронов — солдатский подарок командиру, студенческих лет шпага и два ордена давних времен — Станислав и Анна, вызвавшие пристальное внимание и почему-то сочтенные немцами.

— Вильгельму, стало быть, честно служили? — спросил, откладывая ордена и каски, оперативник. Даже дворник у окна дернулся, будто его ожгло, а Алексей Александрович и бровью не повел, ни слова не возразил обидчику... Странно, он и внутренне не любопытствовал даже насчет прямого повода для ареста, не пытался заранее сообразить, кто же именно и из каких нитей лжи сплел донос-паутину... Но, прощаясь под утро с женой, думал о ней уже как о вдове.

Потом настала для профессора полоса проверки эйнштейновой теории относительности, когда в сознании происходила переоценка понятий времени и пространства. Так, прогулочный дворик на крыше «внутренней тюрьмы» ощущался просторным, как вселенная. День или сутки длились вечность, сплошь переполненную страданием, нравственным и физическим, без конца и исхода. И напротив, сложенные из этих суток-бесконечностей ряды тюремных месяцев — а их было пять или шесть под следствием, — почудились при последнем огляде назад одним мгновенным мерцанием какого-то серого полусвета перед мраком вечным.

Его расстреляли в лубянском подвале по приговору чрезвычайной тройки за наитягчайшие преступления против народа и государства. В особую вину следствие поставило ему отказ от чистосердечного признания в своих кошмарных злодеяниях.

В те годы необходимый стране труд исполнителей смертных приговоров оставался примитивным ручным видом труда. Механизировать его попробовали лишь десятилетием позже, введя было автоматику на фотоэлементах, как на станциях московского метро. Но тогда, в назначенную ночь, крупнокалиберный маузер отечественного производства, нацеленный верной партией рукой, разрушил вредоносный мозг профессора, остановил его нераскаянное сердце. Однако семье сообщили нечто другое: будто преступник осужден к десяти годам строгих лагерей без права переписки.

Никто из близких не ведал, что такая формула и была ничем иным, как иносказательным извещением о смерти казненного врага народа. Где ж было догадаться пожилой вдове, что прежняя стратегия открытого террора уже меняется, и Вождь Народа повелел перемежать ее с еще более причудливой и изощренной педагогикой кары тайной! Дескать, враг обезврежен, но... без афиширования!

Словом, понадобилось еще полных двадцать лет, чтобы лишить вдову и обоих, уже семейных, детей профессора последней надежды насчет судьбы отца. Министерство внутренних дел хрущевской эры кратко и вежливо сообщило вдове о смерти супруга будто бы в 1943-м году (хотя расстреляли в 1938-м), а попутно также об отсутствии какой-либо вины покойно: о перед народом и государством.

Семье оставалось утешиться лишь тем, что профессор не был одинок. Ибо так же, как с ним, поступили и с великим множеством других, ученых и неученых, интеллигентных и неинтеллигентных, партийных и беспартийных, разделивших с ним ту же участь, прижизненно и посмертно.

Именно такое утешение подсказал Ольге Юльевне член Верховного Суда при вручении ей справки о посмертной реабилитации супруга.

Глава вторая КОЛЬЦО ЖЕНСКОЕ

1

С этим кольцом никаких сложных перипетий не связано. Его история так и просится в стилистические рамки бытовой повести прошлого столетия.

...Задолго до того, как надеть обручальное кольцо на палец, Оля мысленно уже примеряла его и старалась вообразить себе суженого.

Начала она эту игру лет с семи, когда отец, Юлий Карлович Лоренс, с юности прозванный всей округой

Прекрасным Юлианом, посулил сосватать ее не иначе, как индейскому вождю Виннетау с обложки новейшего романа Карла Майя или уж, на худой конец, отдать за принца Уэльского, наследника британской короны.

Сам Прекрасный Юлиан был наследником весьма доходного имения «Лорка» на взморье близ Пернова. Мать Юлия Карловича, Олина бабушка Матильда, в юности капризница и недотрога, выдана была за пожилого эстляндского землевладельца, овдовела рано, от вторичного замужества отказалась и сама взялась управлять своим хозяйством. С годами она совсем потеряла интерес к нарядам, в гостях присоединялась к мужскому обществу и со знанием дела толковала о видах на урожай. Бабушкой Матильдой ее стали звать раньше, чем у нее на самом деле появились внуки.

Она завела в «Лорке» две молочные фермы, для чего прикупила луговых угодий у упрямого соседа, прежде никак не желавшего уступить эти луга покойному супругу Матильды Лоренс. Владелица «Лорки» отдала в аренду, под распашку, заболоченные пустоши, а сосновый лес, выходявший к дюнам, сберегла: она не только любила его ровный шум, сливающийся с шумом прибоя, но и предвидела курортную будущность здешнего взморья.

Прекрасный Юлиан, единственный ребенок у матери, не мог пройти в домашней обстановке ту строгую, столь необходимую для обретения истинно светского лоска муштру, какая зовется у людей его достатка «ей-не гуте киндерштубе», то есть, хорошей детской. Ему-то сызмальства слишком многое прощали и спускали.

Хозяйственных увлечений матери он не разделял, хотя охотно пользовался их плодами. В Дерптском университете ходил вечным студентом, предпочитая лекциям городские увеселения. Месяцами живал у матери в «Лорке», волочился за хорошенькими мещаночками, охотился, скакал верхом и частенько пробирался в свою спальню лишь под утро, после амурных утех и азартных сражений за зеленым сукном.

Соседская молва, разумеется, всегда склонная к преувеличениям, разносила по округе слухи, уже не безопасные для репутации Прекрасного Юлиана. Однако мать, занятая перспективами имения, как-то не успела толком задуматься насчет перспектив любимого сына.

Его донжуанская слава не слишком тревожила материнское сердце. Пусть, мол, кончит курс, расстанется со студенческими замашками. Тогда и образумится. А пока молодо-зелено — самим Богом погулять велено!

Больше огорчений причиняли ей изрядные карточные проигрыши Юлия Карловича. Утешалась она лишь тем, что в округе не было недостатка в состоятельных невестах, и наследник процветающей «Лорки» мог не опасаться мезальянса, по крайней мере в смысле солидности приданого, если бы в игре рискнул превысить материнские возможности.

Как раз в лето перед последним университетским курсом встретил молодой Юлий Карлович в родных местах, среди песчаных дюн и прибрежных сосен, незнакомую девушку, совсем не похожую на его прежних дульциней.

Синеглазая, высокая, вся будто пронизанная внутренним светом, она, казалось, снизошла на перновское побережье прямо из древнескандинавских саг или рунических песен. Но появлялась она у моря либо в обществе старших братьев-моряков, либо вместе с матерью, сохранявшей и в пожилом возрасте весьма величественную осанку.

Приезд новой здесь семьи вызвал в округе живые толки. Через прислугу соседи торопились выедавать подробности о приезжих. Прекрасный Юлиан же с первого взгляда влюбился в золотоволосую незнакомку. К прежним возлюбленным он утратил всяческий интерес и готовился теперь к заманчиво трудной осадной войне.

Девушку звали Агнесса Юлленштедт. Братья Агнессы были военными моряками российского флота, оба уже в контр-адмиральском чине. Род их велся от шведского барона-моряка, попавшего в немилость к королю Карлу XII и вступившего в российскую службу еще при Петре. Царь Петр пожаловал первому из петербургских Юлленштедтов высокую флотскую должность и поместные земли на юге, по Хопру и Дону близ Воронежа.

Агнесса давно лишилась отца. Погиб он на государственной службе, по ведомству уделов: обергермейстер царских охотничьих угодий в Прибалтике, Алек-

сандр Юлленштедт был застрелен из лесной засады отчаянными браконьерами. Сыновья покойного, старшие братья Агнессы, обучались поэтому на казенном коште, а закончив морской корпус с отличием, быстро продвинулись по службе.

Старший, Николай Александрович, командовал эскадрой кораблей береговой обороны, приписанной к флотской базе в Либаве, и держал флаг на броненосце «Не тронь меня». Младший брат, Георгий, занимал должность профессора в Военно-Морской академии.

Наследственное с петровских времен воронежское имение братья поделили полюбовно, но служба не позволяла ни тому, ни другому надолго расставаться с морем, и жила в запущенном владении только вдовствовавшая мать. Братья виделись редко. Георгий не покидал казенного жилья при Академии, Николай не раз менял служебные квартиры на флотских базах — то в Петербурге, то в Гельсингфорсе, то в Либаве. Барышня, поразившая воображение Юлия Карловича, воспитывалась в частном петербургском пансионе, на каникулы ездила к матери, а в праздничные дни — то к одному, то к другому брату.

В то лето, когда Юлий Карлович впервые увидел Агнессу, семья Юлленштедт решила соединиться, чтобы вместе провести лето в Пернове. Братья взяли отпуск одновременно, сняли по соседству с «Лоркой» хорошую дачу и пригласили мать приехать из-под Воронежа.

Вскоре стало известно, что на этой даче гостей и визитеров встречает в полупустой нижней гостиной только суровая мать семейства. Ни братья-моряки, ни их красивая сестра гостям не показывались — курортные знакомства их явно не интересовали! Юлий Карлович мог лишь в бинокль различать легкий девичий силуэт на верхней террасе соседнего владения, когда Агнесса любовалась оттуда вечерней зарей или отражением в море далеких портовых огоньков Пернова. Потом в бинокле все сливалось — светлый силуэт брала темнота.

И вдруг судьба пошла навстречу самым смелым планам Прекрасного Юлиана.

Старший брат Агнессы оказался далеко не равнодушен к делам помещичьим. Сам владелец имения, огор-

ченный рассказами матери о неустройстве дел в этом наследственном владении, контр-адмирал Николай Юлленштедт знал, что когда-нибудь, после увольнения на пенсию или в случае выхода в отставку и ему, и младшему брату, возможно, придется осесть на воронежской земле и взяться за хозяйство всерьез.

Контр-адмирал услышал о хорошо поставленных молочных фермах «Лорки» и попросил у владелицы разрешения осмотреть их. Мать Юлия Карловича сама показывала свои нововведения важному гостю, и тому пришлось признать, что восемьдесят коров «Лорки» дают доходу несравнимо больше, чем сотни голов худородного скота в воронежском имении.

Моряку понравилась спокойная и дельная владелица «Лорки». Он согласился с ее мнением, что здешние пока еще полупустынные морские берега с их песчаными пляжами, лесными опушками и далекими парусами рыбацких лодок милее и привлекательнее, чем модные и людные европейские приморские курорты. Хозяйственные предприятия на землях «Лорки» так заинтересовали гостя, что он на другой же день повторил визит вместе с братом и сестрой. Агнесса пришла в восторг от выхланных коров, ласковых телят и уютной фермы. Она сказала, что будет прибегать сюда каждое утро пить парное молоко и любоваться животными...

Так завязалось «знакомство домами», и на протяжении этой шахматной партии Юлий Карлович не сделал ни одного поспешного хода. В присутствии членов семейства Юлленштедт он вел себя так безупречно, что ни братья-моряки, ни строгая их матушка просто не смогли придать значения неким смутным слухам о молодом человеке, таком скромном и воспитанном!

Зато сама Агнесса придала этим слухам значение колоссальное!

До глубины души пораженная легендами о подвигах Прекрасного Юлиана, она стала присматриваться исподволь к красивому грешнику, искать с ним мимолетных встреч с глазу на глаз и после его отрывистых уменьшенных объяснений своих поступков сопоставлять ужасные легенды с его собственными осторожными полупризнаниями. Его улыбка, хорошо очерченный, слегка насмешливый рот, легкие тени вокруг глаз, не-

торопливая уверенность чуть ленивых движений становились для нее заманчивыми, как таинственный речной омут. И чем больше она убеждалась в его порочности, тем сильнее мечтала спасти обреченного из когтей сатаны. Мысль эта постепенно становилась жизненной целью милой барышни.

Он же умело разжигал в ней жертвенное пламя, то подавая надежду на успех спасительной миссии, то красиво впадая в печоринскую мрачность или онегинскую тоску. Но вот онегинской сдержанности к влюбленной деве он не проявил, когда добился тайного свидания в парковой беседке, ночью, вдали от дачи, братьев и матери!

Дочь была настолько потрясена этим событием и ощущением неотвратимости, непреложности своей дальнейшей судьбы, что сразу же открылась во всем матери, моля об одном — поверить клятвам любимого и убедить братьев не требовать его к барьеру!

Николай Юлленштедт, узнав о случившемся, совсем было отверг женские доводы и готовился всерьез к решительному поединку, но в конце концов понял, что вместе с обольстителем пошлет в лучший мир и родную сестру. Ибо Агнесса заявила ему столь же решительно, как и матери: «Либо Юлиан, либо — морская пучина!»

Катастрофа в обеих семьях походила на столкновение двух кораблей, когда для спасения тонущих имеются под рукой только простейшие средства...

Последовало довольно спешное бракосочетание. Затем Агнесса с супругом отбыли на временную петербургскую квартиру, пока потрясенная событиями бабушка Матильда переустраивала отчий дом в «Лорке» для молодой четы. Через полгода молодые вернулись в это перестроенное имение, и тут, по прошествии еще нескольких месяцев, родилась у них первая дочь, названная в честь бабушки Матильдой.

Вторым ребенком стала Ольга. За ней появились на свет еще Соня и Эмма.



На зиму семейство Лоренс, — кроме бабушки Матильды, никогда не покидавшей своей «Лорки», — пе-

ребиралось из этого имения в Петербург, Павловск или Царское, где Прекрасный Юлиан, заметно остепенясь, но все же так и не кончив в Дерпте последнего курса, подружился с полковником гвардии Паткулем, принятым при дворе. Дружба эта возникла на почве общих охотничьих интересов. Балтийский помещик и гвардейский полковник знали толк и в собаках, и в лошадях, но ни тем, ни другим нельзя было удивить двор и привлечь к себе внимание. И вот Юлий Карлович надумал, при содействии влиятельного друга, воскресить здесь, в Царском Селе под Петербургом, старинную великокняжескую и боярскую забаву — соколиную охоту.

С высочайшего соизволения построили в царско-сельском парке деревянный амфитеатр для избраннейшей публики. Особый уполномоченный Юлия Карловича отправился в дальние киргизские и казахские степи. У тамошних охотников были куплены для столицы ловчие соколы и беркуты. Поселили их в просторных вольтерах впереди амфитеатра, а позади мест для публики кое-как разместили в клетках пернатую дичь — уток, гусынь, глухарок и тетерок, предназначенных в жертву стремительным хищникам...

Затея так увлекла обоих друзей, что Юлий Карлович как-то и внимания не обратил на то, что расходы по устройству царскосельской соколиной охоты поглощали чуть ли не целиком доход от имения «Лорка».

И к великому ужасу и горю маленькой Олечки и ее сестричек, стали доставлять на кухню их царскосельской квартиры после каждого охотничьего состязания целыми корзинами битую истерзанную дичь, больше всего — окровавленных белых голубок, расклеванных на лету беспощадными ловчими птицами. Ольгу совсем не утешала высокая честь, оказанная папе и его другу: в соседстве с амфитеатром установили в парке особый щит затейливого чугунного литья с именами полковника Паткуля и Юлия Лоренса как почетных устроителей царскосельской соколиной охоты.

Разумеется, никто из благородных зрителей этой охоты и не ведал о скромной бабушке Матильде и ее полуразоренной «Лорке»...



Охотничья страсть Юлия Карловича становилась опасной не только для его кармана. Однажды эта страсть едва не стоила жизни дочке Ольге.

Как-то ее щедрому папе привезли из Копенгагена свирепого датского волкодава-мастифа огромных размеров.

Отец запер собаку-страшилище в своем кабинете, чтобы приучить животное к «хозяйскому запаху». Отцова любимица, пятилетняя Ольга животных несколько не боялась и, в нарушение папиного запрета, смело забралась в кабинет погладить новую собачку.

Волкодав, раздраженный дальней дорогой и только что получивший говяжью кость, хотел, видимо, просто отмахнуться от нарушительницы его одиночества, но, лязгнув железными челюстями, прихватил ножку девочки. Дня через два вызванный из Пернова хирург заявил, что единственное спасение Олиной жизни в немедленной ампутации ноги по колено: началось, мол, гангренозное воспаление.

Агнесса глянула на приготовленные инструменты, на разметавшуюся в горячечном жару и бреду красавицу-девочку и... ушла в свою спальню просить заступничества у рафаэлевой мадонны ди сан Систо. Гравированный итальянским мастером лик этой мадонны с катящейся по щеке слезой всегда висел в изголовье у Агнессы.

Олиной матери почудилось, что в печальных очах матери Христовой сквозит как бы одобрение некоему отчаянному решению. Воротясь к врачу, Агнесса категорически запретила ампутацию.

— Но исход грозит гибелью ребенка, сударыня! — сухо отвечал ей хирург. — Легко ли вам потом будет сознавать, что сами решили ее участь?

— Это любимое папино дитя, — сказала мать. — Не могу я позволить, чтобы оно **осталось** жалкой калекой. Виновата в недосмотре я, и в случае исхода крайнего сама оставаться в живых не хочу. Поэтому, Бога ради, поймите, доктор: на этом свете мне не долго придется терпеть муки совести! Сделайте все, что в ваших силах для спасения нас обеих, и дочери, и матери, а там — что будет! На все — воля Божья...

Врач стиснул зубы... и с такою же злою отчаянностью, что овладела матерью, взялся за спасение дочки.

Он сделал глубокие надрезы вдоль поврежденных мест, дренировал рану, прижигал, удалял все непоправимо разрушенное, бережно сохраняя жизнеспособные ткани. В комнатах пахло паленым мясом. Девочка была в забытьи. Домочадцы уж и надеяться не смели...

Врачебное ли искусство, материнская ли молитва победили смерть, — только девочка выздоровела. Она выросла, бегала в горелки, танцевала на балах, пошла под венец и совсем бы забыла про волкодава-мастифа, кабы не два рядка белых пятен на стройной ножке. До самой старости они напоминали Ольге о ее непослушании, о собачьих зубах и отчаянной материнской решимости.

2

Детство Ольги и ее сестер утратило розово-голубые тона безмятежности как-то сразу, когда из людей состоятельных и значительных семейство Лоренс вдруг превратилось в ничто.

Сестры никогда в точности и не узнали причин и обстоятельств этого превращения, но чисто внешне оно ознаменовалось столь чрезвычайными событиями и в семье, и в столице, что, даже повзрослев, Ольга не утратила ощущения их странной внутренней связи. С той поры прекратился ровный ход Олиной жизни, словно возок ее судьбы съехал с гладко накатанных столичных торцов на булыжины плохо мощеного бульвара.

Мелькание верстовых столбов вдоль этой дороги сделалось тогда причудливо скорым, и сама Олина память, до того сберегавшая однообразно-цельную полосу из семи петербургских зим и стольких же лоркинских лет, будто распалась на множество кусков, подобно изорванным бусам. Впоследствии, как бы вновь нанизывая на связующую нить памяти бусинки пережитых событий, Ольга уж не могла отделять собственную боль от чужой, как в русском девичьем хоре любой из певиц чудится, будто ее-то сердечной жалобой и полнится вся песня...

Все началось с того, что в Санкт-Петербург, неведомо как, прокралась тайком страшная гостья — азиатская холера. В летние месяцы умерли от нее сотни горожан, выжили немногие из заболевших. Рассказывали, что на дальних кладбищах роют ямы-скудельницы, как в старину, при моровой язве, чтобы сжигать негашеной известью тела умерших бедняков. Расклеены были афишки — не пить сырую воду, даже не умываться сырой! Об этом же предупреждали своих знакомых все доктора Петербурга.

Семья Лоренс снимала тогда, летом 1893-го года, городскую квартиру в угловом доме по Малой Морской и Гороховой. На их лестничную площадку выходила и дверь смежной квартиры, где жил со своими родными молодой офицер лет двадцати двух, хормейстер Преображенского лейб-гвардии полка. Офицера звали Владимир Львович Давыдов, но особенным вниманием семилетняя Ольга Лоренс, в отличие от всех прочих, более опытных дам, его не удостаивала. Ей казалось, что младший брат Владимира Львовича, кадет-интерн Юрочка более примечателен. Возможно, что в этом предпочтении играл роль именно нежный возраст кадета! Однако потом любознательная Олечка услышала, что скромный офицер Владимир Давыдов, прозванный почему-то родственниками Бобом, не просто полковой хормейстер, а любимый племянник Чайковского и что композитор именно ему посвятил несколько сочинений.

В доме говорили, будто поздней осенью композитора ждут в столице — он приедет, чтобы дирижировать своей последней симфонией, и остановится, возможно, в квартире Давыдовых, напротив...

...Олины родители музыку любили и старались как можно раньше начинать музыкальное образование дочерей, притом делать это посерьезнее, чем требовали светские приличия. Девочек водили на все большие концерты. В Мариинской опере у семьи была ложа, а играть на рояле учил их старый пианист, профессор консерватории. Рояльные клавиши в этом доме бездействовали, только когда кто-нибудь в семье бывал болен, в обычные же дни дети готовили свои экзерсисы для профессора по два-три часа кряду, под строгим материнским надзором. С нотных обложек глядело на роб-

ких учениц возвышенное задумчивое лицо Чайковского. Имя его в семье Лоренс произносили благоговейно.

Года два назад, на первом представлении «Иоланты» и «Щелкунчика», маленькая Ольга, аплодируя композитору и артистам Мариинского, так отбила ладошки, что они покраснели и припухли. Она запомнила, как после «Вальса снежинок» во втором акте весь театр содрогнулся от оваций, гремевших потом еще долго и после занавеса к антракту...

Но там, за своим дирижерским пультом, Чайковский был так же недосыгаемо далек и сказочен, как и феи, и куклы, и смелый Щелкунчик. Так неужели же здесь, в самом обыкновенном доме, его можно будет увидеть совсем близко, скажем, в квартире Давыдовых или хотя бы на лестнице? Неужели он, как все простые смертные, шагает по лестничным ступеням, ездит на извозчиках, сидит за обеденным столом и... бранит за плохо сыгранную гамму?

В городе похолодало. Облетела листва Летнего сада, и мраморные тела античных богинь укутывали соломой. Ждали, что теперь пойдет на убыль и холерная эпидемия, но в гимназии учителя еще строго-настрого запрещали подходить к водопроводным кранам и предостерегали от покупки на улице фруктов, чтобы гимназистки не вздумали съесть их, не обмыв кипятком.

Длинноногая, чуть надменная Ольга (мама посмеивалась — мол, Олин носик с рождения высокомерно вздернут!) не без важности выбиралась из наемного экипажа перед входом в гимназию «Петершуле», предоставляя старшей сестре Матильде торопиться в ее второй класс. Сама же Оля не спеша и с достоинством помогала младшей сестричке Соне одолеть гранитные ступени подъезда и уже оттуда, с крыльца, негромко и веско приказывала вознице-финну «подавать экипаж после уроков пораньше».

Ольге пошел восьмой год и училась она в первом классе. Сонечка — в подготовительном. И хотя от Малой Морской до «Петершуле» на Невском было совсем недалеко, трех девочек-школьниц отвозили туда ежедневно на лошади, и командовала ими всеми в пути не старшая Матильда, а более властная и самостоятельная Ольга.

И вот, возвращаясь однажды в октябрьский полдень из гимназии, Оля увидела перед их подъездом другой экипаж и чужого кучера, застрявшего в дверях с двумя большими чемоданами и портпледом. Вещи не пролезали в открытую створку парадных дверей, и давыдовский повар, пыхтя от усилий, пытался отмокнуть запоры второй створки. На улице же выбежавший впопыхах без пальто Боб Давыдов помогал выйти из пролетки красивому седому господину с хорошо знакомым лицом, сейчас улыбающимся, но все таким же значительным и возвышенным, как на нотных обложках! Наконец обе створки парадного раскрылись, кучер потащил чемоданы и портплед наверх, Чайковский под руку с Бобом быстро поднялись на площадку. Ольге показалось, что входя в давыдовскую квартиру, Чайковский улыбнулся не всем трем девочкам-школьницам вместе, а именно одной ей, Ольге!

Через несколько дней они были на концерте. Чайковский дирижировал Шестой симфонией.

После этого концерта остались в Олиной памяти не овации зала, не лавровые венки, не заплаканные от только что пережитой музыки оркестранты, неистово рукоплескавшие своему дирижеру. Осталась в памяти только сама музыка, скорбная, нечеловечески огромная, трагически вещая...

После концерта Ольга шла с родителями домой пешком, и так явственно слышала трубы и контрабасы финала, будто все еще находилась в зале.

Отец шагал молча, глубоко засунув руки в карманы длинного пальто, и впервые показался Ольге каким-то поникшим, непривычно озабоченным... В лакированных туфлях ступал тяжелее, чем, бывало, в болотных охотничьих сапогах... Лицо матери тоже удручено. Может, и взрослые все еще переживают Шестую?

Меньшую дочь, Эммочку, на вечерние концерты не брали, но и шестилетней Соне пешее возвращение показалось трудноватым. Она закапризничала, Ольга повела ее за руку. Тут уже почти на углу Голодаевской, их нагнал извозчик-лихач с рессорной коляской на толстых шинах. Он сдержал свою пару откормленных серых, услужливо откинул кожаный фартук и пригласил господ садиться. Маленькая Соня ступила на под-

ножку экипажа, но отец, к ее удивлению, отмахнул рукой и отвернулся. Лихач даже крикнул от неудовольствия, чуть отъехал тихим шагом и сразу же, на углу, нашел других поздних седоков. Отец тихонько сказал, будто в шутку:

— Привыкайте к моциону, мадемуазель, он полезен и будет теперь у вас... в избытке!

Дома, в передней, горничная подала отцу телеграмму и Пернова. Мать подняла глаза на отца, а тот потупился молча. Потом родители ушли в мамин будуар, и, засыпая, Ольга еще улавливала за стеной шорох бумаг и приглушенные голоса папы и мамы.

Утром начались перемены. Мама позвала в тот же будуар всю домашнюю прислугу. Покинув эту комнату, немка-бонна, горничная, няня и повар, опечаленные и недоумевающие, пришли в детскую проститься с девочками. В квартире осталась только кухарка, заявившая господам, что деваться ей все равно некуда в Питере, поживет, мол, у хозяев даром, до отъезда их из столицы. В то утро девочки последний раз поехали в гимназию на лошади — со следующего дня они ходили туда пешком, сопровождаемые мамой.

Еще дня через три позвонил в парадном какой-то господин в котелке и вместо горничной пошла открывать Ольга. Господин спросил что-то про назначенные торги и распродажу мебели, но тут вышла мама и быстро сказала, чтобы господин благоволил встретиться с самим Юлием Карловичем нынче вечером, на Невском, в ресторане Лейнера, где все и будет окончательно выяснено.

Незнакомец спросил было, пойдет ли с торгов и имение «Лорка» близ Пернова, но мать заторопилась выпроводить его и тут же открыла на новый звонок. Пришла мадемуазель, учительница французского языка.

Мать остановила ее в прихожей и стала что-то быстро объяснять. В ответ француженка только ахала. Несколько фраз матери Ольга смогла расслышать яснее: мон мари... мой супруг... всегда был слишком доверчив... увлекся рискованной коммерцией... был так уверен в своем компаньоне, его честности... к тому же эти вечные карты и вечные проигрыши... мы потеряли все, все... Он просил денег у своей матери... Пришел

телеграфный ответ, что остатки имения «Лорка» не стоят и половины его просчета... Боюсь, бабушка просто не сможет перенести все это, у нее слабое сердце!..

— О, повр мадам, повр энфан! — причитала француженка, поглубже пряча в ридикюль последний гононар за уроки.

Перед полуночью отец пришел из ресторана Лейнера. У матери разыгралась к вечеру сильная мигрень; старшая, Тильда, хлопотала в маминой спальне. Воротившийся отец послал дочерей спать, но из прихожей Ольга тихонько проскользнула в темный зал, потрогать клавиши рояля. Она знала, что утром ломовые должны увезти его из дому.

Луч света от уличного фонаря бежал по черному лаку инструмента, как лунная дорожка по морю. Ольга открыла крышку и подняла попиптр, но вместо того, чтобы взять аккорд, положила на клавиатуру голову, да так и задремала на вертящемся стульчике. Сон ее был некрепок, и она пробудилась, когда отец привел маму в соседнюю столовую, стал поить ее холодным чаем и уговаривать поесть.

Из тихого разговора родителей Оля поняла, что скоро мама и дочери уедут к дяде Николаю в воронежское имение и поживут там, пока папа окончит дела в столице, подыщет семье новое жилье, а детям и новую школу, только уж не в Петербурге, а в Москве.

Отец говорил с мамой нежно и успокоительно, что-то обещал, даже поклялся в чем-то, и мать первый раз за всю неделю чуть слышно рассмеялась, но сразу же стала серьезной и спросила насмешливо:

— Почему же ты сам-то ничего не съешь? Устрицы у Лейнера, верно, отбили тебе охоту к домашнему ужину?

Против обыкновения отец и тут не вспылал и стал рассказывать, что с бывшим компаньоном он переговорил сухо и коротко, а когда тот ушел, отца по-добро-соседски пригласили к своему столу в зале Боб Давыдов и Модест Ильич Чайковский. Был еще за их столом старинный приятель отца барон Буксгевден, молодой композитор Глазунов и еще какие-то господа из музыкального мира столицы. Ждали из театра самого Петра Ильича.

— И вот, представь себе, — слышала Ольга папино повествование, — только я уселся за столом и мне принесли прибор, — входит Чайковский. Прямо из Александринки. Все, кто был за нашим столом, закричали, вскочили, он же, слегка усталый, разгоряченный, с пересохшим от жажды горлом, даже еще и не усевшись с нами, сразу потребовал холодной воды. А на столе графин уже пуст! Так и остался Чайковский стоять в ожидании, пока лакей принесет новый. Приплелся этот Петруччио... с пустым графином! Видишь ли, под вечер не оказалось у Лейнера остуженной воды... Эдакая безводная Сахара на невском бурегу в конце знойного октября!

— Удивительное легкомыслие в такое время! — сказала мать.

— Чисто российское, — согласился отец.

— Ну, и чем же эти рестораторы в конце концов напоили Чайковского?

— Сырой водичкой из-под крана! Сам потребовал! «Несите мне, — говорит, — сырой, ни в какую вашу петербургскую холеру я не верю, у себя в Клину всегда сырую пью». Ему все хором: «Здесь нельзя, Петр Ильич, очень опасно!» — а тут уж тащит на подносе стакан воды этот самый нерасторопный Петруччио. Модест даже с места привскочил, хотел перехватить стакан, но не успел: Чайковский осушил его жадно, залпом, и сел ужинать. Боже мой, если бы ты слышала, какие у него планы! Барон шепнул мне, что из всех русских музыкантов именно он сейчас и самый «всемирный». Вот только консерватория наша столичная не больно жалуется на него как москвича...

Разговаривая так, отец с матерью понизили голоса, потом и вовсе перешли на шепот, и маленькой Ольге за роялем стало сниться море-океан и странный морской царь, который поит Чайковского соленой водой из зеленого стакана...

Может, она пошевелилась, и этот шорох в зале уловили родители. Они замолчали, прислушались и нашли спящую за роялем девочку, освещенную только фонарем с улицы. Отец отнес Ольгу на руках в детскую, а утром, еще бледная от вчерашнего приступа, мама повела детей в гимназию. Собственно, в предвидении

близкого отъезда занятия эти уже не имели смысла, но мать боялась детской праздности, а главное, очень надеялась, что рояль успеют увезти в отсутствие дочерей.

Однако, ломовые с фургоном, как водится, опоздали, и грузчики кончали свое дело как раз к самому возвращению юных гимназисток домой. Ольга еще с улицы заметила фургон у подъезда и распахнутые створки дверей в парадном, а в лестничном оконном проеме она успела различить, как плавно колыхнулось книзу огромное черное крыло.

Дети долго ожидали, пока рояль, перехваченный широкими кожаными ремнями, на мужицких плечах спускался с последнего лестничного марша, загораживая доступ наверх.

Вздыбленный, оскорбительно лишенный всех украшений, ножек и педалей, он, наконец, выплыл из подъезда. Двое грузчиков стояли на платформе фургона, двое подталкивали рояль снизу.

Мужики эти, усталые, потные, крикливые, даже как будто и не злые вовсе, конечно же не могли понять, что уносят они не вещь, не мебель, не просто инструмент, а домашнее божество, ухоженное, избалованное вниманием, могучее и доброе, чей нрав и характер изучен и понят всеми домашними. Для мужиков же грузчиков это была всего-навсего непомерная тяжесть. И они бранили и рояль, и друг друга, отчего Ольга поскорее потащила сестер наверх. Тут, в пустом и уже слегка подметенном кухаркою зале, Эммочка, встретив сестричек из школы, разлетелась было потанцевать, покружиться на таком просторе и даже глянула выжидательно на Олю, будто прося ее о веселой музыке к танцу, но под Олиным укоризненным взглядом вдрут все сообразила, огляделась и заплакала.

И тут девочки увидели соседского повара из давыдовской квартиры. Он что-то говорил кухарке, а потом повторил все это матери, и та быстро-быстро закрестилась, схватила девочек, потащила их в ванную комнату, велела всем хорошенько мыть руки борной, больше никуда не выходить из дому, не выглядывать даже на лестницу. В давыдовской квартире лежит тяжело заболевший Чайковский, у него был лейб-медик доктор Бертельс и определил, что может быть это — холера...

...Те пасмурные осенние дни казались Ольге страшно длинными, томящими своей неопределенностью, безнадежностью. В гимназию не пускали, девочки занимались с мамой, читали Андерсена и Перро, Уайльда и Купера. Детей не выпускали на парадную лестницу. Вести из давыдовской квартиры, переданные шепотом, обнадеживали мало. Однажды из окна Ольга вдруг заметила кадета-интерна Юрочку, но не обрадовалась, а испугалась: он привез в соседнюю квартиру целый ворох простыней — давыдовского запаса не хватило для больного. Тогда и мама велела передать туда стопку снежно-белых, слегка накрахмаленных простыней. Их приняли, но при этом сказано было, что кризис, видимо, уже недалек. Будто, пробуждаясь из забытья, больной отрешивается от «проклятой курноски», гонит ее от себя слабеющей рукой...

Уже на следующую ночь после этого известия, по звукам и громким шепотам у Давыдовых, отец и мать Ольги, не спавшие после полуночи, поняли, что худшее свершилось — Россия осталась без Чайковского.



Таких горестных, многолюдных, всех касавшихся похорон в Петербурге, кажется, еще не бывало!

Когда на лестнице, в парадном, затопали, заговорили, затолкались десятки людей, девочки Лоренс угадали: в ы н о с я т!

Несмотря на строгий запрет, Ольга чуть приоткрыла дверь. Прямо перед лицом ее оказался лакированный угол темного инкрустированного ящика. Был он велик и тяжел. Ольге потом объяснили, что тело умершего от опасной заразной болезни заключили внутри гроба в запаянный цинковый ящик.

Гроб несли на плечах вниз по лестнице, как недавно уносили рояль...

Оля узнала Боба Давыдова и тут же заметила, как незнакомый бородатый мужчина с искаженным болью взглядом протиснулся к Бобу и стал умолять его уступить место у гроба:

— Дайте, дайте и мне понести его! — молил незнакомец. Боб уступил, и человек, просветлев лицом, подставил плечо под ношу. Был это музыкант из оркестра

консерватории, так недавно исполнившего Шестую. Кому из слушателей могло тогда, на прошлой неделе, в минуты оваций и общего восторга, даже в голову прийти, что Шестая симфония так скоро станет для Чайковского... реквиемом!

И пока в храмах столицы шло отпевание, пока траурный кортеж двигался от Исаакия к Мариинской опере, оттуда к Казанскому собору и наконец к Александро-Невской лавре, пока знаменитый бас протодьякона Малинина сотрясал соборные колонны и согласно звучали хоры консерватории, оперного театра и придворная капелла, мать и обе старшие дочери Лоренс, отдав последний поклон гробу, тихонько следовали в отдалении за процессией.

В ограде Тихвинского кладбища лавры прибавили и они свои букеты к печально-торжественному холму из венков и живых цветов, возвысившемуся над свежей могилой. Прощаясь с нею, они простились и со всей своей петербургской жизнью.

Через двое суток после похорон композитора Агнессы Лоренс с четырьмя дочерьми навсегда оставили столицу. На пути в Воронеж их догнала телеграфная депеша отца о смерти бабушки Матильды, последовавшей от разрыва сердца перед продажей с торгов имения «Лорка».



За несколько лет, быстрее, чем можно было предвидеть, Ольга освоилась в Москве и полюбила ее.

Когда господа Лоренсы переселились в Москву из дядинога воронежского поместья, у всех членов этой семьи скоро сложился круг добрых знакомых, благожелательных родственников и близких друзей. И хотя девочкам, росшим близ парков Гатчины, Павловска и Царского, сперва как-то не хватало величия и логики петербургской панорамы, они быстро оценили прелесть арбатских переулков, уют хлебосольных старомосковских особнячков, картинность Кремля, обаяние сорока-сороков и неповторимую роскошь живого московского говора, которым, впрочем, ни один коренной петербуржец в совершенстве никогда не овладевает.

Старших девочек определили в Петропавловскую женскую гимназию между Петроверигским и Колпачным переулками. Красный дом этой «Петрипаулимэд-хеншуле» помещался в обширном дворе строящейся новой лютеранской кирхи Москвы, неподалеку от серого здания «Петрипауликнабеншуле». Мужская гимназия выходила фасадом в тот же Петроверигский переулок, где потом и увидели друг друга впервые гимназистка четвертого класса Ольга Лоренс и гимназист восьмого класса Алексей Вальдек.

Впрочем, к тому дню, когда это знакомство привело к обмену обручальными кольцами, Ольга Лоренс числила уже в своем списке женских побед не только Бориса Хольмерса, но и куда более зрелого годами господина Гуссейна Амбар-Магомедова, московского домовладельца армяно-персидского происхождения.

У этого господина Амбар-Магомедова Юлий Карлович Лоренс, сумевший сохранить-таки после продажи родной «Лорки» и ликвидации петербургских дел кое-какие деньжонки на черный день, снял для семьи удобную и недорогую квартиру в старинном двухэтажном доме на Немецкой улице. Так прозвали эту улицу еще исстари, в память о знаменитой Кукуйской слободе, тянувшейся вдоль берегов реки Яузы, уже невядалеке от ее устья. Ходить с Немецкой улицы в гимназию девочкам было небылизко, зато просто и удобно — по Старой Басманной и Покровке — до Петроверигского.

Петропавловская гимназия славилась своими отличными учителями, образцовыми кабинетами и высокой требовательностью к поступающим. Принимали туда с большим разбором! Недаром директриса обратилась к Оле перед ее приемом — снова в первый класс из-за пропущенного года — по-немецки, а будущая классная дама — по-французски. Ответить на двух иностранных языках поступающей полагалось без запинки. Обе старшие девочки, Тильда и Оля Лоренс были приняты сразу, а младших, Соню и Эммочку, проэкзаменовали и посоветовали отдать в соседнюю, Реформатскую гимназию, что была в Большом Трехсвятительском переулке, на задах у серого приземистого здания Реформатской церкви, выходившей фасадом в Малый Трехсвятительский.

Родители так и поступили. Все четыре девочки вместе выходили из подъезда, вместе добирались — когда на конке, когда пешком — до Покровских ворот, а здесь расставались: старшие несли свои ранцы в Петропавловскую, младшие — в Реформатскую гимназии.

Когда Матильда и Оля вытянулись, обрели женственность и превратились в стройных и чинных девушек, их домохозяин, господин Амбар-Магомедов стал все чаще появляться у окон своего жилища, чтобы полюбоваться, как четверка сестер Лоренс выбегала из подъезда и веселой стайкой летела мимо Богоявленского собора к Разгуляю. Замечено было, что особенное внимание господин Амбар-Магомедов оказывает Ольге. Это уже становилось предметом острот в семье. Ибо господин Амбар-Магомедов был толст, важен, медлителен и, как говорила прислуга, весьма скуповат и прижимист. Но и прислуга подтверждала, что золотоволосая, вся в мать, Ольга нравилась хозяину дома день ото дня все больше. Он и сам старался подчеркнуть это сердечными улыбками и низкими поклонами из окна, притом с неизменно прижатой к груди рукой...

От прислуги он узнал день Олиного рождения и ровно к ее 16-летию прислал с нарочным большую коробку конфет имениннице, присовокупив, что конфеты эти — не простые!

Оказалось, что в шоколад был заделан браслет с брелком у застежки, пара сережек, цепочка с бриллиантовым кулоном и перстенок с рубином.

Когда мама Агнесса за утренним чаем извлекла эти драгоценности из их шоколадной оболочки и убедилась, что больше никаких сюрпризов коробка не таит, господина Амбар-Магомедова вежливо пригласили в квартиру и просили забрать назад его роскошные дары, как явно не подобающие для барышни-гимназистки.

Тогда господин Амбар-Магомедов стал в торжественную позу перед Ольгиной матерью (ибо отец уже успел уехать по делам, ухмыляясь в усы и предоставляя супруге самой требовать объяснений у странного поздравителя). Визитер застегнул на все пуговицы свой коричневый пиджак, покашлялся и объявил матери, что давно ожидал именно этого дня и повода, чтобы

юной русалке (он так и выразился) открылось его большое сердце. Это сердце принадлежит ей, русалке, а он желает взамен получить ее беленькую ручку.

— Прошу не сомневаться, мадам, что при моем состоянии я сумею создать твоей дочери счастье!

— Но она так молода и не помышляет о замужестве! — Агнесса Лоренс с немалым трудом соблюдала серьезный тон. — Вы же, господин Амбар-Магомедов, вероятно, не первый раз задумываетесь о женитьбе? У вас могли бы быть взрослые дети, ровесники моим дочерям?..

— Ну, был жена, был сын. Какая разница? Жену прогнал назад, к отцу, калым вернул.. А сын — Тебризе живет. Чем он мешает? Он свое получил.

— Вы — мусульманин?

— Да. Мусульманин. Шиит. Какая разница для вас, мадам?

— О, как же! Моя дочь — христианка, не захочет отказываться от своей веры.

— Зачем отказываться? Пусть ходит в свой церковь. Какая разница? Я позволю. Это — не против моего закона.

— А... если дети?

— Ну, дети, конечно, будут мусульмане... Какая разница? Закон такой! Но это же неважно, мадам! Важно что? Хорошую свадьбу справить, неделю пировать, танцы танцевать... Потом — Эривань едем, Тебриз едем, у меня там товар, и земля есть, и два дома... По дороге, в Тифлисе, родню мою навестим. Чего долгий разговор тянуть? Где твой дочь? Он не такой дура, чтобы свой счастье не понимать!

И тут в комнате появилась Ольга, подготовленная матерью к этому объяснению, потому что подарок в шоколадном комуфляже не оставлял сомнений насчет намерений поздравителя.

— Вот, Оля, господин Гуссейн Амбар-Магомедов оказывает тебе честь, предлагает руку и сердце. Дай сама ему ответ...

Именинница сделала армяно-персу столь кокетливый книксен, что у того увлажнились и очи, и губы, и даже чело. Он приложил руку с растопыренными пальцами к лацкану коричневого пиджака и выкатил глаза.

чтобы отразить в них всю меру райского блаженства, какая ожидает избранницу.

Оля смиренно опустила свои зеленоватые девичьи очи:

— Я благодарна господину Амбар-Магомедову, нашему домохозяину, а сейчас нашему гостю, за честь... Но... мое сердце уже не свободно! Я... люблю другого и... имею его слово! Он будет ждать, пока я кончу гимназию. Мне, право, очень, очень жаль...

Армяно-перс стоял перед матерью и дочерью во весь рост как воплощение самоуверенности. Он не сразу смог и осознать афронтный ответ своей русалочки и все еще продолжал улыбаться. Потом его ноги, толстые, как телеграфные столбы, засунутые в брюки из ровной коричневой материи, медленно подогнулись, как-то дрогнули, и он стал опускаться в кресло. Плюхнулся он боком, мимо сиденья, на скользкую ручку, чуть не споткнулся и, обретя равновесие уже в сидячем положении, поднес к глазам руку с платком. Как бы прикрывая лицо от неслыханного позора, ничем не заслуженного, он еле выговорил трагическим басом:

— Похороните меня!.. Я... умэр!

Уходя, он сунул в карман коробочку, куда Олина мать сложила его подарки. В продолжении всего разговора эта коробочка лежала на самом виду, и он старался после каждой фразы придвигать коробочку поближе к собеседнице. Пряча коробочку, он потрянул ею так яростно, что сережки и колечки звякнули.

Воротившись домой и выслушав всю историю, папа Лоренс все же счел за благо переехать на другую квартиру, тем более что договор с господином Амбар-Магомедовым скоро кончался. И семья переселилась ближе к обеим гимназиям, в Малый Трехсвятительский переулок на Покровском бульваре.

Совсем близко оттуда, в Яковлевском переулке, жил тот самый молодой человек, кому не нужно было прижимать пальцы к груди и выкатывать глаза на лоб, чтобы заставить Олю поверить ему! В свои 16 она в шутку обещала ему верность до гроба, в 19 надела на палец обручальное колечко с его именем, а через два года стала ему женой. Истомившая жениха проволочка с венчанием вызвана была тяжелым Ольгиным дифте-

ритом, от которого она долго поправлялась на родительской дачке в Лосиноостровском.

Определилась и судьба остальных сестер.

Старшая, Тильда, обручилась в Москве с сыном голландского банкира, и после недолгой переписки Юлия Карловича с родителями жениха молодых обвенчали в московской Реформатской кирхе. Чета молодоженов сразу же уехала в Гаагу и с тех пор... ни сестры, ни мать, ни отец никогда не видели больше в лицо госпожу Матильду ван Донген. Отделил их друг от друга тот неодолимый барьер, что спустя десятилетия получил столь выразительное и точное название: **ж е л е з - н ы й з а н а в е с.**

В один год с Ольгой вышла замуж за военного инженера Санечку Тростникова и средняя барышня Лоренс, Соня. Вся родня сразу же нарекла эту чету «Санечкой и Сонечкой». А еще два года спустя испросил у родителей Лоренс руку младшей дочери Эммы ее гимназический учитель географии герр Густав Моргентау. Сперва ученица влюбилась в темпераментного педагога — в женских гимназиях такое ученическое обожание отнюдь не редкость! — а тот, в свою очередь, приглядевшись поближе, вместо того, чтобы ответить подобающей суровой отповедью, решил, что от добра добра не ищут...

Папа Лоренс, располневший в Москве до неузнаваемости, повесил в своем домашнем кабинете увеличенные портреты Матильды, Ольги, Сони и Эммы и назвал эту своеобразную картинную галерею «выставкой счастливых бесприданниц». Надо сказать, что тестя своего все четыре зятя искренне полюбили за добродушную веселость, коммерческую интуицию, обилие полезнейших знакомств, а главное, за полную готовность во всякое время суток праздновать любое событие или памятную дату, в каком угодно московском или загородном увеселительном заведении. Из-за своей необъятной толщины папа Лоренс, страстный театрал, занимал в ложах всегда два сидения, а когда ехал в театр вдвоем с женой Агнессой, то нанимал два экипажа — рядом с ним на сидении не утнездилась бы и Дюймовочка! Его появление в любом ресторанном зале пирующие встречали восторженно.

По всей Москве ходили о нем веселые и незлые анекдоты, например, как он засыпал на ходу во время прогулки и возвращался к супруге без трости и шляпы и как потом эти трофеи возвращали ему воры и оборванцы с Хитровки. Они чтили жившего по соседству барина за его всегдашнее сочувствие хитровским старожилам. Юлий Карлович называл их на волжский лад «зимогорами». Частенько целая кучка таких хитровских зимогоров поджидала его под утро в тихом Трехсвятительском переулке, и, когда Юлий Карлович вылезал из московской извозчичьей пролетки, чуть не заваливая ее на бок, встречающие зимогоры поддерживали его под локти, открывали парадную дверь и лишь горестными вздохами, весьма деликатно намекали на свою жажду опохмелиться.

Если барин не торопился лезть в карман, собравшиеся прибегали к последнему средству. Старший из них кланялся низко и с потупленной головой, зябко потирая руки, произносил трагический монолог, никогда не оставлявший барина Лоренса равнодушным:

— Синус-косинус, тангенс-котангенс, секанс-косеканс! Извольте, ваше благородие, пособлезновать на водку бывшим гимназистам!

И их благородие папа Лоренс неизменно соблезновал, хотя бы ему завтра не на что было взять извозчика.

Говорят, именно папа Лоренс придумал за столиком и подсказал редактору газеты «Московский листок» историю с московским китом. Некогда эта история наделала немало шуму! Желая досадить за что-то полицмейстеру Яузской части, Юлий Карлович уговорил редактора поместить в одном из апрельских номеров 1911 года сенсационное сообщение, будто в самый разгар ледохода по Москве-реке приплыл снизу огромный кит и... застрял под аркой Устьинского моста, где, мол, любому желающему не возбраняется увидеть это чудо воочию. Обыватель, расхватав газету, густо повалил к реке и обоим Устьинским мостам, задав полиции столько хлопот, что вся Яузская часть оставалась на ногах полных двое суток. Редактора оштрафовали, но газета вдвое или втрое повысила апрельские тиражи, да еще сам редактор заработал какие-то деньги на сногшибательных «китовых» пари...

Но уж недолго суждено было Юлию Карловичу веселить приятелей анекдотами, дегустировать устрицы и любоваться прелестной портретной галереей в кабинете!

Однажды, на бенефисе одной из своих многочисленных протеже в оперетте, папа Лоренс уже в ресторане, где он сидел как бы за посаженного отца, почувствовал, как сам успел выразиться, «третий звонок оттуда».

Домой, в Малый Трехсвятительский, он однако же воротился самостоятельно и без провожатых поднялся к себе на второй этаж. У матери в гостях оказались Соня и Ольга. Ни Агнесса Лоренс, ни дочери не обратили внимания на не совсем обычное, чуть угнетенное папино состояние, тем более, что ароматы ликеров и парижских духов показались им вполне обычными... Заглянув попозднее в кабинет, Агнесса Лоренс нашла супруга на полу. Дочери закричали, засуетились, но было поздно! Он успел прошептать лишь несколько слов. Посетовал, что оставляет жену совсем без наличных, а дочерям наказал не поминать отца лихом...

Гости на его похоронах были столь же многолики, сколь и многочисленны. Преобладали в этой толпе черные фраки и несколько вычурные дамские шляпки. Проводить Юлия Лоренса почли священным долгом все свободные от смены лакеи и оркестранты из Слагрянского базара, Яра, Стрельны, Эрмитажа, трактирные половые от Тестова, Круглова и Мартьяныча, танцовщицы и шансонетки многих кабаре, цыганских и румынских хоров, оперетточных трупп. К могильному холмику на Введенских горах принесли немало бутфорских цветов их театрального реквизита и даже венки из пальмовых листьев, сохранивших устойчивый дух ресторанного никотина...

Самое удивительное, что эта любовь до гробовой доски вовсе не зависела от бывшей щедрости покойного — ведь после своего петербургского банкротства Юлий Карлович Лоренс от крупной коммерции отошел и никогда больше не мог свободно сорить деньгами.

Когда же Ольга тихонечко осведомилась у седого метрдотеля «Стрельны», кем же все были оповещены и почему никто не поленился прийти, тот смахнул слезу и пробормотал:

— Кем оповещены? Да по всей Москве сразу разнеслось! Осиротели мы без него. Самый веселый барин был!

3

Госпожа Ольга Юльевна Вальдек отдыхала на Кавказе.

Из-за перенесенного перед замужеством дифтерита с осложнениями врачи не советовали ей кормить детей грудью, и свою дочь Вику она передала кормилице через две недели после родов. Но первенца, маленького Рональда, она выкормила сама... Последствия не замедлили сказаться: ее острейший, тонкий как у лесного зверя, слух вдруг словно затупился и приослаб. Врачи пояснили, что, к сожалению, их предсказание сбывается. Ей посоветовали ванны в Железноводске, воды Кисловодска и морские купания в Новом Афоне. Поручив шестилетнего Роника и полуторагодовалую Вику заботам папы, няни и бывшей кормилицы, молодая мама одна уехала на кавказские воды и уже три недели усердно их пила, в них купалась и про них писала мужу веселые письма. О грозových тучах, густевших на горизонтах Европы после Сараевского убийства 15 июня, она не слишком заботилась. Даже вести об австрийском ультиматуме Сербии, а затем — об артиллерийском обстреле Белграда не очень испугали курортных собеседников Ольги Юльевны — общество еще не верило, не хотело понимать, что все это — начало страшной войны, преступной по своим целям и роковой по своим последствиям. Готовились к ней исподволь европейские дипломаты и военные — для огромного большинства непосвященных она была неожиданностью. В особенности для людей русских.

Про всеобщую мобилизацию в России кисловодское общество узнало к вечеру 18 июля.

Сосед по столу в Ольгином пансионе, пожилой военный инженер, осторожно объяснил Ольге Юльевне, что, мол, супруг ее, как офицер запаса, по всей вероятности уже находится в воинской части или же на пути к ней.

У Ольги похолодели руки и ноги, но ум ее никак не хотел мириться с тем, что впереди — долгая разлука, а

может, и кровь, и вдовство, и беззащитность в целом мире...

19 июля было ясным. Утреннее солнце обласкало каждый камень и каждое дерево на улице. Горы голубели. На отрогах Бештау каждая плешинка — след давнишнего обвала или оползня — чудилась манящей лужайкой, и хотелось поскорее туда забраться зелеными каменистыми тропами. В пансионе стояла такая мирная тишина, что Ольга поднялась из постели с легким сердцем и вчерашние страхи показались ей преувеличенными.

«Ведь сообщил бы, — думала она, — если призвали... Это же и соседа касается, Бориса Михайловича Микулина, и инженера Воронина, да многих ивановских... Все они тоже числятся в запасе, неужто так сразу всех и мобилизовали?..»

Ей сегодня назначена была ранняя ванна, потом процедуры у ларинголога. Этим процедурам подвергала ее пожилая медичка-немка, добродушная, веселая и очень ловкая с новой электрической аппаратурой. Ее звали госпожа Таубе, училась она в Германии, и русский доктор Попов подтрунивал над ее педантизмом. За глаза же называл ее золотой помощницей и своей правой рукой.

Процедуры она в этот раз вела с обычной аккуратностью, но без шуточек и болтовни. Прячала лицо, отворачивалась и дольше обыкновенного возилась за перегородкой с приборами.

— Я вижу, вы очень озабочены сегодня, — сказала Ольга. — Может, все еще и не так плохо, ист ниht зо шлимм... Не могу поверить, чтобы кто-то в мире хотел кровопролитием добиваться своих целей, как разбойник на большой дороге. Неужели наш царь и немецкий ваш кайзер не могут все решить между собой мирно и опять отпустить по домам всех, кого вчера взяли от жен и матерей? Я не могу поверить в близость столь ужасной войны, фрау Таубе!

Немка вышла из-за перегородки:

— Разве вы, фрау Вальдек, жена русского офицера, не знаете, что война уже объявлена? Доктор Попов сказал, что я буду, наверное, скоро интернирована, ведь у меня — немецкий паспорт...

В пансионе Ольге вручили телеграмму:

«Призван. Следую через Москву в часть. Остановился с детьми у Стольниковых. Немедленно приезжай проститься».

На кисловодском вокзале была давка и неразбериха, поэтому Ольга села в дачный поезд на Минеральные Воды, надеясь там быстрее взять билет до Москвы. Но и на станции Минеральные Воды, обычно тихой и провинциальной, днем 19 июля творилось нечто небывалое.

В течение двух ужасных часов она наблюдала на платформе под знакомым навесом такие сцены, какие еще накануне были просто немыслимы. Обезумевшие, растрепанные, сразу потерявшие привлекательность молодые женщины и седовласые старухи рвались к вагонам, а мужчины, еще вчера щеголявшие джентльменством и куртуазностью, беспощадно их отталкивали, пихали, чуть не душили, штурмуя вагонные дверцы. Вопили испуганные дети в нарядных костюмчиках. Сквозь зеркальные окна международного вагона Ольга могла видеть, как плотный восточный человек в белом офицерском кителе без погон уперся локтями и спиной в полуоткрытую дверь купе и, держа в каждой руке по револьверу, грозил наседающим: застрелу-у-у!

Ольга поняла: ни из Минеральных, ни из Кисловодска, где прицепляют два-три прямых вагона к московскому поезду, ей не выехать. Но ведь это значит не увидеть мужа перед отправкой на фронт! Перед такой-то разлукой! Как же отсюда вырваться, — и непременно еще сегодня! — если толпа час от часу свирепеет? Все новые толпы пассажиров приливали к платформе под навесом, грозя затопить ее, будто река в половодье...*

В Минеральных Водах госпожа Вальдек была совсем одинока, не имела знакомых, рассчитывать здесь было не на кого. Ей не осталось ничего другого, как воротиться в Кисловодск и посоветоваться со знако-

* Эта железнодорожная паника, как впоследствии выяснилось, продлилась всего несколько суток на станциях Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск и в еще большей степени — в Батуме и Сухуме. Уже через неделю после объявления войны, положение на кавказских вокзалах нормализовалось. — А .

мыми в пансионе. Усталая, присела она на скамью в садике против чужой гостиницы, перечитала телеграмму и заплакала: никому и здесь нет до нее никакого дела! К властям военным нечего и обращаться: что для них отчаяние какой-то дамы с курорта!

И тут сквозь шорох листвы в садике до ее чуть ослабленного слуха явственно дошла чья-то речь по соседству... Кто-то произнес слова: «купе в международном до Петербурга... поезд курьерский... нынче вечером...»

Она даже усумнилась, правда ли были произнесены сейчас эти наинужнейшие слова, или просто ей почудилось, помстилось.

...Рядом, в открытой беседке сидел в одиночестве гвардейский полковник. А через перила беседки передавал ему что-то из рук в руки станционный жандарм. Он-то и произнес слова о поезде и купе.

Ольга обернулась к ним в ту минуту, когда офицер сунул в карман кителя только что полученные билеты. Жандарм откозырял и зашагал прочь. Ну, помоги, Господи!

Офицер поднялся и уже направился было к подъезду гостиницы, как Ольга Юльевна нагнала его и заговорила умоляюще:

— Благоволите уделить мне несколько минут, господин полковник! Умоляю вас о помощи!

Замедлив шаг, но и колеблясь недоуменно, следует ли принять всерьез это заплаканное лицо незнакомой курортной дамы, полковник смотрел недоверчиво и холодно. Он явно не был склонен любезничать.

— Как изволите видеть, сударыня, я — солдат и собою, следовательно, распоряжаться не волен. О чем вам угодно просить меня?

— Я — жена офицера... Вот его телеграмма... Если я правильно поняла, вы нынче уезжаете отсюда, кажется в Петербург... У вас купе... Бога ради, возьмите меня с собой! До Москвы! Если вы едете с супругой — я готова всю ночь просидеть в коридоре, у проводников, стоять хоть на площадке, где только мыслимо, лишь бы не помешать вам, а самой поспеть проститься с мужем... Если вы — один, может, смогу сойти за вашу родственницу и тоже позабочусь, чтобы не помешать вам... Пусть меня сочтут, скажем, за сестру вашей жены...

— Я не женат, сударыня, и следую один. Согласитесь, что ехать в моем купе вам невозможно.

Они дошли до подъезда. На пороге швейцар почтительно поклонился этому постояльцу. Теперь швейцар, человек посторонний, мог слышать продолжение беседы, и полковник торопился закончить ее. Ольга Юльевна, страшась упустить спасительный шанс, перешла на французский:

— О, пардон, месье ле колонель! Деван ле жен! — она скосила глаза на швейцара. — Я верю, что вы — человек долга и чести! Поверьте же и вы мне!.. Мы с мужем от всего сердца будем всю жизнь Бога за вас молить!

Что-то смягчилось в его взгляде. Эта курортная незнакомка неуловимо напомнила ему одну ушедшую. Мольба ее казалась искренней. Как же быть с нею?

— Извольте пройти сюда, в эту ожидальню, здесь можете говорить свободно и по-русски... Разрешите осведомиться, кто вы, сударыня?

— Жена призванного из запаса инженера Вальдека. Если вы знакомы с петербургскими моряками, может быть, слышали о контр-адмирале Юленштедте, бывшем командире балтийской эскадры, теперь в отставке...

— Не только слышал о Николае Александровиче, но и знаком с ним и с братом его, Георгием Александровичем, профессором Военно-морской академии... Почему вам угодно было вспомнить сейчас этих моряков?

— Потому что это мои родные дяди по материнской линии, старые петербуржцы, как и сама я. А мы с мужем живем сейчас в Иваново-Вознесенске. И должны увидаться в Москве перед разлукой. Муж отправляется в действующую армию... У меня в запасе — считанные часы, а не дни.

— Поклянитесь мне, что вы — действительно та, кем назвались, и что других намерений у вас нет!

— Боже мой! Да какие же могут быть у меня «другие намерения»? Клянусь вам жизнью мужа и детей моих — я ни в чем не кривлю душой перед вами!

— Разрешите и мне представиться: командир лейб-гвардии императрицы Марии Федоровны гусарского полка Николай Александрович Стрелецкий. Извольте. Я готов помочь вам...

Теперь, обрадованная, Ольга Юльевна сдержала слезы (мужчины их не очень любят!) и, пока он обдумывал, как действовать, смогла хорошенько рассмотреть полковника Стрелецкого. И поняла, что даже в крайних обстоятельствах не смогла бы рискнуть обратиться к нему с просьбой, если бы заранее видела ближе его лицо. Потому что преобладало в нем выражение холодной непреклонности. И лишь в самой глубине презрительно-властного взгляда таилась горечь, нечто уязвимое, некая ахиллесова пята. Ольге припомнился толстовский князь Андрей.

— Успеете ли вы, сударыня, приготовиться к шести часам?

— О, разумеется.

— Тогда ожидайте моего посыльного с коляской. Где ваш пансион?

Ольга Юльевна все объяснила. Стрелецкий договорил:

— По дороге на вокзал вам придется подобрать и меня, здесь. Адъютанта своего я отправил нынче утром, денщик с кучером пока остаются. Нам с вами предстоит путешествовать вдвоем. Будем надеяться, что вам по дороге не встретятся знакомые с недоуменными вопросами. Перед поездной прислугой вас, вероятно, придется выдать за мою жену, если вам угодно. Попытаюсь, быть может, составить партию в вист где-нибудь в соседнем купе или поищу иной предлог не стеснить вас в дороге. До свидания!

И хотя вокруг вечернего поезда в Кисловодске страсти бушевали еще отчаяннее, чем утром, в Минеральных Водах, спутник Ольги Юльевны очень спокойно, без видимых усилий устроил все так, что никто и не пытался претендовать на их места. В сопровождении того же станционного жандарма, что приносил билеты, двух дюжих носильщиков и еще одного унтер-офицера, послужившего посыльным при экипаже, мнимые супруги были беспрепятственно усажены в двухместное купе международного вагона. Отослав провожатых, полковник Стрелецкий опустил штормовую палатку, запер дверь, чтобы не ломались, и предложил спутнице по ее усмотрению распорядиться в этой комфортабельной лакированной коробочке. К услугам

двух пассажиров здесь имелся довольно просторный диван и еще одно подвесное ложе повыше, под углом к дивану. Пока Ольга осматривала и развешивала вещи, спутник углубился в военные сводки.

Вагон уже качался и уплывал в темноту, как лозн-гриновский лебедь. Ольга Юльевна умылась и приготовила чай. Робея пригласила она полковника сесть поближе к накрытому столику, и, когда он поднял на нее глаза, всякая робость ее прошла. Была в них не поправленная курортом усталость, было нерадостное предчувствие судеб общих и, пожалуй, доля участия в судьбе спутницы. Он похвалил и чай, и снедь, обнадежил Ольгу Юльевну, что, мол, та вовремя поспеет в Москву, и даже взялся сам отправить мужу телеграмму по адресу банкира Стольников в Введенском переулке.

И когда телеграмма была отправлена с какой-то маленькой станции, полковник Стрелецкий не вернулся более в купе, оставил Ольгу Юльевну в одиночестве. Она было прилегла, постелив себе наверху, но боялась заснуть, не оттого, что сомневалась в рыцарстве спутника, а, напротив, не желая, чтобы из-за своей отзывчивости к ней он терпел неудобства в дальней дороге. В купе слабо горел ночник, вагонная шторка неплотно прикрывала окно, и там, снаружи, в июльском мраке, время от времени протягивались вдоль поезда огненные трассы искр, летящих из паровозной трубы. Ей припомнилось, как полковник сравнивал эти огненные полосы с немецкими пулями, будто бы светящимися на лету... Теперь ее милый Лелик, равно как и полковник Стрелецкий, ехал навстречу этим огненным пулям...

Глухой ночью Ольга на босу ногу влезла в туфли, накинула пальто поверх ночного платья и вышла в коридор искать полковника.

Увидела его на откидном стульчике в самом конце коридора: партию в вист составить не удалось!

Еле-еле уговорила она Стрелецкого воротиться в купе. Он шуточно посетовал насчет первой в его жизни семейной сцены, но пришел, когда она уже снова успела забраться на свое подвесное ложе и даже притвориться спящей.

Ей было слышно, как он осторожно стаскивал сапоги, звякая шпорами, укладывался, гасил ночник. Днем

он говорил, что оставил в Кисловодске денщика и кучера грузить в особый вагон свой конный выезд — четверку лошадей и коляску... Господи, сколько хлопот с этой негаданной войной! Стрелецкий уверял, что едвали в действующей армии ему, кроме верховых лошадей и штабного автомобиля, понадобятся еще выездные лошади с коляской и кучером, но они полагались ему по рангу и должности, он имел право повсюду возить их с собой и... возил! Десятки, может быть, сотни плачущих женщин не могут попасть на поезд, потому что вагонов не хватает, а вот ненужные лошади Стрелецкого займут целый вагон и потащатся через пол-России за своим владельцем, лишь обременив его еще одной мелкой лишней заботой...

Теперь не удавалось заснуть ей. А он, кажется, затих сразу...

Жалобно пели, странно постанывали и повизгивали тормоза при замедлениях, волновала неизвестность ближайшего будущего, нервы еще не успокоились после предотъездных тревог. Казалось, отекли руки, и обручальное кольцо больно режет палец.

За оном беззвучно пролетали искорки-пули. На потолке двигались полоски света и тени от сигнальных огней на полустанках; ныли и ныли тормоза, и, вторя вагонным колесам, тихонько позвякивали на полу шпоры полковника Стрелецкого. Сам же он, видимо, спал крепко и совсем, значит, о ней и не думал... Тянуло заплакать.

И лишь когда щелка между оконными портьерками из черной стала бесцветно-серой, когда на стенном крючке проявился очерк чужого кителя, похожего на Леликов, Ольга вдруг поверила, что и взаправду они с Леликом уже через сутки встретятся, и поцелуются, и останутся вдвоем, наедине, и что произойдет все это благодаря молчаливому, сдержанному, даже как будто чуть-чуть слишком идеальному полковнику Стрелецкому.

Так она незаметно задремала и проснулась уже под Харьковом, при свете погожего дня 20 июля. Опять она оказалась в купе одна — Стрелецкий давно сидел с газетами в вагоне-ресторане.

А поздним вечером, где-то в Курской губернии, где у него была, как он выразился, усадебка маленькая,

десятин в девяносто, они наконец разговорились по душам и просидели за полночь. Невеста Стрелецкого умерла от чахотки, он достал фотографию, и оказалось, что у покойницы и впрямь было общее с Ольгой Вальдек.

Говорили о судьбах людских и о войне. Ольгин собеседник, человек, близкий к высшим придворным кругам Петербурга, судил усатого кайзера и его генералов не с той ненавистью, как это делали армейские офицеры, а скорее с горечью и недоумением. Он дал почувствовать собеседнице, насколько трудна для крестьянской страны России война против могущественной промышленной державы. Мимоходом осведомился, помнит ли Ольга Юльевна события девятилетней давности в Москве, после неудачной войны с японцами... Она уловила намек, что пушки и цеппелины Вильгельма могут вызвать в нашем народе потрясения более грозные, чем 1905 год, если российские армии дрогнули бы на германском фронте... Углубляться в эти рассуждения с женой незнакомого офицера Стрелецкий не стал, присовокупив, что ныне для каждого патриота России главное — выполнять свой воинский долг. Дескать, «делай что надо, а будь — что уж будет».

Ольге Юльевне тоже был непривычен разговор с малознакомым человеком о материях политических, и она постаралась перевести его на материи попроще. Напомнила ему о долге семейном. Тот лишь головой качнул — мол, все это для меня уже в прошлом.

— Вы лучше латинскую поговорку вспомните, — настаивала Ольга Юльевна. — Римляне говорили: «Охочего судьба ведет, неохочего — тащит». Значит, лучше уж сознательно выбрать судьбу, чем случайно угодить под неизбежный женский магнит. Ведь утащит — Бог весть куда!

— То, что вы, сударыня, разумеете под магнитом, — серьезно отвечал Стрелецкий, — есть не истинная любовь, какая даруется человеку один или два раза в жизни, а легкая страстишка, притягательная только для легких, вернее, легковесных душ. Металлы же благородные такому магнетизму, думается, не подвержены. Не в этом ли убеждает и наше приятное путешествие, увы, уже близкое к концу. Утром — Москва...

При этих словах он слегка наклонился и многозначительно поцеловал ей руку с золотым обручальным колечком на безымянном пальце.



Перед полуднем 21 июля на перроне Курского вокзала Алексей Александрович Вальдек с маленьким Ронечкой встречали кавказский скорый.

Мимо встречающих прошел, вздыхая, запыленный зеленый паровоз-сормовец, и мальчику почудилось, что паровоз не катит вдоль перрона, а шагает, устало передвигая свои длинные красные рычаги.

Пропустив тендер и багажный вагон, папа с сыном издали различили желтый международный среди красных спальных первого класса, синих — второго и зеленых третьеклассных. Пришлось пуститься к вагону бегом. Папа и сын на бегу придерживали свои сабли: папа — длинную, офицерскую, сын — короткую, вчера подаренную, на ременной настоящей португее.

Они успели к международному, когда с его площадки уже сходила ослепительно красивая мама в большой шляпе. Маму слегка поддерживал под локоть чужой полковник в безупречном белом кителе и с фуражкой в другой руке.

Мама сначала познакомила папу с этим полковником и лишь потом расцеловала сына. Взрослые, как всегда, страшно долго разговаривали и чему-то смеялись, пока это им самим не надоело. Тогда полковник вернулся в свое купе, а папа, мама и Роник поехали на извозчике к Стольниковым, в Введенский.

День этот начинался для Рони очень интересно. Потому что рано утром, сразу после завтрака с тетей и кузенами, перед тем, как ехать на вокзал встречать маму, Роня с папой успели побывать на Чистопрудном бульваре и осмотреть панораму «Бородинская битва». Папа давно обещал показать Роне эту панораму и наконец-то выбрал для этого утренний час. Панорама помещалась в деревянном балагане на бульваре. Пустили их туда сразу, и народу внутри было немного...

То, что Роня здесь увидел, вообще не шло в сравнение ни с чем, ранее виденном в иллюзиях, на кар-

тинках, в театре или в музеях. Шла здесь, в этом круглом балагане на Чистых Прудах беззвучная, но настоящая война. Всю ее можно было охватить одним взглядом, сразу, а уж потом присматриваться к каждому предмету или воину в одиночку.

Здесь сражались, бились, стреляли тысячи людей под ясным осенним небом. Люди были беспощадны друг к другу, и именно в этом дощатом балагане с панорамой на холсте Роня понял, что «взрослая» война совсем другая, чем у мальчишек...

Валялась у разбитой пушки мертвая всамделишная лошадь с оскаленной мордой. Рядом лежал наш, российский солдат с землисто-серым лицом, обвязанным тряпкой. Горели деревенские домики, палили пушки, и прямо у ног посетителей раскидано было множество страшных предметов — оторванные руки и ноги, окровавленные повязки, сломанные ружья, и поодаль — еще несколько человеческих недвижимых фигур в пугающих, неестественных позах.

Мальчику очень хотелось спросить у папы, по дороге на Курский, предстоит ли ему ехать на такую же войну или, может, нынешняя полегче, но он и сам догадывался, что, верно, именно на такую, а потому и спросить поостерегся...

Потом, встретивши маму, ужинали за общим столом у Стольниковых, вместе с двоюродными братьями — старшим Володей, будущим прапорщиком Сашей, спортсменом Жоржем и младшим Максом, который был ровно на год старше своего кузена Рони. Кстати, ужинов этих стольниковских Роня не любил. Двоюродные братцы, московские острословы и баловни, не прочь бывали подразнить провинциального кузена из Иваново-Вознесенска. Да и было им чем прихвастнуть перед небогатым родственником!

Один — Володя — умел отлично фотографировать и даже выставлял свои работы в каком-то салоне. Другой — Жорж — был призовым гонщиком на любых мотоциклетах и первоклассным игроком в теннис. Третий — Саша — щеголял военной формой и выправкой. Младший — Макс — прекрасно учился и владел самыми замысловатыми заграничными игрушками, вроде военного корабля, который сам на воде разворачивался

по команде, а по свершении полного разворота стрелял из кормовой пушки, с дымом и пламенем.

Впрочем, в этот день и Роня получил от папы «морской» подарок: целую флотилию корабликов с намагниченными носами. Их пускали в ванне, и можно было менять им курс с помощью маленького магнита.

Вечером, при купании в ванне, Ронька был на седьмом небе от счастья.

Кораблики плавали в бурных водах, обтекали струю из-под кранов, были послушны магниту и точно лавировали между мыльницей, градусником и мочалкой. Мама сама мылила Роньку, а папа сидел тут же в ванной и слушал мамин рассказ про то, как ей удалось приехать с Кавказа так быстро... Ведь папа-то уезжал уже послезавтра! Опоздай она на сутки — и встречи у Стольниковых могло бы и не быть!

Потом Роньку завернули в мохнатую простыню, и папа сам перенес его в прохладную кровать. Роня взял с собой, конечно, и магнит от новой игры, и один из корабликов, кроме всегдашнего, обязательного белого зайца Бяськи, уже чуть не до плешин протертого в Ронькиных объятиях и поэтому особенно любимого.

Утречком Роня проснулся чуть раньше папы и мамы, спавших здесь, в гостях, на широченной турецкой оттоманке, по соседству с Ронькиной кроватью. Он сперва поиграл магнитом и корабликом, потом разглядел на ночном столике около родителей их обручальные кольца, снятые перед сном.

Мальчик попробовал притянуть магнитом эти кольца — но они не поддавались. Папа с мамой проснулись и наблюдали за занятиями сына.

— Почему ваши кольца не тянутся к магниту? — поинтересовался сын.

— Потому что они из благородного металла, — сказала мама наставительно. — Благородные же металлы никакому магнетизму не подвержены... Правда, милый? — повернулась она к папе, и папа засмеялся и поцеловал жену.

Дальше случилось так, что провожать папу на войну пришлось не сразу — его уложенный чемодан еще несколько суток простоял в прихожей у Стольниковых. Причина тому была печальна, но об этом — чуть позже. Однако самый папин отъезд и прощание стали символичны в Рониной судьбе.

Со Стольниковыми расстались сердечно, конца не было поцелуям и объятиям. В стольниковском доме нежностей вообще-то не любили, но тут, на этих проходах, оттаял даже суровый Павел Васильевич. Отсутствовал лишь студент, вольноопределяющийся Саша. Его призвали на учебные военные сборы, чтобы выпустить, как полагалось, прапорщиком запаса, однако теперь, по обстоятельствам военного времени, выпуск предстоял уже не в запас, а прямо в действующую армию. Дальновидный Павел Васильевич уже принимал меры к Сашину будущему устройству.

Стольниковская английская коляска понесла затем папу, маму, Роню и Вику не прямо на вокзал, а сначала в дачную местность Кунцево. Василий-кучер промчал седоков мимо Филей с их стройной красно-белой церковью Покрова, отраженной в зеленоватых водах небольшого пруда в бывших нарышкинских владениях. Мама глянула на это отражение затейливого храма и сказала: «Какая прелесть!»

Папа изредка украдкой поглядывал на часы — в пять вечера поезд его уходил с Александровского вокзала на запад... У мамы под глазами лежали синеватые тени, а глаза то и дело туманились.

Папа велел остановить коляску у входа в старинный Смирновский, или, по-другому, Солдатенковский парк. Его высокие деревья вольно разрослись на возвышенности между селами Крылатским и Кунцевом.

Внизу, под крутым песчаным обрывом, обозначилась чистой синевой река Москва. И за этой речной излучиной сияли вдали купола кремлевских соборов и колоколен, золотело могучее пятиглавие Храма Христа Спасителя, возносились башенные шатры и верха монастырских стен Новодевичьей обители, фабричные трубы, большие новые дома. Угадывались силуэты остроконечных шпилей лютеранской кирхи и католического костела, легко распознавалась новая телефонная

станция в Милютинском, похожая на спичечную коробочку. Ближе стлалась чересполосица огородов в при- сельях, а среди березовых рощиц, садовых лип и цвет- ников уютно прятались дачи. По горизонту, уже в го- родской дымке, темнели дальние сосновые леса. Ни- когда еще Роня так не ощущал огромности Москвы.

Отец довел их до самой кромки приречного откоса, и по утоптанной тропе они все чуть-чуть спустились к площадке под деревом-исполином. Такое дерево Роня видел впервые.

Это был раскидистый каменный дуб в четыре охва- та. Папа очень серьезно объяснил, что его универси- тетский профессор Климент Аркадьевич Тимирязев определил возраст этого дуба в тысячу двести лет. Так вот куда, оказывается, привез папа своих близких проститься!

Они недолго посидели под кроной дерева, полюбо- вались на Москву в полуденных августовских лучах. Роня задира л голову к зеленому куполу кроны и голу- бому зениту. Он заметил, что глаза отца — одинако- вого оттенка с московским небом, а глаза мамы бли- же к цвету древесной листвы, пронизанной светом. Мать все порывалась увести беседу на домашнее, се- мейное, грустное... Но Роня мешал матери, он был слишком захвачен красотой Москвы, привольем, а главное, так сильно ощутимым здесь веянием крыльев таинственной Музы Истории.

Отец улыбался матери, держал ее руку в своей, но обращался больше к Роне и, кажется, был им доволен. Он старался открыть сыну, что такое тысяча двести лет. И Роня чувствовал, будто приоткрывается ему глу- бочайшая пропасть, где струится во мгле река времени.

Кунцевский дуб зеленел здесь, чуть ниже кромки приречного холма, когда еще не зарождалось госуда- рство Киевская Русь. Ведь считается, что России испол- нилось десять с половиной веков (хотя есть города и постарше, Новгород, к примеру). Дереву же на кун- цевском откосе — полных двенадцать!

Значит, когда Юрий Долгорукий посылал сына, Анд- рея Боголюбского, строить дубовую крепость на ле- систом кремлевском холме при впадении рек Яузы и Неглинной в Москва-реку, верстах в двенадцати отсю-

да, этот несрубленный, уцелевший тогда дуб был уже старым, четырехсотлетним великаном. А потом он видел и татар, и поляков, и французов, помнит Пушкина и Тургенева, уцелел в пожаре Москвы при Наполеоне, должен теперь выстоять еще одну жестокую войну...

Жители к нему привыкли, крестьянские девушки водят здесь хороводы и гадают о суженом, старики же рассказывают страшные истории про этот парковый холм с дубом-великаном.

Потому что это вовсе и не природный холм, а насыпное городище древних финских язычников. Они жили здесь за тысячи лет до прихода славян-вятичей и их соседей — кривичей. Городище над Москвою-рекой в Кунцевском парке — самая старая крепость во всем ближнем Подмоскovie. Финские языческие племена насыпали его четыре тысячелетия назад, в те времена, когда египтяне на Ниле возводили свои пирамиды и высекали лики сфинксов.

На самом же верху городища некогда пробилась холодная ключевая струя, и построили там по чьему-то обету небольшую церковь с колоколенкой-звонницей, для освящения родниковой воды. Только дела здешнего причта оказались темными, грешными. Постигла этих греховных служителей кара: провалилась церковь со всем причтом в самую глубь холма; под землю ушла! Доселе, если ночью приложить ухо к земле — услышишь глухой звон погребенного колокола: это грешники молят о спасении душ своих...

Роня сейчас же попробовал вслушаться, но различил только слабый шум листвы и звуки городских окраин.

— Днем-то не услышишь, — сказал на обратном пути Василий-кучер. — А в полночь — беспрерывно разберешь, что звонят снизу. У нас Даша, горничная, ездила сюда летось трамваем. Чуть со страху не обмерла, как прислушалась...

Папа отвечал шутливо, в уступку маминой сухой трезвости и несклонности к фантастическому и таинственному. Она была смолоду чужда всякой мистике. Но чего папа и не подозревал, так это Рониной склонности к необъяснимому, мистическому. Сколько новых ночных теней привели эти папины рассказы в Ро-

нину спальню! Однако не этим стал для Рони символическим и судьбоносным нынешний кунцевский полдень!

Именно в этот час, когда под тысячелетним московским дубом прощалась семья с отъезжавшим на войну отцом, проснулось в мальчике чувство щемящей, болезненно-сладкой любви к Москве, к России, сознание сыновности...

И он примирился даже с папиным отъездом, понимая, что отец едет спасать отчизну от подступившей беды.

Глава третья ОТЧИЙ ДОМ

Первой жертвой войны среди близких маленького Рональда стала его бабушка, Агнесса Лоренс. Мальчика привезли к ней на дачу в Лосиноостровское перед самым папиным отъездом в действующую армию. Именно по дальнейшим печальным обстоятельствам и был отложен на трое суток отъезд поручика Вальдека.

...Вечером, когда ничто еще не предвещало близкого бедственного события, бабушкины гости ужинали на дачной террасе под старой люстрой, случайно уцелевшей от петербургской лоренсовской мебели.

Прощальный семейный ужин бабушка Агнесса устраивала в честь отъезжающих на войну зятьев-офицеров: Олиного Лелика и Сониного Санечки Тростникова.

На проводы приехала из московской казенной квартиры — в Дегтярном, близ Курского, — младшая Ронина тетка Эмма со своим веселым, всегда оживленным брюнетом-мужем Густавом Моргентау. Как гимназический учитель, к тому же негодный к строевой службе по близорукости и астигматизму, он призыву не подлежал и испытывал чувство неловкости перед расстающимися.

За стол посадили и детей: Роника и Вику — под присмотром бонны фрейляйн Берты; долговязую и озорную Сонину дочку Валю и даже годовалую Адочку Моргентау. Мама Эмма держала свою девочку на коленях, оберегая от ее хватких пальчиков тарелку и угрожаемый участок туго накрахмаленной скатерти.

Недоставало за столом только старшей, Матильды, но и та недавно писала матери с модного бельгийского курорта. Письмо это было о парусных яхтах разного фасона, об экстравагантных нарядах, выездных лошадях, пикниках и прочих радостях Матильдиного беззаботного, бездетного, нерусского супружества. Однако и это надушенное дамское письмо шло из Бельгии в Россию что-то необычно долго — может, и его путь уже пересекся где-то с кромками маршрутов маневрирующих армий на европейском театре войны?

Разговор за столом показался Ронику не особенно содержательным. Сам он по дороге к бабушке только что пережил массу интересного и готов был поговорить об этом даже со взрослыми, хотя они обычно лишь притворяются, будто им интересно слушать маленьких.

Поделиться хотелось очень важными впечатлениями. Когда он приехал с родителями в Лосинку от Стольниковых, два часа назад, на перроне стояла группа нарядно одетых дачников — дамы в широкополых шляпах и господа в котелках, канотье и летних костюмах, а чуть поодаль от этих господ маячило несколько жандармских чинов и штатских личностей, подозрительно взиравших на собравшихся. Оказывается, ждали царского поезда. Среди дачников была и тетя Соня с дочкой Валею. Роня стал просить папу и маму, чтобы и они остались встречать поезд, но фрейляйн Берта с маленькой Викой на руках побоялась одна идти к бабушкиной даче, и Роню оставили на станции под прищмотром тети Сони.

Как только родители удалились, появился и поезд. Он шел к Москве. И хотя двигался он мимо перрона довольно медленно, Роня не успел пересчитать вагоны, потому что вглядывался в каждое зеркальное окно, чтобы узнать царя. У Рони уже зарябило в глазах от мелькания этих плывущих мимо вагонных окон с поднятыми и опущенными шторами, как вдруг в одном окне возникло как негаданно-нежданное видение лицо очень красивого мальчика-подростка. Роня отчетливо разглядел нежную линию шеи, вырез отложного воротничка матроски, а позади — женскую фигуру вполоборота и смутно белеющее худое лицо под высокой прической. В толпе на

перроне закричали, замахали букетами, Роня, провожая взглядом цесаревича, упустил из виду следующее окно, и когда тетя Соня дернула его за руку, он различил только плечо белого кителя с офицерским погоном и русую бородку в облачке папиросного дыма.

Когда поезд миновал стрелки, в толпе все еще крестились, а станционный жандарм в мундире со шнурами так и застыл навтыжку, не опуская руки от козырька фуражки...

Разумеется, можно бы поговорить и про войну, но вопреки Рониным ожиданиям оба отбывающих офицера толковали не об аэропланах «Таубе», не о подводных лодках, а о том, что и так ясно без лишних слов. Дескать, Вальдеки ли, Моргентау или Тростниковы — все одинаково чувствуют себя в опасный для отечества момент людьми русскими. Все, мол, коренные москвичи, всем дорог родной русский язык и народ-страдалец. Только вот служить отечеству каждому приходится по-разному: кто едет к войскам в готовности пролить кровь на полях славы, кто впрягается в военно-тыловую лямку, а кого война будто и не коснулась пока.

Роник заметил, однако, что бабушкина горничная Мавра, меняя тарелки и прислушиваясь к застольным разговорам, как-то насмешливо поджала старческие губы, будто не очень-то признавая свое единокровное родство с лютеранскими семействами Моргентау или Вальдек. Да и Ронина бонна фрейляйн Берта тоже как-то все больше глядела в сторону, вздыхала и отмалчивалась. Поддержать патриотическое застолье она уж никак не могла: русский она понимала лишь настолько, сколько успела перенять у своего подопечного Роника. Родом она была из курляндских немцев, а в Москве ничего, кроме Петропавловской кирхи, покамест еще не видела.

Еще один застольный эпизод показался Ронику немного странным и не совсем понятным.

Дядя Саня Тростников в офицерской форме с погонами прапорщика поднял бокал, протянул его папе и провозгласил с деланной серьезностью:

— Ну, Лелик, за веру, царя и отечество!

Смотрел же он при этом с некоторой скрытой шутливостью. Папа ответил таким же скрыто веселым

взглядом, и два офицерских рукава — один с красной, другой с зеленой окантовкой — сблизились, два офицерских взора встретились и обменялись будто тайными улыбками.

Мальчик глянул на дядю Густава — а тот и вовсе улыбался открыто иронически. Зато тетя Соня, мама и бабушка, бледнея от волнения, встали со своих мест друг против друга, чокнулись с серьезными лицами и в один голос сказали что-то вроде: Господи, наших-то спаси и сохрани! И тут-то потеплело и Маврино лицо.

Сразу после фруктового мороженого та же фрейляйн Берта повела старших детей умываться и укладываться в маленькой гостиной, превращенной в детскую. Роня, как обычно, повиновался безропотно, его двоюродная сестричка и ровесница Валя — с капризами и хныканьем. Самых маленьких девочек — Вику Вальдек и Адочку Моргентау — где-то уже баюкали их мамы и папы. Фрейляйн Берта проследила, чтобы перед сном Роник прочитал по-немецки «Фатер унзер» и стишок «Их бин клайн, майн херц ист райн, ниманд воонт дарин алс готт аллайн», принесла в комнату маленькую лампу с жестяным щитком, прикрутила в ней фитиль, сказала старшим детям «гуте нахт!» и оставила их одних.

Роник мирно повернулся на бок, а его предприимчивая кузина Валя немедленно пустилась в похождения: выскользнула из постели, прокралась в коридор, оттуда — в одной рубашке — на задний двор дачи. Там она постаралась всполошить давно спавших хозяйских кур. Воротясь из своей экспедиции, она нахвасталась Роне, что куры раскудахтались и разлетелись по всему двору и теперь обозленная дачевладелица непременно должна прибежать к бабушке с жалобой. Посему Валя поторопилась задуть робкий огонек в лампе и спрятаться под одеялом.

Мальчика эта история растревожила. С открытыми во тьму глазами он все ждал причитаний хозяйки, женщины пухлой и доброй, днем поившей Роню и Валу липовым чаем. Да и жаль было перепутанных кур, клевавших зерна из Рониных рук еще перед самым вечером. В этих треволнениях он незаметно уснул.

Под утро что-то негромкое и опасное все же в доме произошло. Внизу и вверх, где спали гости, слышались

лись голоса. Кто-то посторонний и впрямь прошел коридором к бабушке, но заговорил мужским басом и как будто не о курином переполохе. Несколько этим успокоенный, мальчик глубже ушел в сны о царском поезде, а после пробуждения обрадовался, увидев в комнате сосем одетую маму. Но лицо у мамы было застывшее и чужое. На соседней постели уже сидела Валя и одевалась сама, без капризов и без посторонней помощи. Видимо, что-то случилось. Мама выговорила сдавленным, тоже не своим голосом:

— Дети, собирайтесь быстрее. Пойдемте к бабушке проститься.

— А разве бабушка тоже уезжает на войну? — глупо удивилась Валя.

Мама утирала глаза Рониным полотенцем. Она сказала про бабушку что-то не очень понятное, но такое морозящее кожу, будто в комнату вмиг ворвалась зима.

Мальчик содрогнулся. Не вчерашняя ли шалость причиной несчастья. Он страшился перевести взгляд на Валю — ей-то, прямой виновнице, каково сейчас на душе? Но и сам он не мог уйти от ощущения соучастия, он же ничего не сделал, чтобы остановить Валю, отговорить ее... А та вдруг спросила маму обыкновенным скучным голосом:

— Тетя Оля, а бабушка — уже насовсем скончалась?

Мама ответила раздельно, как на уроке:

— Стыдно тебе, Валя! Большая девочка, должна понимать, какое горе... Все это война наделала. У бабушки... сердце не выдержало.



В большой гостиной, на двух составленных вместе и укрытых белыми пикейными одеялами ломберных столах, лежала бабушка.

Из-за опущенных штор в гостиной был непривычный полумрак. Висящее в простейке зеркало укрыли белым вместе с овальной рамой. В головах у бабушки стоял массивный подсвечник, но горела в нем тоненькая восковая свечка. Принесла и зажгла ее заплаканная Мавра. Она прислонила к подсвечнику еще и маленькую, обтертую от пыли иконку из кухонного угла.

Соня и Эмма с такими же застывшими, как у мамы, лицами, убрали стол и бабушку садовыми цветами, еще чуть влажными от росы. Незнакомый мужчина прятал в карман складной аршин, кланялся папе и уверял, что часа через два все будет доставлено в лучшем виде.

Мавра взяла Роника за руку, подвела к бабушке, шепнула ему:

— Молись, внучек, за бабушку, чтобы и она, милостивица, царствие Божие узрела. Подай ей, Господи, за жизнь ее праведную!..

Теплый отблеск свечи ложился на бабушкин лоб. Мальчика поставили на стул. Теперь он глядел на бабушку сверху.

Она лежала причесанная, от груди до ног прикрытая белым, и Роне указали на сложенные бабушкины руки, чтобы он поцеловал их. Губы его ощутили холод, но прикосновение не напугало, потому что, целуя неживую руку, он успел хорошо разглядеть и узнать каждую черточку привычно милых бабушкиных пальцев.

Осмелев, он приблизился губами и к недвижному лицу, но сразу же понял, что бабушке нет больше дела ни до него, ни до всего, творящегося вокруг.

Черты бабушкиного лица были глубоко сосредоточены на чем-то столь важном, чему ни у Рони, ни у кого вообще нету настоящего слова, и чему мешать невозможно и грешно.

И он не отважился погладить ей волосы и поцеловать в лоб, чтобы не потревожить бабушкиной отрешенности, ее нездешней думы.



С той минуты, когда во двор въезжала лошадка и возчики пронесли что-то продолговатое в бабушкины покои, а потом уж до самого вечера на дачу приносили и привозили венки с лентами, осенние букеты, хвойные гирлянды, перевитые цветами.

В комнатах толпилось великое множество народу. Приезжал в коляске парой лютеранский пастор в черном одеянии с белыми ленточками, ниспадавшими с воротника на пасторскую грудь. Узнал Роня в толпе тетю

Аделаиду Стольникову и очень серьезного Павла Васильевича.

Поздним вечером, когда венки и цветы зачем-то вынесли из большой гостиной на террасу, Сониная девочка Валя ни за что не соглашалась лечь отдельно от матери и страшилась даже проشمгнуть мимо дверей в большую гостиную. Роня же сам пошел туда проститься с бабушкой перед сном, как привык делать это каждый день, пока живал здесь подольше. Ему и в голову не приходило бояться неподвижной бабушки, а такие слова, как «покойница», «гроб», «могила», не задерживались в его сознании и еще не смущали его духа.

Но мама сама поскорее увела его из комнаты с постаментом и сама уложила в кроватку, вместе с ним помолилась на ночь и в этот раз оставила спать в соседстве с фрейляйн Бертой.

На следующее утро длинная процессия экипажей медленно двигалась из Лосиноостровского к Лефортову, следом за белым катафалком. Путь показался Роне очень долгим. Мальчик ехал в хвосте процессии вместе с Бертой, Валею, Викой и тетей Соней. Они все чуть-чуть оживились, когда извозчик должен был остановиться, чтобы у колонки напоить лошадь, а потом, наверстывая, проехал вдогонку за остальными экипажами рысцой.

Прощальное богослужение в кладбищенской церкви шло с певчими, под переливы небольшого органа. За толпою взрослых мальчик не видел того, что происходило перед алтарем — скамьи для прихожан из-за тесноты пришлось убрать, и люди стояли, как в православной церкви. Все посторонились, когда два служителя протеснились вперед, и по толпе провожающих прошло будто дуновение ветра, отчего одни потупились, другие прослезились, а мама и тети заплакали горше, отчаяннее.

Более всего запечатлелись в памяти мальчика две большие кучи желтого песка и промеж них — глубокий, тесный, черный провал.

Пастор произнес по-немецки молитвенные слова, толпа сгрудилась, блеснули лопаты. Мальчик видел маму, рыдающую на самом краю, и только теперь понял, что бабушку привезли сюда, чтобы закопать в этой

глубокой страшной яме. Ему сунули в руку совочек, велели зачерпнуть песку и бросить вниз, на гробовую крышку, уже почти засыпанную.

Очень быстро вырос продолговатый песчаный холм, и тут же он исчез под множеством венков и букетов, превратился в зеленую горку со слабо реющими шелковыми лентами, колыханием черных и золотистых букв. Из этих венков и зелени невысоко поднялся деревянный временный крестик — чуть сбоку от гранитной плиты с именем дедушки Юлия Лоренса, которого мальчик не помнил, равно как и дедушку и бабушку Вальдек, тоже упокоившихся лет пять назад здесь, под березами Иноверческого кладбища на Введенских горах, в Лефортове. Возникло это кладбище еще во времена Кукуйские. Неподалеку от Вальдеков лежал в земле сподвижник Петра Лефорт.

Когда все провожающие уселись по экипажам, мама с папой взяли своего Роника к себе и уже велели было ехать, но маму потянуло назад — побыть у могилы одной. Сын тут — не помеха, она и его повела за собой по тем же аллеям и дорожкам. На кладбище он был впервые за всю свою шестилетнюю жизнь и только начал постигать, что происходит с человеческим телом, когда покидает его невидимка-душа.

Они с мамой сели у зеленой горки с шуршащими лентами.

Пахло сырым песком и растоптанной хвоей. Было тепло и тихо. Мальчик разобрал надпись на белой табличке, приделанной к новому временному кресту:

«АГНЕССА АЛЕКСАНДРОВНА ЛОРЕНС,
УРОЖДЕННАЯ ЮЛЕНШТЕДТ».

И тут пронзила мальчика невыносимо острая жальность к зарытой бабушке. Он внезапным прозрением осознал и ужас, и непоправимость смерти. Он прижился к матери и плакал неутешно.

А мама опустила на колени, не страшась холода и сырости могильной земли. Она молилась о возносящейся душе матери и к ней же взывала о заступничестве перед силами небесными.

Ведь завтра, Боже мой, уже завтра, сама она сядет с детьми и бонной в поезд до Иваново-Вознесенска,

но двумя-тремя часами раньше они успеют проводить с другого московского вокзала другой поезд, что увезет их папу, ее Лелика, далеко на Запад, чуть не прямо под немецкую шрапнель.

2

У Ольги Юльевны Вальдек, при ее довольно решительном характере успели отстояться уже и определенные жизненные принципы, так сказать, наследственные и благоприобретенные.

В общем-то, она сама выбрала судьбу себе по вкусу. Еще в гимназии она усвоила афоризм римских стоиков: волентем дукунт фата, нолентем трахунт, то есть: охочего судьба ведет, неохочего — тащит. И хорошенько осознав изречение, она смолоду решила держаться только первой части этой формулы. Поняла она, что для этого требуется известная жизненная активность, умение желать и способность сознательно выбирать.

С гимназических времен положила она непременно выйти за обрусевшего немца, разумеется, интеллигентного и порядочного.

По ее наблюдениям, — да и мать склонялась к тому же, — именно эти представители человеческого рода обладают достоинствами обеих наций — и русской, и немецкой, — в то время как национальные недостатки в них сглажены.

В характере русском Ольга опасалась переменчивости, склонности к душевному надрыву, неуравновешенным поступкам, безудержным грехопадениям, а затем — к излишним покаяниям. Пугала Ольгу в русском характере смесь барского с холопьем, голубинной кротости с азиатской жестокостью. Смущала русская необузданность страстей, бездумная широта натуры, тяготение к расточительству, а наряду с этим — внезапное крохоборство, приливы злобной жадности, бессмысленное накопительство. В русской душе, по мнению Ольги, тяга к аскетизму и духовности противоречиво соседствует с полнейшей неустойчивостью к искушениям зеленого змия.

В натуре же немецкой Ольге претила спесь, бюргерская чванливость и безапелляционность суждений,

неспособность подходить к чему бы то ни было не со своей меркой; мелочная бережливость, скучная узость, даже скупость в повседневном быту, особенно неприятная в мужчинах. Отталкивало Ольгу свойственное немцам чинопочитание, их рабское преклонение перед любыми рецептами и предписаниями благословенного фатерланда.

Вот эти-то крайние, неприятные черты национального характера двух соседствующих народов, по мнению Ольги, сглаживались и стирались при смешивании, в особях как бы пограничных.

Нечто схожее она наблюдала в природе.

Расстилается вот, за вагонным окном на пути из Москвы в Ивано-Вознесенск, красивый, лишь чуть-чуть тронутый увяданием лиственный лес. Он красочен и трогателен осенью, свеж и прекрасен в летние месяцы, но зимой уж больно жалок и вовсе не гоже в строительное дело. Хвойный же лес, провожавший поезд накануне, слишком суров и мрачен, сулит, однако же, хозяйственные выгоды и в любое время года величав. Вот и получается — всего лучше лес смешанный! И взору отрада всегда, и на любые поделки материалу даст. Так и с людьми...

Понятия же интеллигентный и порядочный Ольга никогда и не трудилась определять в конкретности, до того они были ей интуитивно ясны, безо всяких там детализаций!

Интеллигентный?

Ну, это, разумеется, человек образованный, обычно и дипломированный, деятель труда умственного, как правило, приобретший не только гуманитарную или техническую специальность, но уже и некоторый авторитет в этой своей области; человек, непременно владеющий иностранными языками, много читающий и путешествующий, притом умеющий ненавязчиво пользоваться этими духовными богатствами в разговоре. Человек, имеющий, кроме знаний профессиональных, еще непременно и чисто гуманитарные интересы, лучше даже прямо какое-нибудь дарование — музыкальное, поэтическое, артистическое, художественное. Однако же, настоящий смысл все эти качества личности интеллигентной приобретают лишь в том случае, если

зидятся на прочном фундаменте имущественного благополучия.

Конечно, само понятие «уметь» предполагает в будущем также и смежное понятие «иметь», но все же отраднее, если материальные имущественные плоды умения не созревают у тебя на глазах, параллельно твоему старению, а сразу сопутствуют тебе смолоду, что очень и очень удлинняет и твою молодость, и весь вообще «возраст красоты». Мнение насчет рая с милым в шалаше Ольга всегда отвергала с презрением. С ее понятиями о порядочности никакие шалаши вязаться не могут!

Ах, порядочность?..

Да, это понятие Ольга Юльевна старается и Роне внушить сызмальства.

Порядочный человек — это не просто лицо обеспеченное, состоятельное, родовитое. Это, кроме того, еще и носитель из поколения в поколение того же кодекса норм и правил, в которых воспитывалась она сама. Кодекс включает нормы жизни нравственной и общественной, светской.

Нормы нравственные сводились для Ольги Юльевны к десяти евангельским заповедям, чуть-чуть модернизированным применительно к XX столетию. Она не пыталась особенно углубляться в размышления, почему заповеди оказались столь жизненными на протяжении двух тысячелетий. Причину тому она усматривала в мудрости творца заповедей и в неизменности человеческой природы.

А вот в нормах поведения внешнего самым важным признаком человека порядочного Ольга считала светский такт и безупречные манеры. Человек мог быть эталоном всех добродетелей, кладезем премудрости и подвижником в общественном служении, но если он вульгарно жестикулировал, ел рыбу ножом, чесался в гостиной, цыкал зубом или хрупал яблоком — она не смогла бы увидеть в нем человека порядочного.

Впрочем...

Если мужчина проникнется сознанием, что его дело — добывать в нужном количестве средства, а дело женщины — украшать ему с помощью этих средств

жизненное бытие, то, при любых прочих условиях, такой мужчина уже не безнадежен в смысле порядочности и со временем может стать, что называется, комильфо. Тут уж женщина сама должна прилагать к нему все мыслимые усилия!

А вот сильно постаревший Ольгин дядя, отставной контр-адмирал, предводитель дворянства в своей губернии, Николай Александрович Юлленштедт, по слабости здоровья не приезжавший в Москву даже на похороны сестры, дал однажды Ольге Юльевне куда более простой, вовсе лаконичный рецепт для воспитания сына порядочным человеком.

«Ты, Оленька, — говорил он некогда молодой матери, своей любимой племяннице, — научи Рональда всего-навсего трем вещам: уметь выбрать свой курс, соблюдать дистанцию и всегда совершать лишь такие поступки, о которых не стыдно рассказать за обедом в кают-компании».

Много же лет понадобилось Вальдеку-младшему, чтобы понять: самые тяжкие страдания в его жизни проистекли как раз от несоблюдения этого дедовского завета!..

Ольга Юльевна воспитывала не только детей, но и всех прочих домочадцев. Барыня поучала бонну, кухарку, Викину кормилицу Зину, теперь живущую в горничных, и дворника. Всем им она тоже старалась привить свои принципы, соответственно положению этих людей на ступенях общественной лестницы.

Барыня вела дом по часам и почти воински-четкому распорядку. Вставала рано — по примеру Екатерины Второй. Ольга боготворила великую императрицу, бессознательно подражала ее осанке и гордилась, когда знакомые находили в ней нечто схожее с портретами Екатерины.

Не склонная ни к аскезе, ни к религиозной экзальтации, барыня-лютеранка все-таки считала полезным соблюдение православных постов. Это благоприятно влияло на моральные устои домочадцев и на барынин хозяйственный бюджет.

После раздольной масленицы в доме сухо шуршали связки белых грибов, а из ледника во дворе доставали по воскресеньям примороженных судаков, белорыби-

цу и красную рыбу, закупленную с возов у рыбаков-обозников, что зимою развозят товар по среднерусским городам, отдаленным от Поволжья.

Главным правилом домоводства барыня Вальдек справедливо полагала изречение своей покойной матери Агнессы Лоренс: «Каждой вещи — свое место, каждому делу — свое время».

Источником всех пороков Ольга Юльевна, как и ее мать, считала праздность. Поэтому оба чада и все без исключения домочадцы должны были с минуты пробуждения до отхода ко сну безостановочно заниматься положенной по расписанию полезной деятельностью, чтобы ни единой минуты не утекало зря.

В выборе знакомств Ольга Юльевна была строга и разборчива. Только несколько семейств в городе она удостаивала знакомства домами. Так, в годы предвоенные она допускала легчайший, изящный флирт с владельцем фабрики, пригласившим Алексея Вальдека руководить производством. Этот средних лет купец был холост, красив, умен, блестяще образован, смел в делах и суждениях, но робок и почтителен в уходе за собой. В своих отношениях с ним она, по дядиному завету, «соблюдала дистанцию», но неожиданная его гибель в первый же месяц войны причинила ей настоящую сердечную боль. Не уклонившийся из гордости от гризыва, он попал в прифронтовое интендантство и был зарезан из-за угла наймитом интендантских жуликов, опасавшихся с его стороны разоблачения.

После столь необычной смерти хозяина фабрики было вскрыто его нотариальное завещание — выплачивать из фабричных доходов вплоть до полного окончания военных действий, половинный оклад всем инженерам фабрики, призванным в действующую армию, независимо от их армейского жалованья. Ольга регулярно получала эти деньги, ежемесячно приносимые ей в конверте из фабричной конторы. Сразу же она отсылала или отвозила их в Москву, в родственник-ский стольниковский банк — так посоветовал ей муж и его сестра, Аделаида Стольникова.

На житейские расходы Ольге Юльевне вполне доставало мужниного офицерского жалованья. Две трети этого жалованья ежемесячно приходили почтовыми пе-

реводами в Иваново-Вознесенск из действующей армии. И всякий раз, получая перевод, Ольга Юльевна готова была расплакаться, звала Роню, обнимала его, ставила на колени и вместе с ним молила Бога о сохранении отца невредимым.

Дружили Вальдеки со своими соседями — их сады были смежными, дети играли вместе. Глава этого семейства, тоже капитан-артиллерист, Микулин воевал где-то неподалеку от Лелика на полях галицийских.

Две богатых, меценатствующих семьи — Любомирские и Донатович, — жившие в домах-дворцах, семья известного адвоката Коральджи да еще видный инженер Благов, служивший директором Большой Томненской мануфактуры близ Кинешмы и частенько наведывавшийся к Вальдекам — вот и весь круг местных знакомств Ольги Юльевны в тихие зимние дни роковых военных лет.

По-деревенски широкая улица называлась Первой Борисовской. Семейство Вальдек снимало там уютный одноэтажный особняк с большим садом. Его раскидистые кроны и частые кустарники приглушали далекие шумы и резкие запахи российского Манчестера.



А мальчик замкнуто жил своей не очень простой жизнью.

В пять лет его научили читать и писать на русском и немецком. Французский же он в этом нежном возрасте начинал уже... забывать! Потому что усвоил его еще раньше, в доме своего крестного отца месье Мориса Шапелье. У этого французского химика Алексей Александрович стажировался в Москве перед защитой диплома. Пожилой холостяк-француз полюбил младшего коллегу, и они подружились. Позднее месье Шапелье перенес свое расположение и на Ольгу, а затем — на своего крестника, маленького Рональда.

Хозяйство Мориса Шапелье вела в Москве мадам Элиз, средних лет парижанка, отчаянно скучавшая в чужой и непонятной России. День-деньской мадам Элиз томилась одиночеством в квартире на Остоженке и очень радовалась, когда чета Вальдеков, уезжая в какое-нибудь отпускное турне, соглашалась оставить

мальчика на ее попечении. Роня подолгу жила у нее и в трех- и в четырехлетнем возрасте, легко перенимая у мадам весь шик ее грациозного парижского арга.

Однако в глухом Иваново-Вознесенске мальчишесверстники и дети постарше, разумеется, потихоньку от взрослых, жестоко дразнили и зло высмеивали Роньку за его парижский прононс. Дети до того изводили его насмешками, что он изо всех сил старался поскорее забыть свой французский, в чем и преуспел! Родители обращались к сыну на французском, а он упрямо отвечал им по-русски. Потом появилась в доме фрейляйн Берта. Конечно, в ее присутствии никто не смел дразнить Роню. Бонна не спускала с него глаз целыми днями, но изъясняться друг с другом они могли только по-немецки, потому что Ольга Юльевна просила бонну русским дома не пользоваться, французского же та не знала.

Немецкий язык полюбился Роне именно как язык обиходный, домашний. Он казался уютным, как скрипучие кресла или ночные туфли. Однако, когда началась война, говорить по-немецки при незнакомых, на улице или в театре стало рискованно, могло навлечь неприятности.

Ольге Юльевне хотелось, чтобы сын со временем тоже поступил в московскую «Петрипауликнабеншюле» (где, кстати, война никаких изменений в учебные программы и в состав учителей не внесла). В продолжительность нелепой, противоестественной русско-немецкой войны Ольга Юльевна верить никак не хотела и, вопреки иным косым взглядам, сохранила в своем домашнем штате фрейляйн Берту. Впрочем, на ивановских улицах бонне велено было больше помалкивать (абер смаул хальтен!) или пользоваться набором заученных русских фраз. Роньке же не возбранялось всласть изъясняться в городе по-русски. Именно за эту свободу думать и говорить на родном языке он очень полюбил пыльные, пахнувшие кислотами улицы Иваново-Вознесенска.

День у Рони был сурово регламентирован.

Все утро до прогулки — в саду или по соседним улицам, на лыжах, с саночками или же с мячиком и серсо — шестилетний мальчик проводил за учебника-

ми, тетрадами или за роялем. Музыка учила его мама, русским и арифметикой занимался с ним приглашенный репетитор Коля, студент Иваново-Вознесенского училища фабрично-заводских механиков*.

Заниматься с Колей, а потом играть с ним в войну или в индейцев было чудесно, но всякое счастье пролетает быстро.

Роник вскоре после появления в доме Коли начал замечать какую-то перемену во внешнем облике фрейляйн Берты. Ее бледное лицо стало гораздо красивее и веселее. Она явно оживлялась, когда в передней раздавался звонок и Колин голос. Ее скромный костюм сделался более нарядным. Мальчик очень радовался, что добрый, веселый и умный Коля нравится и строгой фрейляйн Берте.

Потом фрейляйн стала отлучаться вечерами из дому — чего ранее никогда не бывало. Кончились отлучки печально. Занятия с Колей вдруг прекратились, а фрейляйн несколько дней ходила с заплаканными глазами. Случалось, что и во время немецкого урока с Роней она отворачивалась и прижимала к глазам платок. Мальчик ужасно жалел ее, утешал и никак не мог понять, почему нельзя рассказать маме про эти слезы. Под страшным секретом фрейляйн призналась ему, что в ее девичьей жизни однажды нечто подобное уже произошло, почему она и решила уехать из родной Курляндии, от строгой матери, очень похожей, по ее словам, на «фрау Ольга Вальдек». Мальчик не все понял, но все же попытался задобрить свою мамашу и заступиться за фрейляйн.

Мама небрежно погладила его по головке и посоветовала хорошенько учить уроки, если он желает развеселить свою бонну и доставить ей удовольствие. Уроки он учил усердно, однако фрейляйн Берта почему-то веселее не становилась!

После прогулки ему иногда позволяли поиграть, но чаще занятия, устные и письменные, тянулись до самого обеда. Арифметика, бывшая при Коле легкой и ин-

* Автор сознательно избрал слово «студент», ибо то Ивановское училище было первоклассным и выпускало инженерно-мыслящих специалистов-механиков.

тересной, стала сущей мукой — мама взялась за эти уроки сама, толком ничего не объясняла, а спрашивала очень строго. Музыкальные занятия тоже давали не очень-то много проку и радости.

Обед! О, за столом требовалась особенная выдержка. Если блюдо нравилось и Роня ел с охотой — следовали замечания насчет неизящных манер и набитого рта. Если же еда не нравилась, об этом ни в коем случае нельзя было даже намекнуть вслух, притом «не делать кислого лица», «не спать над тарелкой» и всегда считаться с перспективой остаться без сладкого. Если за обедом бывали гости — здешние или приезжие, — мамино внимание обычно отвлекалось и только бонна занималась Рониными манерами. Это все-таки было полегче маминой муштры.

Проходил обед. Начиналось чтение вслух.

Сначала бонна часа два читала мальчику немецкие юношеские книги. Рассказы о морских приключениях Капитана Марриэтта или индейские повести Карла Майя и Фенимора Купера. Книги Сетон-Томпсона о животных. Все это в добротных подарочных изданиях с цветными картинками и гравированными рисунками.

Потом сам Рональд читал своей бонне немецкие тексты по толстым хрестоматиям вроде «Дер гуте камерад» или «Дер югенд Хаймгартен». Там были занятные истории о великих людях, рассказы о путешествиях и войнах, где трудолюбивые, brave немецкие юноши, пламенно обожавшие фатерланд, убегали из родительских домов либо в прерии, либо на войну, выходили победителями из любых передряг и возвращались в фатерланд богачами, осушая этим слезы стареньких немецких мамаш.

Кончалось чтение — следовали полчаса экзерсисов на рояле, потом можно было гулять, играть или читать книжки по-русски, в изданиях Девриена, Вольфа, часто в серии «Золотая библиотека».

С героями этих книг он вступал в особенные личные отношения и говорить об этом ни с кем не хотел. Это был его собственный мир, открытый только для пришельцев со страниц книжных.

Робинзону Крузо он слегка завидовал, считал его счастливецом, но отнюдь не героем, ибо искренне верил,

что сам управился бы на острове не хуже Робинзона. А дойдя до гибели Пятницы, мальчик сперва вовсе не поверил в эту смерть, восстал против нее, надеялся, что за ночь в книге исчезнет эта страница. Когда же она и не подумала исчезнуть, и стрела опять пронзила Пятницу в том же абзаце, мальчик книгу отложил и больше никогда ее не открывал. Он и не играл в Робинзона и Пятницу, чтобы не думать о конце такого верного друга.

Зато барона Мюнхгаузена мальчик очень любил за оптимизм, и в душе, никому в том не признаваясь, склонен был относиться к историям барона с известной долей доверия. Барон казался ему талантливым избранником фортуны, человеком удачи, умеющим невозможное делать возможным благодаря дару воображения и жизнелюбия.

Любил он и полную противоположность барону — всадника на Россинанте, идальго Кихота из Ламанчи.

Мальчик чувствовал тайную общность с ними обоими, потому что и тот, и другой, находясь среди людей и вещей обыкновенных, переносили их силою воображения в мир фантастический. Точно так же и сам Роня, обитая среди людей и вещей обыкновенных, жил еще и некой внутренней жизнью в мире фантастическом и нереальном, мире мистическом и страшном.

Барона Мюнхгаузена он и ценил именно за его умение находить верный выход, пусть фантастический, из реальных жизненных затруднений. Да, он был склонен верить изобретательному барону! Основа всякой победы — полная уверенность в собственных силах и возможностях, а в этом-то и заключалась тайна успехов барона-фантазера.

Идальго же на Россинанте не был рожден для победы и успеха, хотя его высокий дар воображения не уступал баронству. Идальго тоже никогда не уклонялся от опасностей, бросался им навстречу, но всегда проигрывал битву.

Мальчик втайне презирал своих сверстников, хохотавших над неудачами Дон Кихота. Ему, Рональду, было не до смеха! Он сознавал свое духовное родство с Дон Кихотом.

Мудрость Дон Кихота заключалась в том, что он не мог верить безобидности мельниц, подлых табунщиков,

вероломных бурдюков. Мальчик им тоже не верил.

Как и внутренне зоркий Дон Кихот, мальчик прекрасно знал, сколько зла и коварства таят все предметы и явления нашего обманчиво-реального мира, враждебного вольному рыцарскому духу! Маленький читатель сокращенного или, как говорили, адаптированного Сервантеса рано догадывался насчет правоты Дон Кихота, сочувствовал стремлению сокрушить стародавний обман мельниц, бурдюков и свиней. Но, увы, мельницы, бурдюки и свиньи одолевали благородного и прозорливого идальго. В отличие от барона Мюнхгаузена Дон Кихот терпел унижения, бедствовал и страдал. Даже от рук узников, которых освободил, вступив за них в бой с конвоирами.

Жестокие поражения терпел в своих битвах и сам мальчик Рональд!

Ведь он тоже кое-что знал о тайном коварстве мнимо безобидных предметов, будто бы самых обыкновенных и бесхитростных!

Как удивительно ловко они маскировались! Как хорошо и убедительно они умели принимать обличье простых шкафов, дверей, вешалок, семейных портретов, стульев и кресел! А зеркала... Боже мой! Большие, обманчиво спокойные, холодные — сколько тайн они скрывали!

Днем эти предметы притворялись добродушными и дружелюбными. Порой им даже удавалось перехитрить мальчика, обмануть его дон-кихотскую прозорливую бдительность. Тогда он на время утрачивал осторожность и готов был поддаться успокоительной дневной мистификации вещей-оборотней.

Но чем ближе подходил зимний вечер, чем явственнее протягивались лучики звезд сквозь морозный иней и черные тени веток на оконных стеклах, тем острее и отчаяннее охватывало мальчика тоскливое предчувствие надвигающегося ужаса.

Он страшился ночного мрака, томительного одиночества в большой холодной постели и своей полной незащищенности от могущественного тысячеликого Зла, черпающего силу в глухих недрах тьмы.

Приказание идти спать было приговором на муку, на медленную казнь. Разумеется, возражений в доме

госпожи Вальдек никто ни от кого не слышал, они исключались заранее. Взмолиться о пощаде было бы столь же бесполезно и бессмысленно, как просить отсрочить заход солнца. все подчинено божеству о р д н у н г ! Оно — альфа и омега бытия. И мальчик шел к постели, как на эшафот.

Этому предшествовал лучший час всего прожитого дня, один час радости после ритуального общесемейного вечернего чая. Из столовой горничная Зина, бывшая Викина кормилица, уносила отслужившую свой день крахмальную скатерть, и детям позволяли поиграть в тихие игры на всем просторе огромного обеденного стола. Он оставался теперь до следующего дня лишь под серым суконным ковром с серебристыми аппликациями или под зеленоватым покрывалом с золотыми разводами.

Играли в зоологическое лото, настольные скачки («только без азарта, детки!») или в автомобильные гонки, хальму и рич-рич. Рональду иногда позволяли расставлять на столе полки его солдатиков и устраивать им смотр-парад. Открывать военные действия и стрелять из пушки на ночь не разрешалось. Но даже простой смотр войскам бывал событием, если удавалось выстроить всех солдатиков.

Основу Рониных армий составляли две коробки английских солдат в красных и синих униформах с пуговицами. В каждой коробке укладывалось по два десятка таких гренадеров. Роня всех их знал в лицо, как Наполеон своих старых гвардейцев.

Хороши были и старинные русские кавалеристы — кирасиры на белых и гусары на гнедых конях. У них тоже были индивидуальные имена, характеры и привычки. Иногда кто-нибудь из них давал игре совсем не то направление, как задумывал их полководец Роня, подобно тому, как литературные герои подчас путают замыслы писателей-авторов.

За конницей строились зеленые пехотинцы и опять гарцевали всадники помельче — черно-красные казаки, донцы и кубанцы. Папа подарил их перед отъездом в армию, они уже не походили добротой на старые русские и английские.

Было еще много каких-то вовсе уж разномастных трубачей, сигнальщиков, барабанщиков и знаменосцев,

очень красивых на смотре, но самых шатких и неустойчивых, когда дело доходило до боя. Эти бои, особенно если в них участвовал репетитор Коля, начинались артиллерийской дуэлью через всю длину стола. По его торцовым сторонам противники строили замысловатые крепости из кубиков и дырчатых пластин деревянного конструктора. В укреплениях маскировались солдаты. Позади крепостей оставляли место для огневых позиций артиллерии. Так как пушек покрупнее имелось всего три, и запас снарядов был ограничен (три деревянных ядра и поддюжины утяжеленных цилиндриков), то огонь велся по очереди — пушки переходили то к Роне, то к Коле. Когда же Коля перестал приходить на Первую Борисовскую, Роне приходилось воевать и на той, и на этой стороне, за русских и за германцев.

Сражаясь против Коли, Роня всегда бывал, конечно, русским. Перед началом сражения двоих самых красивых и массивных кавалеристов возводили в царское достоинство — они становились российским государем и германским Вильгельмом. Противники старались лучше укрыть этих коронованных особ в недрах крепостей, и случалось, что только оба царя и противостояли друг другу до конца сражения. Наконец, один из царей падал под выстрелами. Тогда царь-победитель выезжал гарцевать перед руинами крепости в полном одиночестве, даже без адъютанта.

Но били часы.

Над столом гасили большую керосиновую люстру с хрустальными подвесками и наполненным дробью полупудовым шаром. Фрейляйн Берта уводила в нагретую ванную, потом в детскую маленькую Вику, а Роне оставляли еще четверть часа на то, чтобы разложить по коробочкам и скачки, и автомобильчики, и кубики, и части конструктора, и солдатиков, отнести все это в детскую и уложить коробки по местам. Это были последние минуты дня, но уже безрадостные, уже отравленные предчувствием ночных страхов.

Его клали не в детской, с Викой и бонной, а в родительской спальне, на папином месте. Он сам выпросил себе эту привилегию, но этим же обрек себя на долгие часы одиночества, пока мама разбирала в папином ка-

бинете почту, читала свежие номера «Огонька», «Вокруг света» и «Нивы», со всеми их бесчисленными приложениями. Просматривала она и выписанные для Рони «Задушевное слово», «Светлячок» и какие-то заграничные детские журналы, приходившие, однако, с большими перебоями.

Ольга Юльевна любила эти часы вечернего одиночества в мужнином кабинете, увешанном картами фронтов. В доме он назывался «красным» и находился рядом с маминым «зеленым». Иногда мама принимала в зеленом кабинете гостей, по утрам занималась там с Роней арифметикой, но вечерние часы любила коротать «у папы».

...У Рони уже уложены по местам игрушки и книги, но и при умывании он все старается подольше провозиться с кранами и зубной щеткой, оттягивая час, когда нужно залезать под холодные простыни.

Слышно, как в столовой опять, внушительно и властно, ударили часы. Половина десятого.

В спальню приходит мама, проводить Роню ко сну. Он становится в постели на колени. У самых глаз его — резное афонское распятие, приятно пахнущее кипарисом. Его привезла мама с Кавказа и подвесила на голубой ленточке к изголовью папиной кровати, где теперь спит Роня. Он, как ему велено, складывает ладони и затверженно произносит немецкие слова молитвы.

При этом у него всегда одно и то же ощущение: грешно молиться на языке врага. Молитва — не настоящая, на ненастоящем языке, ненастоящему Богу. Никакой помощи себе он от этой молитвы не ждет, хотя всем существом жаждет избавления. Пожалуй, только афонский крестик — защита, но его запрещено брать в руки, тянуться к нему, а оттуда, сверху, со спинки кровати — разве он укроет, заслонит от призраков?

Мать не умеет понять, в каком мраке живет ее первенец, и, главное, как доступны и несложны средства спасения. Она целует Роню и... уносит охранительницу-лампу.

Только луна и слабое свечение зимнего неба — отблеск фабричных огней — угадываются за кружевными занавесями. Гаснет и щелка в дверях спальни — значит, потушены бронзовые светильники в коридоре

и прихожей. Мама вернулась в кабинет. Теперь вся эта часть дома — прихожая, столовая, гостиная и спальня — пусты и отданы во власть силам тьмы. Роня остается с ними один на один.

Свое присутствие в комнате они обнаруживают всегда по-разному. Бывает, что тут же затевают возню — с мышинными шорохами и крысиным писком перекатываются поверх одеял, через всю ширь двух постелей, маминой и Рониной, будто гоняются друг за дружкой, вовсе и позабыв о мальчике, костенеющем в страхе.

Но чаще они вступают во владение темной частью дома в глубокой настороженной тишине. Роня безошибочно ощущает их присутствие, чувствует себя под их пристальным оком. Ни шелеста, ни писка — только напряженная тишина неведомой опасности, медленно нагнетающая страх. Вот-вот эта тишина взорвется нечеловеческим криком, грохотом вселенской катастрофы, воем жертв.

Напряжение все длится и длится, мальчик с зажмуренными глазами вжимается в подушку, но взрыва и выкрика не происходит. Тишина давит все тяжелее, и уж начинает казаться Роне, что теперь и он, подобно маме, просто теряет слух, глохнет.

Примириться с этим трудно. Ведь умрет весь чудесный мир звуков — музыка, весенняя капель, колокольный звон, паровозные гудки... Но если такова цена спасения от страха — он готов, он согласен. Пусть — тишина навсегда, зато не будет в ушах змеиного шелеста подползающей тайной угрозы.

Сохранилось ли у него пока хоть немного слуха, как у мамы, или даже меньше? Он отрывает голову от подушки.

И как бы в ответ из неохватных, глубинных пластов тишины отслаивается некий совсем новый звук. Он круглый, деревянный, гулкий, неживой. И постепенно нарастает, приближается. Это — с улицы, из-за окна. Может, звук не деревянный, а костяной? Кости о гробовую доску...

Кто-то из взрослых неосторожно упомянул при мальчике о вскрытии могилы с заживо погребенным. Мальчик запомнил.

А недавно Зина, горничная, подметая прихожую, пела о злополучном ямщике, что наехал серед зимней дороги на охладельй труп, занесенный снегом. По ночам Роня теперь сам становится этим ямщиком. Вот он увидел мертвое тело, слезает с облучка, наклоняется, шевелит кнутовищем оледенелую руку, слышит испуганный храп коня...

Все ближе костяной звук о деревяшку. Все громче. Вот уж почти под окном... Кажется это, или в самом деле идет по улице мертвец и стучит?..

Стук стихает, вязнет в омутах тишины, уходит на край света, но вызванные им картины остались, и теперь мальчику чудятся костлявые пальцы, призраки в метели, то большие белые, то черные, юркие. Когда глаза мальчика зажмурены — призраки мельтешат и носятся у самого лица, но открыть глаза невозможно: должно накинуться что-то худшее, ослепляющее, хохочущее. Тём временем костяной звук приблизился снова...

Много времени спустя мальчик узнал: ночной сторож ходит с полуночи до света по Первой Борисовской и бьет в колотушку, остерегая воришек. Боялись ли воришки сторожевой колотушки или, напротив, торопились учинять свои темные дела на том конце улицы, пока сторож стучал на этом, Роник никогда не выяснил, но для него самого эта колотушка многие месяцы была вступлением к ночному кошмару.

Роня знал уже, что советоваться с кем-нибудь насчет избавления от ночного страха совершенно бесполезно. Люди ничего не понимали, как в книгах о Дон Кихоте.

Мальчик пробовал поговорить про это с Колей-репетитором. Тот как будто сначала что-то понял, уселся вместе с Роней в глубоком кресле и стал очень терпеливо, умно и ласково давать каждому пугающему феномену реалистическое объяснение. Дескать, шорох — от мышей, их надобно истреблять, а вовсе не бояться. Вой — это ветер в печных трубах. Трещат бревенчатые стены по ночам при сильном морозе от разности температур — это вовсе не грозит обвалом всего здания. В зеркалах же мелькает всего-навсего твоя собственная тень — чему же тут смущаться сердцем?

Ученик послушно кивал головой, даже засмеялся из вежливости и... поспешил заговорить о другом. Что де-

лать! Мистическую сущность своих кошмаров он выразить словами не умел, реальный же механизм страшных ночных явлений понимал умом не хуже, чем Коля. Как же объяснить всем этим наивным реалистам, что простой чехол на угловом кресле в спальне целую ночь ухмыляется, скалит черные, кривые зубы, а из больших зеркал пугающе бесшумно кидается к тебе призрак, когда ты, не выдержав одиночества, пробираешься босиком в кабинет к матери? А колотушка с улицы и тогда наводит на мысль о бродящем мертвеце, когда Роня уже знает про сторожевой обход.

...Мальчик никому больше о своих страданиях не говорит, но постоянно думает о Дон Кихоте и не доверяет мнимой безобидности реальных вещей.

И постепенно, смутно, без чьей-либо подсказки добирается он до той догадки, что ночные переживания — не просто от коварной переменчивости вещей, их иллюзорной реальности, не просто от дневных рассказов про неведомое и страшное.

Ему, по мудрости детства, начинает чуть-чуть брезжить сквозь тьму неведения далекая, далекая озарь, что нынешние, так жестоко терзающие его по ночам духи мрака — лишь посланцы и предвестники куда как худших духов мглы надвигающейся, всечеловеческой...

Страхи его — это как бы сигналы, посылаемые из холода и мрака грядущих дней.

Растолковать это кому-нибудь нельзя, а самому думать — непосильно!



Призрачную ночную явь сменяли недобрые сновидения.

Они часто повторялись, а то и чередовались в одной и той же последовательности. Мальчик иногда заранее гадал, который из дурных снов должен привидеться нынче.

Был, например, сон про колодезный сруб. Стены мокрые, отвесные. Из самой глубины — зовущий голос матери.

И Роня лезет вниз, упирается ногами и руками в скользкие бревна сруба. Лицо матери еле различимо

внизу. Оно слабо светится, а вокруг него шевелится что-то волосатое, со щупальцами. Похоже на огромного паука. Оказывается, с его-то мохнатой спины и светится навстречу Роне лицо матери. Но когда он догадывается, что все это — хитрость, обман, спастись уже поздно! Паучьи щупальцы охватили его запястья и щиколотки, тянут его вниз... Он теряет упор, соскальзывает с влажных бревен и летит, падает навстречу неотвратимой, позорной, ужасной гибели...

Был сон про коридор.

Низкий, каменный, с круглыми дырками в стенах. Оттуда брезжут ядовито-зеленые, смертельно опасные лучики. Мимо этих ядовитых лучиков надо пробраться незаметно, минуя их с осторожностью. В этом — все спасение, ибо сзади — погоня. За Роней бегут-гонятся черные изверги с ружьями. Он торопится, прыгает через одни лучики, подныривает под другие, бочком проскальзывает мимо третьих. Но смертоносные дырки в стене все чаще, погоня — ближе, а сил — меньше...

От этого сна Роня в конце концов просыпался почти в удушье, когда стены вокруг него готовы были сомкнуться, лучики стреляли прямо в глаза, преследователи настигали.

Но чаще всего повторялся сон про железную дорогу. Это был очень простой и не самый страшный сон, только длился он бесконечно, и мучительным было нарастание неведомой опасности, пока еще ничего реально грозного впереди не виднелось.

Все начиналось неторопливо. Среди глухих болотных низин вытягивалась к горизонту и дальше, за его черту, линия железнодорожного полотна со шпалами и рельсами. Роня долго идет между рельсами и должен добраться до горизонта. Сойти некуда и нельзя. Ему ведь сказывали, что будет поезд, и идти запрещено. Но он всех переупрямил, пошел, и вот теперь боится поезда. И все убыстряет шаги, почти бежит, в смутной надежде обмануть судьбу и поспеть до поезда. А он — вот уже, показался из-за черты, сперва — дым, потом — черно-красный паровоз и вагоны. Роня старается не глядеть на него, жмурит глаза, но шум все ближе, вздохи пара чаще, рев гудка громче... Никакого спасения! И когда черно-красный паровоз налетает с

ревом на Роню, тот успевает ощутить его призрачную невесомость и понять, что все это вершится во сне.

Потом, уже наяву, он долго приходит в себя, осознает, что остался невредим, лежит не под насыпью, а в папиной постели, все в том же тоскливом одиночестве, как и перед засыпанием. Часы в столовой бьют два или три раза...

...А часы истории российской отстукивают минуту за минутой, и никто не ведает, что принесет завтрашний день.

Маховое колесо войны, запущенное на полную силу, набрало инерцию, ускорило обороты и все быстрее гнало государственную машину монархической православной России к великой катастрофе, совсем как в Рониных сновидениях.

Вскоре сама жизнь дала для этих сновидений новую пищу.

3

В июне 1915 года Роня отправился на войну.

Нет, нет, не на игрушечную какую-нибудь, а на самую настоящую, к папе в действующую армию. Даже под обстрелом побывал — оказывается, не очень жутко, интересно даже, а вместе и дико как-то...

Капитан Вальдек сообщил жене телеграммой из Варшавы об отсрочке отпуска, просил не грустить и подумать, не собратся ли в дорогу ей самой. Он подождет в Варшаве — либо ответной вести, либо... встречи!

Из полунамеков в последних мужниных письмах Ольга сообразила, что ему предстояла служебная поездка с Юго-Западного фронта на Северо-Западный, для связи со штабом 2-й армии. Выходило, что он мог несколько задержаться в Варшаве.

Ольга положила ехать немедленно, вечерним поездом в Москву.

— Возьми и меня к папе! — попросил Вальдек-младший. Безо всякой, впрочем, надежды на исполнение просьбы. А мама нежданно-негаданно согласилась. Про себя она решила показать Роню московскому доктору: дескать, почему сынок такой бледный, чувствительный и вдобавок не любит темноты?

Целый день собирали чемоданы, и уже на следующее утро Роня ехал с мамой на извозчике мимо хорошо знакомой привычной арки Красных ворот — с Каланчевской площади они направлялись к Стольниковым, в Введенский. Ольга Юльевна заодно везла и очередную сумму денег, чтобы внести в стольниковский банк. Вклад приближался уже к первому пятизначному числу.

Подходящего доктора для Рони рекомендовала братниной жене госпожа Стольникова, Ронина тетка Аделаида. Она сама и повезла Роника к столичной знаменитости.

Доктор — острая бородка, белый халат, золотое пенсне, прохладные руки — чуть-чуть повозился с мальчиком, потрепал по щеке, сумел немного рассмешить, а потом пошептался с теткой. Советы он дал золотые: гимнастика, моцион, холодные обтирания и пилюльки.

На обратном пути, выезжая с Рождественки на Кузнёцкий мост, старик-извозчик остановил своего гнедого: толпа народа так запрудила улицу, что проезда не стало. По улице рассыпаны были листы плотной бумаги, афиши, разорванные журналы, книжки, знакомые обложки нотных тетрадей. По ним равнодушно ходили люди, втаптывая бумажные листки в сор и грязь. Недалеке от угла, под стенами высокого серого здания, книги, ноты и бумаги валялись на мостовой большими кучами, как снежные сугробы.

Извозчик стал разворачивать пролетку — Кузнецким было не проехать. Вдруг что-то обрушилось с грохотом, и сквозь шум прозвучал будто короткий струнный стон.

— Эх, каку музыку сломали! — не то с восхищением, не то сожалея сказал возница. — Гляди-кось, барыня, никак в доме Захарьина погулянка-то идет? И верно, похоже старого Циммермана, Юлия Гендрика с сыновьями громят... Ну, скажи на милость! Знаю барина этого, не раз возить доводилось, не обижал он нашего брата. Дело-то у него бойко шло. А теперь — наподи, полный карачун ему выходит. Одно слово — полный карачун!

Роня выглянул из пролетки.

В воздухе снова мелькали, кружились белые листки — их швыряли горстями из окон серого дома купца

Захарьина. Один листок подхватило ветром и понесло под ноги гнедому. Возница натянул вожжи, давая седокам время сполна насладиться картиной погрома. Листок тихо опустился рядом, в лужицу. Роня узнал нотную обложку с портретом Чайковского...

Опять вылетела на улицу большая пачка нотных тетрадей, а еще выше, из выбитого окна на втором или третьем этаже высунулся... рояль. Толпа внизу заревела. Еще с минуту рояль, подталкиваемый громилами, полз по оконнице, потом свесился над улицей и полетел вниз. Углом рояль задел при падении за выступ карниза, и тогда у него отмахнуло в сторону крышку. На лету она свесилась, как подбитое птичье крыло. Ахнув всей тяжестью о мостовую, рояль простонал предсмертно.

— За что это все? — спрашивал Роня в ужасе.

— Как за что? Известное дело: немец! — сказал кучер.

— Да едете же отсюда поскорее! — взмолилась тетя Аделаида. Она была прекрасной пианисткой и хорошо знала не только издания обеих московских фирм, Юлия Циммермана и Петра Юргенсона, но и самих владельцев. Их музыкальные магазины были недалеко друг от друга, один — на Кузнецком, другой — на Неглинке, в доме четырнадцать, куда ч глянуть жутко — может, и там тот же разгром?

А ведь эти «немцы» впервые напечатали Баха для русской публики, стали главными издателями Чайковского, Рубинштейна, Балакирева, Рахманинова. Под ногами погромщиков погибали сейчас творения Глазунова и Бородина, Шопена и Шуберта...

Тетя Аделаида молчала до самого Введенского переулка на Покровке. А мальчику Роне с того дня годами еще снились громилы. Он видел, как мамин черный, отливающий лаком «Мюльбах» дюжие верзилы громят на подоконник, выталкивают из окна и как рояль, откинув подбитое крыло, со стоном ахает на булыжник. Известное дело: немец!..

* * *

Павел Васильевич Стольников к тому времени уже исхлопотал сыну Саше назначение в гренадерскую ар-

тиллерийскую бригаду к дяде Лелику. 20-летнего Сашу Стольникову решили отправить как бы провожатым с тетей Олей и Роником. Заранее предполагалось, что дядя Лелик возьмет Сашу себе в адъютанты.

По льготной цене заказали купе первого класса — офицерский чин давал право оплачивать первый класс по стоимости второго, — в курьерском прямого сообщения, через Минск — Брест-Литовск. А пока шли эти приготовления к отъезду, Роня навоевался всласть с Максом Стольниковым, своим двоюродным братом, младшим из наследников Павла Васильевича. Оловянные солдатики доставались Максиму от старших братьев целыми полками и эскадронами, в игре участвовали тяжелые металлические пушки, корабли и даже бронепоезд, ходивший по рельсам. Старшие нашли, что оба мальчика проявляют стратегическую одаренность, особенно Макс.

Кузен Макс Стольников был годом старше Рони, учил латынь, читал на четырех языках, щелкал как орешки самые трудные задачи, хорошо играл на рояле, увлекался мелодекламацией, словом, его всегда ставили Роне в пример, а это, как известно, не очень помогает дружбе. Тем не менее, ладить с гениальным Максом все-таки можно было — в нем чувствовалось незлое сердце, благородное отвращение к насилию и несправедливости. Мальчик он был очень красивый, с золотыми кудрями до плеч — эта прическа выделяла Макса среди стриженных сверстников, делала похожим на сказочных принцев, что снятся девочкам. Будущую длинноволосую моду тетя Аделаида предвосхитила более чем на полвека!

Однако, если бы такая мода восторжествовала уже тогда, в годы первой мировой войны, если причесываться под сказочных принцев стали бы сухаревские торгаши, — Макса, верно, остригли бы наголо! У семьи Стольниковых было сильно развито чувство самостоятельности и собственного достоинства, даже известный аристократизм вкуса, особенно присущий именно Максиму, и эти качества никогда не позволили бы членам этой семьи поддаться инстинкту стадности, слиться хотя бы внешне с «плебсом», стать рабами обезьяньей моды...

Одно обстоятельство как бы отделяло Макса от Рональда. Ивановский кузен сперва об этом не задумывался, а с течением времени стал ощущать острее и больнее.

Роня был лютеранином, Макс — православным. Крестил его настоятель Введенской церкви — Стольниковы принадлежали к его приходу. Нарядный, красиво убранный храм построен был в XVII веке на скрещении двух слободских переулков, впоследствии Барашевского и Введенского. Некогда жили здесь великокняжеские б а р а ш и, мастера шатрового дела, люди достаточные и понимавшие красоту. Старый, строгий батюшка, настоятель Введенского храма, полюбил крестника Максимилиана, сделался его духовным отцом. Стал частым гостем в доме Стольниковых и приохотил Макса к церковной службе. «Кому церковь не мать, — говорил священник, — тому и Бог — не отец». Три старших стольниковских сына — Володя, Жорж и Саша — были к религии равнодушны, а Макса в церковь тянуло. Тетя Аделаида, лютеранка по вероисповеданию, отпускала его в православный храм с радостью. Макс подпевал на клиросе, читал за аналоем акафисты, восхищая старших прихожан чистотою и гладью чтения, а во время литургий батюшка брал Макса прислуживать в алтаре. Обо всем этом Роня понаслышке знал, но это мало его интересовало, пока он сам не побывал у Введения.

Перед отъездом мамы, Рони и Саши в Варшаву Стольниковы взяли в церковь, к обедне, и кузена Роню. Он не впервые был в русском храме, где ему всегда нравилось больше, чем в скучновато-пресной кирхе, но именно в этот раз он всей душой испытал в церкви чувство восторга, очищения и возвышения. Поразили живые огни свечей и лампад, голоса певчих, красота росписей и иконостаса, торжественное величие и задушевность обряда. Но больше всего его тронуло, что в этом дивном храмовом действе участвует равным среди равных не кто иной, как его родной кузен Макс, посвященный в церковные тайны, ему, Роне, совершенно недоступные. Он в первый раз увидел двоюродного брата в стихаре и нарукавниках, поразился, каким ясным голосом Макс читает и поет по церковно-сла-

вянски. Значит, Макс здесь — поистине у себя дома, а он, Роня, хотя ему здесь так нравится, все же вроде как в гостях. В этом чувстве не было низкой зависти к духовной устроенности брата, но печаль о неустройстве собственном, может, не до конца осознанная, с этого дня у Рони появилась.

И еще одно открытие сделал тогда приезжий стольниковский кузен под сводами Введенской церкви...

Тетя подвела мальчика к темноватой иконе, висевшей невысоко в левом церковном приделе. Икону почти сплошь укрывала позолоченная риза — свободными оставались только лики и руки, да еще приоткрывалась надпись по церковно-славянски, с пропусками-титлами:

ПРЕСТАЯ БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ.

Перед иконой горел с десятков свечей в двух канделябрах. В их колеблющихся отсветах Роня близко увидел смуглый женский лик, слегка склоненный к лику младенца. Икона висела так, что Роня, хоть и с робостью, смог заглянуть в глаза Богоматери.

Взор ее был исполнен тихой, вещей скорби, столь глубокой, будто в этом взоре воплотились думы и мысли всех матерей человеческих. Из-под полуопущенных век на мальчика глядели неземные очи, исполненные доброты, терпения и печали. В этом взоре, струящемся в сердце, была тихая мольба и предостережение, призыв к добру, надежда на милосердие, но и предчувствие неутолимого страдания.

Видя, как поступают другие, мальчик тихонько приложился к руке Богоматери на иконе и на мгновение прижался лбом к прохладной ризе.

После обедни подошла пора ехать на Александровский вокзал Московско-Брестской железной дороги, у Тверской заставы, за Триумфальными воротами. Павлу Васильевичу ехать было нелзя, дела торопили, он простился с Сашей в церкви и уступил отъезжающим свой автомобиль. Завел он эту машину незадолго до войны, но сохранил и коляску — надежнее, да и получил уже уведомление, что автомобили подлежат временному изъятию у владельцев, для нужд действующей армии.

Купе оказалось отличным. Роня радовался и поездке, и скорой встрече с папой. Прапорщик Саша Столь-

ников поминутно острял, смешил Ольгу Юльевну и Макса, и лишь тетя Аделаида, как всегда сдержанная, собранная, строгая, одинаково ровная в обращении со всеми, нынче не улыбалась сыновнему остроумию.

Проводник вагона приоткрыл из коридора дверь в купе, когда все, в нем находившиеся, «присели на дорожку». Почтительно кашлянув, проводник сказал: «Третий звонок, господа! Не опоздали бы выйти!» Открыв дверь купе пошире, он пошел в тамбур. Тетя перекрестила Сашу, простилась и вышла из вагона вместе с Максом, когда вокзальный колокол отзвучал троекратно, и под сводами вокзала, вслед за кондукторской трелью, коротко взревел локомотив-сормовец.

За окном совсем близко мелькнуло худощавое тонкое тетино лицо в ту минуту, когда вокзал стал медленно отодвигаться назад. Роня уловил ее взгляд, искавший Сашу, и отчетливо вспомнил, нет, даже прямо у в и д е л за окном скорбные очи Владимирской...

...Папа ждал их на платформе Варшавско-Тереспольского вокзала. Встречавших курьерский было в тот день много, и все очень волновались чрезвычайно обстоятельству: курьерский Москва—Варшава опаздывал на целых 20 минут!

На привокзальной площади застоялись папины лошади — светло-серый в крупных яблоках Чингиз и чуть потемнее и рослее — Шатер. В парке артиллерийской гренадерской бригады насчитывалось поболее полутора тысяч лошадей, и ради соблюдения неких священных и незыблемых воинских начал всем этим бригадным лошадям приказано было избирать клички только на четыре буквы: Ц, Ч, Ш и Щ. Папа рассказывал, как в начале кампании весь бригадный штаб битых трое суток искал пригодные слова на шипящие. Под конец командир уже посулил за каждую новую сотню оригинальных кличек, отвечающих правилу, увольнение во внеочередной отпуск на двое суток...

Кучер-татарин весело козырнул, отстегнул кожаный фартук, приглашая седоков, пристроил в задке коляски один чемодан и «взял в ноги» второй. Фамилия кучера оказалась Шафутдинов — Роня заметил про себя, что и она начинается на шипящую.

Обгоняя другие экипажи, лихо выехали на Александровский мост через Вислу. У Рони в глазах замелькали перекрестья мостовых ферм, мешавших любоваться заречной панорамой города. Он был прекрасен!

Река с яхтами, катерами и буксирами, а сразу за ней — старинный замок и нарядные дворцы, отороченные темной парковой зеленью...

Дальние холмы с крепостными фортами, готика костелов, размах просторных площадей, красота фасадов, соразмерность, созвучность уличных строений, их изысканный колорит — вместе это все и создавало аристократическое, необычайно благородное лицо Варшавы. Ни тени столь привычной Роне российской провинции, да и вообще совсем мало заметны русские черты — вот, пожалуй, этот железный мост, плохо гармонирующий с архитектурой города, и еще кое-какие, чужеродные здесь, приметы современной инженерной моды... Да, город интересен именно своей национальной, чисто польской «наружностью», кажется иностранным — для человека русского это имеет особое очарование. Примерно так мама успела высказаться еще по дороге в гостиницу.

Непривычным было для Рони и языковое многообразие. В правобережном предместье, или Праге, Роня слышал много еврейской скороговорки, но понимал в ней только отдельные немецкие слова. Потом, уже за Вислой, — пошел со всех сторон знакомый польский говор, с опорой на звук «пш». Польский язык Роне нравился, он привык к нему у ивановских друзей, Донатовичей и Любомирских... Но здесь говорили так быстро, что он не смог улавливать смысла речей.

По обеим сторонам улицы мелькали французские вывески, польские надписи, рекламы незнакомых европейских фирм, витрины с иностранными товарами. Лишь военные — а их было очень много в Варшаве 1915 года, — громко переговаривались по-русски.

Коляска с кучером-солдатом неторопливо катилась по великолепной улице Краковское предместье. Мимо Саксонского сада, дворца Потоцких и старинного, высококоштного костела Святого Креста доехали до почтамта. Отсюда дали Стольниковым телеграмму о благополучном приезде. Потом улица Краковское предмес-

тье влилась в столь же красивую улицу Новый Свят. Папа показал сыну Университет, Дворец губернатора, церковь кармелиток — Роня еле успевал вертеть головой. Город ему страшно понравился как раз своей несхожестью со всем, привычным в городах среднерусских. Наконец, на большой, нелюдной и величаво спокойной площади Роня увидел сидящего на постаменте Коперника со сферой в руках, и тут же, рядом, оказалась гостиница, где их ждал двойной номер и хороший обед.

И блюда показались непривычными, тем более что все они очень сложно назывались, и даже хлеб был какой-то нерусский, нарезанный чересчур уж тоненько.

Неловкий случай произошел на лестнице, когда Саша Стольников отклонялся, а папа с мамой поднимались на свой этаж. Мама уже повела сына вверх по лестнице, папа давал чаевые швейцару. Тут какой-то подвыпивший пожилой штабс-капитан заторопился следом за Ольгой Юльевной, да так неловко, что задел шашкой за перила и споткнулся о ковер. Госпожа Вальдек остановилась, чтобы пропустить вперед офицера, а тот, как только выпрямился, так и очутился прямо перед дамой. Он заулыбался восхищенно, отвесил ей слишком низкий поклон и вполне внятно сказал папе:

— Ай да Лелька! Ну, ловкач, генеральскую подцепил! Не по чину, капитан!

Папа страшно побледнел, взбежал по ступенькам и глазами сделал знак офицеру задержаться на следующем этаже. Роня мельком видел, как папа почти прижал офицера к стене. Мама чуть не бегом отвела Роню в номер и уж хотела было спешить к спорящим, но дверь номера отворилась, и тот же офицер явился сам, с извинениями.

— Сударыня, — говорил он совсем убитым тоном, — не извольте гневаться на старого служаку. На войне этой проклятой всякое приличие потерять можно, и вообще башка уже кругом пошла. Кто же помыслить мог, что родная супруга в эдакую даль ехать не побоится, да еще сынишку привезет! Ты, капитан, счастливец, право: и зла на меня не держи. Сам знаешь, второе ранение, голову задело, вот и чудись с тоски... Извольте, сударыня, ручку — и еще раз пардон от всей души!

Несколько дней мама с Роней бродили по чужому городу, сидели в его кофейнях, замирали в музейных залах, любовались памятниками, слушали музыку, истратили много денег в магазинах, купили Роне белую пушку, а маме заказали новое платье из зеленоватого бархата, отделанного вышивкой и бисером. Ездили потом на примерки раз пять, Роне уже надоели болтливые польские мастерицы... Вечерами вместе с папой гуляли в нарядной толпе по любимым главным улицам от замка до самого Бельведера.

Однажды в июньский полдень мама и Роня возвращались из Вольского предместья. Побывали они там на обширном евангелическом кладбище у Сеймовой долины. Кладбище оказалось похожим на московское, что в Лефортове. Мама нашла и здесь знакомые фамилии на могильных памятниках. Чуждая мистике, Ольга Юльевна все же очень любила прогулки по городским кладбищам и повторяла про себя слова римского мудреца: глядя на могилы — сужу о живых. Папа встретил их с коляской у входа, и они поехали с кладбища домой какими-то новыми для них улицами. Вдруг прохожие стали беспокойно жестикулировать, указывать вверх. Кучер Шарафутдинов повел хлыстом назад и тоже показал на небо.

И тут Роня впервые увидел аэроплан. Он был немецкий, походил на птицу, трещал наподобие мотоциклета и прошел прямо над головами сидящих в коляске. Исчез за крышами Банка и Арсенала.

— Таубе! — хмуро сказал папа. — Сегодня утром они бросали бомбы на казармы у петербургской заставы... Кажется, пора тебе домой, Оленька!

Жильцы гостиницы были возбуждены. Оказывается, еще один «Таубе», а может быть, тот же самый, сбросил над городом противопехотные стрелы. Они просвистели в воздухе, изрешетили несколько крыш, но человеческих жертв на этот раз не вызвали, по крайней мере поблизости. Говорили, что одно попадание было и в гостиницу, однако снарядик не нашли.

Мама открыла верхний ящик комода, переодеть Роню к обеду. В стопке детского белья обнаружился беспорядок — она словно была проткнута очень грубым шилом. Приглянулись — в красном дереве комода зия-

ла аккуратная дырка, будто комод просверлили. Глянули на потолок — пробоина!

Стали рыться в ящике и достали запутавшуюся в белёе узкую, вершка четыре длиною, стальную чушку с заостренным носом и ребристым хвостом, для стабилизации стрелы в полете. На ребре хвоста было выгравировано: ГОТТ МИТ УНС. Выпускали такие стелы с аэроплана, видно, пачками, в расчете поразить солдатский строй или толпу горожан. Снарядик подарили Роню и велели сберечь, как военный трофей.

Мама подержала стрелу на ладони, взвешивая.

Сколько же выдумки, денег, людского и машинного труда вложено в эту вещь! Рылись глубоко под землей горняки, лился из печей металл, вращались заводские станки, ночами не спали инженеры, чтобы хотя бы каждая пятидесятая или сотая из пачки стрел настигала бы не белёе в комод, а ее Лелика, Роню, любого варшавского горожанина или российского солдата. Неужели же это — не грех, непростительный и страшный? Вправду кажется, что у людей, втянутых в эту войну, «башка кругом пошла», как выразился давешний штабс-капитан...

Вот так и побывал Роня на настоящей войне и даже под обстрелом! Вроде бы и не очень страшно и интересно, а дико все же как-то, когда во все это играют тысячи серьезных людей. Каждый в отдельности хорош, а вместе — безумные какие-то...

На следующий день после прилета аэропланов «Табубе» мама и сын простились — с папой, кузеном Сашей и прекрасной Варшавой.

* * *

Зимой 1915—16 годов, еще за месяцы до начала брусиловского наступления, Роня уже догадывался о нем, но догадку свою хранил в глубокой тайне ото всех.

Папа получил кратковременную командировку в Москву и обещание отпуска осенью. В ближних армейских тылах фронта шли усиленные учения, войсковые маневры, штабные игры. Дел у папы было по горло. Вырвался он в Иваново-Вознесенск всего на двое суток, и притом совершенно неожиданно.

Роня еще по звонку, необычно раннему, предупредительному, угадал, что на крыльце — папа. Звякая шпорами, он вошел, сопровождаемый денщиком Никитой. Развязал запорошенный снегом башлык, обнял в прихожей маму, вылетевшую прямо из постели в розовом капоте, и Роню в ночной рубашке, и Вику в длиннополой сорочке. Папа зажимал уши от визга, смеха, криков, возни. Весь дом впал в какое-то исступление от внезапного счастья, а мама была в состоянии полубормочном.

Сонная прислуга тоже вскочила было с постелей, но папа всех отослал досыпать и велел Никите, быстроты ради, разогреть горячими угольями из печей вчерашний вечерний самовар, сварить яиц всмятку или, на вкус Ольги Юльевны, «в мешочек» для предварительного завтрака, а потом отправляться на весь день в город, куда глаза глядят. Глядели же они у Никиты преимущественно на молодых иваново-вознесенских ткачих...

Роне позволили встать к ночному завтраку, а потом идти в детскую, чтобы вместе с Викой и фрейляйн Бертой разбирать привезенные гостинцы.

Расторопный Никита очень быстро сервировал чай, хлеб, масло и яйца, крутые до синева. Папа тихонечко упрекнул его: что ж ты, мол, не мог угодить барыне? Она же «в мешочек» просила!

Никита только руками развел:

— Так точно, ваше высокоблагородие! В мешочке она велела. Пошукал я впотьмах мешочка, не нашел! Попался под руку чулочек Ронечкин, так я в нем и сварил. Как же она сразу узнала, ваше высокоблагородие?

За ночным столом Роня спросил, когда мама чем-то отвлеклась:

— Почему у тебя, папа, ухо пластырем заклеено?

— А ты умеешь хранить тайны? Сумеешь маме не проговориться?

— От мамы у меня тайн не было.

— Это правильно, но про что ты сейчас спросил — дело чисто мужское. О нем не должны знать ни мама, ни даже Вика-малютка! А тебе знать не мешает, чтобы сам не повторил такой глупости... Так вот: ухо у меня прострелено. Только... дело тут вовсе не в войне, а в твоём кузене Саше. Купил себе Саша Стольников — он по-прежнему у меня в адъютантах — американский

морской кольт, револьвер такой автоматический. Пуля — с твой палец, бьет — за версту. И три предохранителя — на все случаи жизни...

Мы были в отступлении. Ночевали в палатке. Подал нам Никита ужин на бочке, покрытой широкой доской. А Саша все своим кольцом любуется, разбирает его на том конце доски. Я говорю: «Убери эту дрянь со стола, поранишься сдуру!» Он ужасно обиделся: «Что ты, дядя Лелик, смотри, какой надежный! Жму на предохранитель — автоматический механизм заперт, жму другой — гашетка заперта, никакой силой не надавишь, вот так...» И тут — бух! Ухо правое мне аккурат и просадило!

А самого я еле успел под локоть толкнуть — стреляться с отчаяния вздумал, как меня отбросило от стола... Пушку эту американскую я тут же Никите выкинуть велел...

Только уговор, Ронюшка! Я тебе доверился, так смотри, страху лишнего на мать не нагони. А то она Сашку до смерти не простит. Сам же помни — и незаряженное ружье стреляет, и на все эти предохранители не больно надейся. Просто никогда на человека оружие зря не наводи...

Рассказ этот Роня от матери утаил, как велено было отцом. Смолчал и перед Бертой, и перед Викой, и перед Зиной-горничной, с которой он считал себя в крепкой дружбе, — но только с тех пор и узнал, до чего же трудная штука мужская тайна! Несешь ее один — спина гнется от нестерпимой тяжести!

Вот каким был у русского мальчика Рони Вальдека его родительский дом!

Продолжение следует





ВСЕ ПЕРЕВЕСИТ СЛОВО



Перенесемся мысленно на шестьсот-семьсот лет назад. Татарская конница топчет русские поля, горят скирды, кричат женщины и дети, звенят мечами ратники... А в тиши монастыря сидит какой-нибудь келейник и выводит букву за буквой. И ведь именно благодаря ему, этому безвестному келейнику, знаем мы сегодня свою историю, благодаря ему сохранилась тысячелетняя русская культура.

Как знать, может быть, спустя века наши потомки тоже вспомнят тех, кто в лихую для Отечества годину не лез на баррикады, не рвался на трибуну, а неторопливо выводил буквы. И одним из первых назовут они скромного писателя из северной России Дмитрия Михайловича Балашова.

Вот уже два десятилетия выходят из-под пера Балашова исторические романы. Особое место в творчестве занимает серия «Государи Московские». Тщательно и любовно описывает автор нелегкие для русских людей времена татаро-монгольского ига, внутренних междоусобиц.

Летом «Роман-газета» (№№ 13, 14, 1991) преподнесла нам приятный подарок. К известным пяти книгам серии («Младший сын», «Великий стол», «Бремя власти», «Симеон Гордый», «Ветер времени») добавилась шестая — «Отречение». Лаконичное название относится к центральному событию романа — Тверской войне 1375 го-

да. Потерпев в ней поражение от юного московского князя Дмитрия, внук и тезка Михаила Святого, не брезговавший услугами Орды и Литвы в борьбе за Владимирское великое княжение, вынужден заключить мир, означающий конец противостоянию Москвы и Твери. Ровно пять лет остается до главной битвы XIV века — Куликовского сражения, и основы будущей победы над Мамаем заложены великодушием Дмитрия и отречением Михаила. Русское войско может теперь готовиться к схватке с истинным врагом.

Действие романа охватывает период в пятнадцать лет, предшествующий Тверскому миру. Центральная фигура повествования — митрополит Алексий. Добываясь для московских государей ханского ярлыка на владимирский стол, он думает не о себе, а об единстве православного русского народа. В это же время литовский правитель Ольгерд огнем и мечом завоевывает жизненное пространство от Балтийского до Черного моря, отсекая татарам путь в Европу. Сравнивая два эти события, автор пишет: «Почему с этой победой, означавшей, казалось бы, поворот всей европейской истории, сопоставим тайный договор Алексия, клочок пергамента из тех, что тысячами истлели без остатка в земле?»

У того и другого государства еще неясен грядущий путь, и еще столкнутся с Ордою те и другие. И ежели Русь устоит на Куликовом поле, то Литва при Витовте будет наголову разбита на Ворскле, и это означает ее скорый закат, поглощение Польшей, и уступит она после того сопернице Руси путь и в Византию, и к Востоку, и в степи, а затем и в лесные просторы Сибири, все дальше и дальше, пока чужой, неведомый океан не заплещет перед очами землепроходцев-русичей, добравшихся уже на другом конце величайшего из земных материков до своего «последнего моря».

Что перевесило? Меч или судьба? Перевесило слово. Писаное. Утвержденное. Осененное знаком креста и скрепленное государственными вислыми печатями.

Чтобы не быть голословными в этом противопоставлении оружию — слова, окинем взглядом те, незаметные в громе побед и поражений родники, что уже повсюду начинали пробиваться, хлопотливо журча, в русской земле. (...)

Растут каменные церкви в Новгороде, суздальские князья отстраивают и украшают Нижний, Москва один за другим возводит монастыри и храмы; строительство идет и в Твери. Неслыханно расцветает живопись (напомним, что вскоре на Русь явится Феофан Грек и обретет здесь пышную местную художественную школу, точнее много школ, и уже не за горами появление Рублева).

Создаются шедевры литературы: «Повесть о нашествии Батые на Рязань», многочисленные «Хождения» русских паломников, «Повесть о Шевкале», «Повесть о житии и убиении князя Михаила Тверского», «Задонщина», «Жития», «Сказания». Возникает и растет монастырское «скитское» движение, отмеченное созвездием имен выдающихся подвижников — Дионисия Печерско-Нижегородского, Евфимия Суздальского, Макария Унженского, не говоря уже о Сергии Радонежском и веренице его последователей и учеников».

Но не только на дипломатическом поприще приходится сражаться Алексию. Константинопольский патриарх Филофей Коккин и его эмиссар Киприан Цамвак плетут сложную интригу, разыгрывая литовскую карту. Впрочем, не будем пересказывать. Предоставим читателям самим насладиться сочным языком, захватывающим повествованием, колоритным описанием быта.

Все же одно замечание автору стоило бы высказать. Роман читается тяжело. Но не из-за обилия фактуры и нашего общего незнания истории, а по причине чисто литературного свойства. К большому сожалению, герои выписаны несколько плакатно, даже публицистично: нет той глубины образов, свойственной классической традиции русской прозы, которая позволяла бы отличать персонажи не только по именам и месту в сюжете, но и по неуловимым черточкам характера, по присущим только им манерам, по особенностям речи.

Но, в конце концов, «все перевесит слово». А оно у Дмитрия Балашова емкое, познавательное, поучительное, так необходимое сегодня нашему Отечеству, ищущему правду и силу в своих корнях.

С нетерпением будем ждать седьмой книги «Государей Московских».



СОВРЕМЕННАЯ ХРОНИКА РОССИИ

Обзор современного движения русского законодательства и распоряжений по государственному управлению



Долго раздумывать над темой для этой рубрики не пришлось. «Пришел в движение» основной наш закон — конституция.

Спустя ровно пятьдесят дней после победы над путчистами «Российская газета» опубликовала новый проект, составленный рабочей группой конституционной комиссии под руководством народного депутата РСФСР, лидера социал-демократов Олега Румянцева.

Состав рабочей группы и ее экспертов односторонне «левый», что не могло не отразиться на тексте документа. Но я бы отметил другую черту, присущую как авторскому коллективу, так и его детищу — политический романтизм. Иногда кажется, что читаешь новый вариант «Декларации прав человека и гражданина». Например, статья 21: «Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни». Но из статьи 137 мы узнаем: смертная казнь при этом все не отменяется.

И все же главная романтическая идея опубликованного проекта — перекройка административно-территориальной карты России. На смену краям и областям грядут земли, объединяющие несколько соседних областей.

Зачем нужно такое укрупнение? Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем в статью 81. К ведению земли, как и республики в составе Российской Федерации, будет относиться:

а) принятие и изменение конституции и законов земли, контроль за их соблюдением;

б) установление системы органов власти в земле и их формирование;

в) участие в формировании и деятельности Верховного Совета Российской Федерации;

г) инициатива в принятии федеральных государственных решений;

д) административное и административно-процессуальное законодательство;

е) управление имуществом земли; программы экономического, социального и культурного развития земли;

ж) бюджет земли; местные налоги и сборы; внебюджетные фонды;

з) территориальное деление земли;

и) международные связи, кроме отнесенных к исключительному ведению Российской Федерации;

к) природопользование; природные ресурсы, за исключением имеющих общенациональное значение;

л) защита исконной среды обитания малочисленных народов и этнических общностей;

м) создание условий для национального, экономического, культурного, языкового развития этнических и иных общностей;

н) акты гражданского состояния;

о) награды и почетные звания земли;

п) иные полномочия, если они не противоречат положениям настоящей Конституции.

Это значит, что, к примеру, возрожденная Владимиро-Суздальская земля займет собственную конституцию, свои органы власти, законы, гражданство (об этом сказано в статье 80), даже ордена и медали. Но нынешняя Владимирская область для таких полномочий

явно слабовата. Очевидно, весь центр России объявят какой-нибудь землей, и мы будем стараться стяжать почетное звание «народный писатель центральной земли», а кто-то — Герой Социал-демократического Труда Урала. Во всяком случае в § 9 (часть 3) Переходных Положений сказано: «Земля должна обладать таким потенциалом, который дает ей возможность самостоятельно осуществлять полномочия, отнесенные к ее ведению Конституцией Российской Федерации, и участвовать в финансировании федеральных органов и учреждений, а также федеральных программ. В исключительных случаях земля может быть образована на территории одного края или одной области». Для Владимирской области исключение вряд ли сделают, а вот Тюменская земля или Ставропольская земля вполне могут появиться.

Нужно ли такое новшество? Боюсь, что подход к нему чисто политический. Среди нынешних 55 краев и областей лишь считанные единицы поддерживают политику президента и его правительства. При перекройке границ соотношение сил может измениться. Такой прием уже опробован в Москве, где 32 «мятежных» района преобразованы в 9 аморфных административных округов. Людям стало хуже, зато мэру лучше. Авторы реформы, не скрывая, признают: сделано для удобства управления. На столичных жителей при этом всем наплевать: не им же в конце концов управлять, как-нибудь по привыкнут.

Справедливости ради отметим, что нынешние области и края вообще никому не нужны. В городах и районах своя власть, серьезные проблемы решает республика — вот и превращается областное чиновничество в бессмысленную надстройку с надуманными функциями. Так может быть упразднить эти области и края, и дело с концом? И честнее, и проще. Каждый город почувствует себя увереннее: не будет между ним и Москвой бюрократической преграды. А уж в столице пусть потрудятся побольше.

Другое дело — республика. Наверное, есть смысл создать самостоятельную Сибирскую республику или возродить ДВР. Откровенно говоря, земли эти не русские. Всюду есть свои «этнические общности». А евро-

пейская часть имеет одну коренную национальность. Здесь административное деление выше уровня городов и районов на руку лишь политикам и чиновникам. Вспомним слова классика: «Россия — страна уездная». Добавим, а не губернская.

Романтизм — это не только вольный полет мысли. Это еще и пренебрежение житейскими мелочами. Такое, осмелюсь заметить, для конституции неприемлемо. Авторский коллектив, в большинстве состоящий из лиц ученого сословия, очевидно, на своем опыте познал тяготы ведомственного тоталитаризма. Отсюда и статьи 69—70. Особенно характерна вторая часть последней: «Объединение ученых не вправе осуществлять администрирование в науке». А вот наш брат в рабочую группу не попал. И, ничтоже сумнешся, творцы нового основного закона увековечивают сталинско-ждановского монстра в своем проекте: «В Российской Федерации свободно действуют общественные объединения: профессиональные союзы, политические партии, творческие союзы и иные общественные организации... (статья 61/1). Возникает вопрос: зачем сегодня разграничивать понятия профессиональный и творческий союз? Разве архитектор, режиссер, писатель не профессия? В 32-м году это сделали для коллективизации творческой интеллигенции, для осуществления принципа «разделяй и властвуй». Неужели шестьдесят лет унижения ничему не научили? Или администрирование недопустимо только в науке?

Откроем статью 36:

- (1) Каждый работник имеет право на отдых.
- (2) Работающим по найму гарантируются установленные законом продолжительность рабочего времени, еженедельные выходные дни, праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск...

Вот уже который год бьемся мы за то, чтобы свободные художники тоже имели оплачиваемый отпуск. Формулировка старой конституции позволяла трактовать ее в нашу пользу. И вот сюрприз — только «работающие по найму». А вы, г-н поэт, г-н композитор, отдыхайте за свой счет.

Не удивлюсь, если представители других профессий тоже найдут похожие «мелочи».

Встречаются в тексте и положения, звучащие явно не исчерпывающим образом, что недопустимо для основного закона страны. Заглянем в статью 28: «Каждый вправе свободно определять свою национальную принадлежность». Безусловно, такая свобода выстрадана несколькими поколениями советских людей. Но одно дело — право юного туляка, у которого мать — украинка, а отец — поляк, официально считаться русским по родному языку, внутреннему национальному ощущению и другим объективным причинам, другое дело — право дочери двух аварцев, живущих в Дагестане, под впечатлением от прочитанной «Анжелики» записаться француженкой. Чего не бывает в шестнадцать лет! Однако, из § 5(1) Переходных Положений мы обнаруживаем, что и записываться никуда не надо: «В метрические свидетельства, паспорта, удостоверения личности и другие подобные документы не включаются сведения о национальности как не имеющие отношения к правовому статусу лица». Согласны. Но зачем тогда статья 28? С таким же успехом туда можно вписать сословную принадлежность, или классовую. Есть там еще одно добавление: «Никто не должен быть принужден к определению и указанию его национальной принадлежности». Вот так-то! Проводится перепись населения, а мы все дружно на стол статью 28. Да и вообще все мы дети Октября, пардон, Августа.

Несколько сомнительны и отдельные статьи главы VI, определяющей обязанности граждан. Зачем там упоминать об обязательном и бесплатном образовании? Разве можно человека принудительно заставить окончить хотя бы пять классов? Раньше обязательность обучения понималась как неотвратимое для учителей бремя тянуть двоечника до определенной ступени. Неужели теперь будут отправлять в школу под конвоем?

Еще более спорна статья 52. Цитирую дословно: «Каждый в соответствии с установленным федеральным законом порядком несет гражданскую обязанность участвовать в осуществлении правосудия (нет, не пугайтесь, не в роли палача) в качестве присяжного заседателя».

Да, среди прочего дефицита эпохи перестройки столкнулись мы и с катастрофической нехваткой из-

бренных надлежащим образом пока еще народных заседателей. Говорят, даже дела в судах некому рассматривать. Но не доходить же до такой профанации, как насильственное определение доярок и академиков в присяжные! Все-таки живых людей судить — не гнилую картошку на овощной базе перебирать.

И в следующей, VII главе («Собственность, труд, предпринимательство») при ее бесспорной революционности не все вызывает оптимизм. Во-первых, терминология. Собственность предлагается разграничить на частную и публичную. Последнее слово как-то невольно порождает нехорошую ассоциацию. Но дело не только в филологической придирке. Ныне действующий закон о собственности рассматривает четыре ее вида: государственная, муниципальная, собственность общественных организаций и частная. Каждый вид предполагает конкретного субъекта. А что такое публичная? Опять общенародная? Опять менять закон?

Но хуже другое. В статье 55(2) находим:

«Принудительное отчуждение объектов собственности допускается лишь по мотивам общественной необходимости, надлежащим образом обоснованной и доказанной, с предварительным и справедливым возмещением, обеспечивающим собственнику получение соответствующего дохода, при соблюдении других условий, установленных законом».

Как много слов после запятой и как мало радостей для тех, кого по этой статье вправе выселить из собственной квартиры, где прожило не одно поколение предков, или из собственной дачи в местечке, ставшем малой родиной. Неужели непонятно, что обосновать, доказать, возместить можно что угодно? И горе той стране, где общественная необходимость продолжает ставиться выше личной. Разве нельзя заменить всего одну строку: вместо «надлежащим образом обоснованной и доказанной» написать «с согласия собственника»? И как спокойно станет у всех нас на душе, особенно в канун приватизации.

Но хватит критики. Отметим несомненные достоинства проекта. Прежде всего, исчезновение из названия государства идеологизмов. Хотя вариант Россий-

ская Федерация так и просит создания орденодающих земель.

Крайне важно конституционное закрепление двойного гражданства (а с учетом земельного — тройного), а также возможности замены воинской службы альтернативными гражданскими повинностями. Снимается с нас и обязанность свидетельствовать против самих себя, супругов и близких родственников. Обыск и арест станут возможными только по решению суда, а не с санкции прокурора, при этом существование чрезвычайных судов и военных трибуналов не допускается. Вообще, прокуратура упоминается в тексте лишь однажды. Похоже, ее роль сведется только к государственному обвинению в уголовном судопроизводстве.

Теперь о главном, ради чего существует любая конституция. Новое название страны не может закамуфлировать жесткую схему президентской республики, заложенную в проект, грешащий к тому же юридическими неточностями и излишествами. Из статьи 95(1) мы узнаем, что президент возглавляет исполнительную власть. Но по статье 103(4) он же может отменить акты Совета министров, председателя и членов которого назначает сам с согласия Верховного Совета. Что это, разделение властей внутри одной власти? Совет министров нигде не называется правительством, он просто исполнительный орган (не в пример нынешнему исполкому Моссовета, именующемуся правительством Москвы). Не совсем понятно, будучи советом, является ли он коллегиальным. Правда, в случае вынесения вотума недоверия парламентом должен уходить в отставку в полном составе. Но без возглавляющего его президента.

Трудно понять, кто такой вице-президент. В статье 100(2) говорится лишь одно: по поручению президента м о ж е т осуществлять часть его полномочий. Невольно вспоминается старый анекдот. Человек нанимается на работу.

- Что вы можете? — спрашивают его.
- Могу копать.
- А что вы можете еще?
- Могу и не копать.

Ну, допустим, вице-президент нужен на случай смерти, отставки, отрешения от должности президента

или его временной невозможности функционировать (тут вспоминается совсем не смешной анекдот — указ от 18 августа). Но для чего создаются Государственный совет и Совет безопасности (при наличии Совета министров), проект конституции объясняет весьма невнятно. Да и не многовато ли для налогоплательщика? Впрочем, чувство меры рано или поздно у авторского коллектива появляется. Записав в статью 105 еще один, четвертый орган исполнительной власти — Службу или администрацию президента — они допускают и вариант ее исключения из конституции. Но институт федеральных уполномоченных президента, координирующих деятельность территориальных служб федеральных государственных органов (статья 106), сомнению не подвергается. Вот вам и земли со своими орденами и законами. Ордена орденами, а власть властью.

Теперь попробуем привести все в единую систему. Есть некое высшее должностное лицо Российской Федерации, возглавляющее исполнительную власть, состоящую из:

- Совета министров,
- Государственного совета,
- Совета безопасности,
- Службы (администрации) этого лица,
- его федеральных уполномоченных на местах.

Все они назначаются высшим должностным лицом, иногда с согласия парламента, но ответственности это лицо с ними не разделяет.

К тому же высшее должностное лицо, принадлежащее вроде бы к исполнительной ветви триады властей:

- назначает референдум Российской Федерации,
- объявляет чрезвычайное положение,
- осуществляет право помилования,
- назначает и отзывает послов, имеет аккредитованных при нем дипломатических представителей,
- решает вопросы гражданства,
- награждает государственными наградами, присваивает почетные звания.

Так как же правильно будет назвать такое высшее должностное лицо?

В нашей стране оно называлось государь император.

Давайте уж сразу вспомним, что легитимность власти в России устанавливалась порядком престолонаследования. По условиям отречения Николая II легитимность последующих властей определялась позицией великого князя Михаила Александровича. Он представил Учредительному Собранию решить главное: республика или монархия? Большевики разогнали Учредительное Собрание. С тех пор законной преемственности власти у нас нет.

Из уст руководителя рабочей группы конституционной комиссии Олега Румянцева мы часто слышим привычное словосочетание — учредительное собрание. Так не лучше ли еще раз выбрать специальных, только для этой цели народных представителей, которые дадут ответ на исторический вопрос. Если наши избранники остановят свой выбор на монархии, в опубликованном проекте изменить придется едва ли не одну единственную статью — 1(3), где робко сказано: «В Российской Федерации установлена республиканская форма правления». Если они предпочтут республику, императорские полномочия президента придется урезать.

И все-таки давайте спокойно порассуждаем. Наверное, она должна быть, некая четвертая власть? Ведь награждать, миловать, принимать в гражданство, назначать и иметь при себе послов — дело не парламента и не правительства. Старушка Европа частично состоит из монархий, частично из республик. Причем на северных широтах последние являют собой редкие исключения, объяснимые сравнительно недавним происхождением государств (Ирландия, Исландия, Польша, Финляндия, а теперь и Латвия, Литва, Эстония). «Старожилы» (Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция) носят короны. Но в республиканских государствах Старого Света, кроме Франции и Финляндии, президент серьезными полномочиями не располагает (да и то Франция подумывает, не вернуться ли ей к законам Четвертой, а не Пятой республики). Главы Германии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Португалии выполняют фактически те же функции, что и их венценосные соседи. Кстати, президенты эти выбираются парламентом, а не всем народом. Мы же, боясь назвать вещи своими именами, изобрели очеред-

ной велосипед. Проект новой конституции предлагает Верховному Совету назначать т. н. народного правозащитника для надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (статья 46). Но история показывает, что народным правозащитником нельзя назначить. Им можно только родиться, т. е. быть таковым по рождению (правлящая династия) или от рождения (Андрей Дмитриевич Сахаров). Второго Сахарова не будет. Романовы еще пока живы.

Говорят, нам нужна сильная исполнительная власть. Но сильный президент — это не обязательно тот, кто вручает награды, милует смертников, принимает верительные грамоты. Чтобы это делать, нужна не власть, а легитимность. Природная или благоприобретенная. В общем-то все равно какая. Обе одинаковы.

А раз так, то не лучше ли опереться на национальные традиции. Все-таки престолонаследник плюс ко всему еще и помазанник Божий. А это для России немаловажно. И хотя по статье 67 опубликованного проекта государство не будет отдавать предпочтение какой-либо религии или атеизму, страна у нас, при всем обилии конфессий, православная.

Конституции не пишутся абстрактно. За каждой строкой обычно стоят конкретные люди. Людей этих мы сегодня знаем. Так может быть не спешить с еще одним проектом, который не выдержит испытание временем? Нельзя же, действительно, иметь в истории государства столько конституций, сколько правило вождей.

АНДРЕЙ КРАСИЛЬНИКОВ





СОБЫТИЯ В ОТЕЧЕСТВЕ



И так, свершилось!
То, о чем мы мечтали в тягучие десятилетия «развитого» социализма.

То, о чем мечтали наши родители перед войной и после войны.

То, о чем мечтали их родители, узнав о судьбе Учредительного собрания.

Нет больше ни ЦК ни ЧК.

Правда, обещают новые перевороты. Астрологи — авторитетным тоном знатоков. Ленинофилы — злоеющим шепотом, грозя скрюченным от возраста и злобы пальцем. Политологи — с интонацией сомнения и множеством оговорок.

И мы, верящие и не верящие в Бога, слушаем ново-явленных оракулов с внутренней дрожью: а вдруг и вправду вернуться. Словно, никак нельзя спастись от новой эпидемии лжи и невежества.

Так что же делать, чтобы навсегда?

Прежде всего, давайте признаем вопреки мнению газетчиков, что переворот организовала не коммунистическая партия. До августа КПСС вообще не могла ничего организовать.

Вспомним апрель. Заговор против генерального секретаря очевиден. Наиболее сильные его антагонисты из числа руководителей обкомов, распавшая свою паству, принимают в родных вотчинах резолюцию об импичменте. Генсек не в меру агрессивен. «Здесь не одна партия, а несколько», — бросает он осмелевшим бонзам. Интеллектуалы в ЦК мгновенно консолидируются и тут же, в кулуарах пленума, создают необходимый их лидеру щит. Противник перед выбором: раскол или отступление? Устав не позволяет идти напролом, как в 64-м году. Динозавры коммунизма трубят отбой. Почему?

Сказать трудно. Стенограмма пленума до сих пор не опубликована. Уже этим пробита брешь в стене гласности. Уже этим одержана победа: ведь молчание — предвестие террора. Но большего добиться не удалось. Как бойцы динозавры явно слабы: на сессиях и съездах депутатов их не слышно и не видно. Тактики никудышные: зачем было раскрывать карты перед сражением. Да и второй фронт многих отвлек.

Второй фронт — это Ново-Огарево.

Накануне пленума непотопляемый Горби делает ход с двумя восклицательными знаками, если применить шахматную запись. Он не просто заключает союз с левыми силами, как комментирует пресса. Он укрепляет могущество первых государственных лиц в республиках и ослабляет позиции нацкомпартий. Даже там, где республиканский руководитель сидит на двух стульях. Один из них начинает больше походить на полноценное президентское кресло, а второй смахивать по устойчивости на табурет висельника. Теперь смысл лезть на рожон остается только российско-украинскому партистблещменту. Но у блока Полозков-Гуренко силенок явно маловато.

Тем временем ново-огаревский процесс набирает мощь, доказывая бессмысленность расходов по проведению мартовского референдума. Впрочем, затраты общесоюзного налогоплательщика вернулись ему в виде президентского поста в России, сыгравшего ключевую роль в тушении августовского пожара. На втором фронте наблюдались лишь отдельные вылазки коммунистов-демагогов, желавших подсунуть четвертую бук-

ву «С» в осточертевшую всем аббревиатуру (где как не было, так и нет ни одного топонима — уникальный случай на карте мира!). Главный же удар готовил не человек с партбилетом, а человек с портфелем. Разумеется, министерским. (Партбилет у него, конечно, был, но издавна повелось разделять руководителей партии и правительства). Четверка «портфелистов» во главе с премьер-министром устроила настоящий шабаш в парламенте. А вельможный спикер их не одернул. Пришлось приехать президенту. «Портфелистов» пожурил, проблему заболтал (что ему не впервой), и вроде бы все успокоились, кроме очень уж левых репортеров, пытающихся все время объяснить нам, как это же самое было бы в другой стране.

Но, стоп! Это уже новый период истории.

Тут уж волей-неволей придется отвлечься и вспомнить предыдущие.

* * *

После 85-го года их было три.

Первый — весна 85-го — осень 86-го — «лигачевский». Егор-Юрий Кузьмич — человек номер два в партии, а стало быть и в государстве. Под его диктовку штампуются решения андроповского размаха: борьба с пьянством и виноградниками, борьба с нетрудовыми доходами, борьба с привилегиями. В общем, кругом одна борьба плюс война в Афганистане.

Осенью 86-го прошел слухок, что очередной пленум ЦК все время откладывается, что готовит его новый секретарь по идеологии Яковлев, и что будет он по значению равен съезду. В декабре в Москву вернулся Сахаров, а в конце января собрался долгожданный пленум. Начался новый период — «яковлевский». Старый лозунг — ускорение — постепенно исчез, понятие развитого социализма тоже, на первый план вышла гласность.

Теперь борьба велась уже не с выпивохами, а друг с другом. Партаппарат разделился на гвардейцев «серого» кардинала и мушкетеров Его Величества. Тексты и подтексты речей изучались тщательнее и трактовались многозначительнее, чем стихи из «Медного всадни-

ка». Дуэль весны 88-го вокруг химички-истерички раскрыла глаза на неблагополучие в партийных рядах даже слепому. Осенью главных дуэлянтов развели по разным углам: одному достался лимузин дипломата, другому — вездеход агронома. Летняя партконференция и последовавшая за ней пятая в истории КПСС целесообразность совмещения двух постов в одном лице¹ выдвинули новый приоритетный лозунг — демократизация. Наступил следующий период — «лукьяновский».

Опытный царедворец, он же поэт, он же профессор права, Анатолий Лукьянов-Осенев неожиданно стал самым нужным человеком. Предстояло провести государственную реформу, вернуть власть Советам, заменить голосование выборами. Первым специалистом по этим вопросам слыл старый университетский товарищ, сохранившийся в аппарате до звездного часа своего заместителя по студенческому комитету комсомола. Вынужденные долгие сидения рядом на съездах и сессиях сближали самым лучшим образом. Да и газетная шумиха правых — обратная сторона гласности — вынуждала хотя бы для вида сменить первого визиря. Новый фаворит коряво, но результативно провел патрона в президенты, сам воссел спикером и весьма конституционно стал «номером два».

Но здесь таилась первая опасность для «номера один». Оказавшись на Олимпе, ни мудрый Яковлев, ни осторожный Лигачев на сам трон не покушались. Один работал на историю, другому хватало рассудка трезво оценивать свои возможности. Завистливый полупоэт-полуюрист оказался отъявленным интриганом. Став телезвездой благодаря одурманивающим народ многочасовыми трансляциями действия, где он солировал вполне презентабельно для невзыскательной публики, до сих пор не знающей, а как «там», новоиспеченный спикер начал набирать не только очки, но и команду. Безупречное номенклатурное прошлое обеспечивало

¹ В 41-м и 58-м годах руководившие партией Сталин и Хрущев удостоились портфелей премьер-министра, в 77-м и 83-м Брежнев и Андропов стали Председателями Президиума Верховного Совета СССР, будучи Генеральными секретарями ЦК КПСС. Что касается Черненко, то он захватил оба поста сразу.

надежную поддержку класса аппаратчиков. Справа в бой бросалось любимое детище — группа «Союз», лидеры которой стали получать в Верховном Совете чаще других возможность говорить по самым выигрышным для общественного мнения вопросам повестки дня. Редкое заседание обходилось без злобного и скрипучего голоса полковника из Казахстана, ехидной реплики его коллеги из Латвии, инвективы депутата от Эстонии, страстной проповеди русскоязычного жителя Молдовы, гневного спича харьковского шофера и звонкой, отрепетированной речи белокурой дамы с мандатом от КПСС. На левом фланге образовалась коалиция марионеточных микропартий псевдодемократического толка, призванных быть массовой плюрализма. Одним достались кабинеты на Старой площади, другим — регистрационное свидетельство Минюста, всем вместе обещали портфели в коалиционном правительстве на встречах с всемогущим покровителем.

Прошлой зимой руками этой антипрезидентской коалиции были спровоцированы важные кадровые перестановки. Впервые в СССР назначения и смещения осуществлялись вопреки желанию человека номер один.

В августе президент в порыве откровенности заявит, что всей правды не скажет никогда. Наверное, это относится и к замене Бакатина Пуго, и к навязывагчию на съезде кандидатуры Янаева, и к воцарению Павлова.

Вообще, редкие президентские признания в момент сильного эмоционального напряжения служат ключом ко многим тайнам. Чего стоит одна только реплика в ответ на декабрьскую отставку Шеварнадзе: хотел-де его в вице-президенты предложить. Значит, кандидатура Янаева возникла спонтанно. Не мог же президент нести на съезд объективки на двоих, предлагая безальтернативные выборы. Значит, выпивоху Гену ему, как он любит выражаться, «подбросили». Когда? Тут же. Под горячую руку. Кто? Те, кто ждал этого момента, для кого он не стал неожиданностью. Ситуация просто прелюбопытная. Претендент знает, что его забаллотируют, и, будучи политиком до мозга костей, идет ва-банк, спасая репутацию свою и президента. Тот же еще надеется провести своего соратника в заместители и недооценивает группу «Союз». Возможно, рассчиты-

вает на университетского друга. Но друг не склонен уступать. Ему нужен именно такой вице-президент. А если точнее, вице-президент нужен именно ему. Не им ли в очередной раз перекроена конституция, придуман этот пост? Но доктор правоведения должен хорошо знать, что в ранее избранную модель президентства (французско-финский вариант) сия должность не вписывается. Торчит, как ослиные уши. Да и мыслимо ли, чтобы премьер-министр в структуре исполнительной власти занимал лишь третью ступень иерархической лестницы, к тому же в период коренных экономических реформ! Недаром сексуальный гигант Гена прослонялся по кремлевским коридорам без всякого дела аж до августа, подменив шефа лишь на малоприятных переговорах с шахтерами («Зовите меня козлом, если не выполню обещаний») и процедурах самоликвидации социалистического лагеря. Вице-президентство стало очередной новацией лукавого Лукьянова, и сработала она в нужный момент исправно: ведь при его любви к закону о законе процедуру замещения президента вице-президентом оговорить как бы забыли. Вот вам и прямой путь к указу от 18 августа.

Но это — реплика в сторону.

* * *

Итак, «лукьяновский» период закончился с началом ново-огаревского процесса и неудачной вылазкой Павлова в Верховном Совете, зачем-то транслировавшейся в прямом телевизионном эфире на весь распадающийся Союз. Начинался «ельцинский» период.

Но вернемся к партии.

Партия в июле провела очередной пленум. Неожиданно тихо: без особых нападок на генерального секретаря, без серьезных попыток устроить импичмент. К удару извне — указу российского президента о департизации, прибавился удар изнутри — проект новой программы социал-демократического толка. И динозавры и реформаторы быстро пришли к соглашению провести чрезвычайный съезд, где первые могли рассчитывать на революцию кадровую, а вторые — на революцию идейную. С тем и разошлись.

Но с этого момента старой партии больше не существовало. Президентская рать уже готовила плацдарм для отступления — Движение демократических реформ. А ее извечные оппоненты вынуждены были законопослушно исполнять указы Белого дома и разъяснять пастве важность абсолютно неприемлемого для них нового программного курса. Первым такой нагрузки не выдержал Кузьмич-второй, который тут же подал в отставку и слег в больницу. Его преемник вынужден был просить аудиенцию у беспартийного президента, где добился лишь отсрочки приговора.

Тем временем Союз ССР тонул. Горевали ли капээсэсовцы по этому поводу? Вряд ли. Обособление республик давало шанс спасти добрую половину организаций (Средняя Азия, Азербайджан, Белоруссия наверняка, Казахстан и Украина с высокой степенью вероятности плюс отдельные автономии России). Тогда как жесткая централизация создавала две проблемы: в унитарном государстве победить на выборах им уже не под силу (вспомним результаты Рыжкова 12 июня) и при общем ЦК на Старой площади чистоты марксизма-ленинизма добиться трудно. Но главными становились не теоретические споры. Надвигающаяся приватизация заставляла думать о проблеме треугольника: государственная собственность — партийная казна — личный капитал. Первое выкупалось за второе и превращалось в третье. Тут ново-огаревский процесс был только на руку.

Поэтому рассматривать партию как участника перелома не совсем верно. Истинными участниками стали те, у кого уходила почва из-под ног с подписанием союзного договора. Не рассчитывая на поддержку в политбюро горбачевцами, они сделали ставку на секретаря по оргработе Шенина. Начальник всесоюзного отдела парткадров был самой желанной фигурой в стане заговорщиков: через него шла связь с обкомами и крайкомами. В прежние времена одного его слова хватило бы для эскалации любого путча. Но сейчас старая схема ЦК — обком — народ не сработала. Феномен Ельцина безотказно действовал во всех крупных городах, а в уездных и заштатных, как известно, революции не свершаются. Партия не сразу поняла, в какую ловушку угодила. Шифровки динозавров, лишённые

всякого практического смысла, стали смертельным компроматом, а трехдневное молчание горбачевцев показало полную политическую индифферентность некогда руководящей и направляющей силы. Хотелось это кому-нибудь или нет, но курс КПСС за последние шесть лет заключался в умелом лавировании генерального секретаря между новым и старым мышлением, а попросту говоря, между мышлением и отсутствием всякой мысли, что являлось отличительной чертой прежнего режима.

Поэтому все четыре рассмотренные нами периода принадлежат одной исторической эпохе — горбачевской. Даже форосские неприятности не умаляют значение гигантской политической фигуры первого президента страны. Принимая власть от КПСС, Горбачев уже знал, что главным противником его курса станет не какая-то группировка, а партия в целом. Четыре периода его правления — это четыре этапа избавления себя и нас от главной чумы XX века. Первый период — период лозунгов и беспощадной чистки, избавившей от опасных конкурентов. Из политбюро, возведшего на престол нового генсека в марте 85-го, через два года остались лишь трое, включая его самого. Из одиннадцати секретарей ЦК девять получили свои посты за тот же период. Так разрушалась двадцатилетняя брежневско-андроповская иерархическая пирамида. И не мудрено возвышение на этом этапе лихого рубаки, аутсайдера из Сибири. Впоследствии тот будет недоумевать, почему так плохо кончилось то, что так хорошо начиналось. Что ж, посочувствуем наивному кадровику, не сумевшему достичь высот ни в идеологии, ни в агрономии, — обвели его вокруг пальца, еще как обвели.

Задача второго этапа — разрушение ложной идеологии, развенчание ее мифов — решалась рука об руку с интеллектуалами под предводительством «нового Лефорта» Александра Яковлева. Для камуфляжа сохранялось двоецентрие, делались уступки прошлому фавориту. Он и этого до сих пор не понял. Но результат получился отменный: к XIX конференции партия была деморализована, пресса либерализована, народ идейно раскрепощен.

Теперь можно разъединять сиамских близнецов — КПСС и государство. Первые свободные выборы выявили тенденцию декоммунизации власти. Там, где у избирателей имелась альтернатива, как правило, побеждал беспартийный или коммунист-демократ типа Ельцина, Собчака, Афанасьева. Съезд народных депутатов в мае-июне 89-го года стал откровением для страны. Члены политбюро, жавшиеся друг к другу в верхнем углу огромного зала, создали незабываемый зрительный образ ничтожества у миллионов людей. Свободные микрофоны рождали новых лидеров: умных, языкастых, раскованных. Противостояние количественного большинства группе, возникшей вокруг академика Сахарова, выглядело, несмотря на многократное превосходство в голосах, своеобразной духовной оппозицией общечеловеческим ценностям. Их лепет об идеалах социализма оказался несостоятельным: в среде народных избранников такое уже не воспринималось всерьез. Основной трибуной ветхозаветных излияний стали пленумы ЦК, где наиболее смелые уже не стеснялись бросать упреки вождю: замысел его становился все яснее. Вот и пришлось маневрировать на государственном уровне, сменив за полтора года три поста — Председатель Президиума Верховного Совета, Председатель Верховного Совета, Президент. А помогать тут мог только юрист-государствовед. Заодно помог вычеркнуть КПСС из конституции, что мгновенно отразилось на выборах республиканских парламентов: семь из пятнадцати возглавили некоммунисты (прошлое не в счет).

Четвертый этап должен был стать последним. Здесь уже требовался союзник решительный и твердый, вскормленный системой ее же могильщик. Роли удалось разыграть классически. Попытка слабого протеста в момент подписания Ельциным знаменитого указа 23 августа больше походила на кокетливое сопротивление барышни в известных ситуациях.

А партия так и не поняла, кто на самом деле провел блистательную операцию по ее ликвидации.

Горбачев признался, что никогда не скажет всей правды. Приходится делать это другим.

* * *

При организации переворота партия уже была ни при чем. И дело не в том, что партаппарат оказался отесненным с передовых рубежей политической жизни. Произошел более важный процесс: партократия расслоилась по пресловутым национальным квартирам. Сильный центр в КПСС исчез еще летом 90-го года, когда политбюро, если не брать генсека и его заместителя, избранных напрямую съездом, обновилось на сто процентов. Больше половины составили руководители республиканских комитетов, а остальные не имели серьезного политического веса. От ордена меченосцев остались одни воспоминания. Сдерживать ново-огаревский процесс Старая площадь и не могла и не хотела: там на него взирали с равнодушием мерина. Коммунисты из ЦК теперь не управляли коммунистами во всех городах и весях. А у последних отношение к союзному договору формировалось, естественно, разное. В едином сильном Союзе всерьез нуждались только те, кого объединяло понятие центр. В партии к их числу относились лишь некоторые секретари ЦК.

Говоря о центре, нужно видеть за его политической надстройкой мощный экономический базис — государственный сектор в промышленности и его колхозно-совхозный аналог на селе. В первом под угрозой оказывались предприятия военно-промышленного комплекса, отсюда появление Тизякова в рядах ГКЧП, во втором — хозяйства-гиганты, отсюда и соседство с ним Стародубцева. Каждый из них сам по себе являлся центром, поскольку возглавлял конгломерат верных режиму субъектов государственной собственности (не будем выделять колхозную по причине ее конформизма) на всей территории СССР. Вот почему номенклатурная шестерка превратилась в хунту из восьми человек: уральский промышленник и нечерноземный агрогенерал добавились в нее не как народные заседатели в суде первой инстанции, а как полновесные члены «советского руководства». Естественно, на первых ролях оказались «портфельисты», чья карьера повисла в воздухе: Павлов, Крючков, Пуго, Язов. Понимал, что не пройдет на всенародных выборах и Янаев. Должность Бакланова (заместитель председателя совета обороны) упраздняясь бы вовсе.

Но не шестерка пошла в атаку первой. Еще весной сам президент нарушил традиционное равновесие сил, поддержав новую инициативу Явлинского. Такого практика советской бюрократии еще не знала: за спиной у «портфельистов» создавалась практически новая экономическая программа. И кем? Ельцинскими мальчишками! Главный орган перестройки газета двух Яковлевых в максимально унижительной для кабинета форме поведала миру, как президент и юный теоретик на уик-энде эпатируют окружающих своим непосредственным общением. Запад всю эту затею принял за чистую монету. Вот и пришлось премьеру взывать к благоразумию парламента. Так и хотелось сказать: отнимите дополнительные полномочия у венценосного безумца, дайте их мне, вашему будущему спасителю.

Вот бы когда отправить всех в отставку, Но наш президент на провокации не реагирует. И вообще он человек выдержанный. Если решил казнить центр 20 августа, то быть по сему, и ни на день раньше.

Жизнь рассудила иначе. Впервые против воли Горбачева. Но запас этой воли оказался слишком прочным, чтобы дать повернуть вспять дело его жизни. Не улыбка фортуны, а историческая закономерность позволила ему всплыть из-под волны, накрывшей с головой на мысе Форос. Теперь у бывшего Союза оставался один реальный центр — сам президент. Глобальный демонтаж велся уже по трем направлениям: коммунистическая партия, властные структуры СССР и государственная собственность. Первое хунты не касалось совсем, второе било по Янаеву, Павлову, Бакланову, Крючкову, Пуго, Язову, третье означало конец Тизякова и Стародубцева.

Ценою крови трех красивых молодых людей (об остальном можно умолчать) конец удалось отсрочить на один день: центр умер не 20 августа с подписанием союзного договора, а 21-го, после ареста заговорщиков.

Под его обломки угодила и КПСС. Но погибла ли она окончательно, как всем нам показалось поначалу!

После очередной мимикрии на июльском пленуме партия уже не могла влиять на ход истории. Августовские события в корне изменили ситуацию.

Организационная ликвидация этого монстра тоталитаризма сродни неумелому лечению дурной болезни, когда та не искореняется, а загоняется вглубь организма, откуда периодически напоминает о себе. Нет, КПСС не умерла, она только теперь может распрямить крылья. Она избавилась, наконец, от вождя-ликвидатора. Пусть с ним ушла добрая половина членов: есть еще кому не поступаться принципами. Пока же мы с улыбкой взираем на беснования инвалидов холодной войны под дверью мраморного трупохранилища и у стен бывшей городской думы. Саркастический комментарий сопровождает полурепортажи-полулегенды о тайных встречах в лесу и подпольных собраниях. И уж совсем не смешно видеть вчерашнего диссидента, ныне возведенного в ранг писателя за эксерсизы в житийном жанре, призывающего к вполне легальной сходке.

Скоро таких сходок будет все больше и больше. Заложный в человека матушкой-природой нонконформизм в условиях поголовной демократизации устремится в свою законную нишу, с барельефами вчерашних кумиров. А тут еще и экономическое положение...

Нет, я говорю не о пустых магазинах. Они могут вызвать бунт, включая «бессмысленный и беспощадный», но не интерес к марксизму-ленинизму. Я боюсь магазинов полных, если таковые возникнут не сразу и повсеместно, как при НЭПе, а станут постепенно появляться в процессе ползучей выборочной приватизации к вящей злобе голодного народа, которого язык не поворачивается в этой ситуации назвать толпой.

Конечно, свалившись на дно пропасти и вынужденные карабкаться в гору, мы не можем лезть строем, крепко взявшись за руки, делая одновременно по одному шагу вверх. Придется строить живую пирамиду, подсаживать кого-то (очевидно, сильного), чтобы он сверху вытягивал нас по одному. Но первым хочется стать каждому. А последние всегда боятся: не бросят ли их на произвол судьбы. Иные даже готовы умереть на дне пропасти, лишь бы не испытывать перегрузки

при восхождении. Чем не благодатная почва для возрождения утопических уравнилельных теорий? Одинаково хорошо жить нельзя, одинаково плохо — можно. Мы уже в этом убедились. На собственной шкуре.

Сегодня нужна очень осторожная экономическая политика. Пока не видно, чтобы победившие демократы ее проводили. Девизом революции 17-го года было — грабь богатых. Не приведи, Господь, если девизом революции 91-го года станет — грабь бедных. Пока же такая тенденция не исключена.

Эта реплика — призыв не к популизму, а к благоразумию. Зачем вскармливать новую гидру? Ведь идеи быстро не исчезают, даже идеи марксизма-ленинизма. Не продумаем что-нибудь, поспешим — и экономику не поднимем, и компартию, сами того не желая, реанимировать поможем. Идеология вообще-то удел оппозиции. У того, кто у власти, оружие — дело, у его оппонента — слово. Как были мы прекрасны у микрофонов в конце восьмидесятых, как велеречивы на трибунах в начале девяностых! А почему? Да ведь не обременяла нас государственная ответственность. Отхлестаем по щекам Рыжкова, и в Америку — лекцию читать о перестройке или ужасах тоталитаризма. Запрудим Манежную площадь демонстрантами с перечеркнутыми накрест портретами Горбачева, и в Дом кино на ночную тусовку. Теперь все поменялось местами. Теперь с Ельцина, Попова и Собчака за нищету спросят, а не с Павлова. Теперь не про Яго с Пузовым или Пузо с Яговым каламбур сочинят, а про Мурашова с Травкиным. Например, демократ Муравкин. Чем не образ?

Кстати, о демократах. Не пора ли объявить мораторий на это понятие? До августовских баррикад и на них оно было совершенно конкретно — противник прежнего режима, оппонент КПСС. Но вот свершилась почти бархатная революция. Вчерашние демократы стали бюрократами. И не только по служебному положению. Многие и по духу. Не прошло и двух месяцев, как стало ясно: новая власть костями ляжет, но ни народу, ни его депутатам власти не даст. Постыдный митинг у стен Моссовета, где с перекошенными от злости лицами новоявленный Марат и новоиспеченный Робеспьер требовали от всех народных избранников

справок о непричастности к КГБ (невольно вспомнишь Райкина), сравним лишь с оргиями людей в коричневых рубашках. Кому это на руку? Да той же компартии, терпеливо ждущей своего часа.

Парадоксально, но перестройка в КПСС только началась. Сброшен балласт — тугодумы, староверы и реликтовая немощь. Откололись розовые. Ушли хлюпики с двойной моралью, читавшие тайком самиздат, витийствовавшие на кухнях, но, на всякий случай, державшие в кармане вместе с фигой и партбилет. Вы думаете, осталось мало так называемых «идейных»? Не обольщайтесь. Их больше, чем демократов российских, конституционных, социалистических, христианских, либеральных, народных и прочих вместе взятых. Эпоха мимикрии закончена. Прятать когти больше не нужно. Не надо теперь искать у Ленина цитаты, оправдывающие разгул гласности и демократии. Пора снова доставать из этого бездонного кладезя самых разнообразных мудрствований призывы к классовой борьбе, чистоте теории, экспроприации и стремлению к идеалам коммунизма. И найдутся сотни тысяч, а может быть и миллионы тех, кто на могилах Пуго и Ахромеева поклянется идти другим путем.

«КПСС умерла, да здравствует КПСС!» — воскликнем мы, ужаснемся от такого признания и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы она не здравствовала больше никогда. Будем умнее в экономике, гибче в политике, деликатней в повседневном общении с людьми самых разных взглядов. За периодом владычества коммунистов в народе закрепился фольклорный образ если не изобилия, если не скатерти-самобранки, то и не пустых прилавков. «Пили-ели и нам давали», — вот как вспоминают вождей застойно-застольного времени простые люди. Кошмарное, циничное скудоумие, тут уж не побоюсь сказать, толпы. Но и с ним надо считаться. Ведь до сих пор остается неразгаданной главная загадка двадцатого века: как можно тремстам миллионам граждан богатой страны иметь сырьевой запас, достаточный для натурального хозяйства, каждый день дружно ходить на работу, трудиться по восемь часов и ничего не производить. Во всяком случае на внешнем рынке плодов наших рук почти нет, а на внут-

реннем они едва заметны на фоне импорта. Каждая партия имеет свою социальную базу. Социальная база коммунистов — нищета. Борьба с КПСС — это не уствования на сессиях, это не ликвидация партаппарата и даже не суд над ГКЧП. Это прежде всего борьба с нищетой. По-другому жизнь подавляющего большинства наших соотечественников не назовешь. Мы даже боимся обнародовать величину прожиточного минимума — она немногим меньше средней зарплаты в стране.

КПСС жива. Под другим названием, под другим флагом, с другой программой, но жива. И будет жить, пока мы бедны, пока человек первые полдня работает по найму, дабы получить на пропитание, а вторые полдня это пропитание добывает в многочасовых очередях. Прежде, чем встать с колен, нужно подняться с четверенек. А мы, похоже, до сих пор еще на них. Выпрямимся в полный рост — исчезнет всякое воспоминание о компартии, а пока ее тень еще маячит над нами.

Поэтому, господа демобюрократы, поднимите людей на ноги. Ведь те, кто уже принял такую позу, никогда не поддержат ваших вчерашних политических соперников, даже если будут не согласны с вами.

Но воюя с нищетой, помните, что борьба с любым явлением, достигшим такого масштаба, это не искоренение его, а лечение от него. Высокоставленные демократы пошли в наступление на проблему с большевистской решительностью и собираются изменять ситуацию большевистскими методами. Большевистскими — это не значит насильственными. Главное зло Ульянова и К° ищите не в кожанке и не в нагане. Просто эти малокомпетентные люди взяли на себя непосильную ношу решать за огромную страну все ее проблемы, руководствуясь исключительно субъективным пониманием добра, блага, равенства и прочих отвлеченных категорий. Не то же ли самое мы наблюдаем сейчас? Августовские триумфаторы, окуклившиеся в исполнительную власть, в лучшем случае стараются не замечать своих вчерашних соседей по парламентским скамьям, а то и норовят выставить их на посмешище перед избирателями: толпятся у микрофонов, мешают работать, демонстрируют некомпетентность. Да, отдельные депутаты иногда предлагают невыполнимое.

Но на то они и законодатели, чтобы коллегиально искать оптимальное решение, воплощая его в жесткие нормотворческие рамки. Их компетентность должна быть коллективной. Но, простите, где же компетентность исполнительной власти? И что она по-настоящему исполнила хотя бы после 12 июня? Возьмем такой важнейший закон, как «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР». Начинать приватизацию без наделения нищего населения стартовыми платежными средствами — значит делать подарки толстошумам (в том числе и нечистым на руку)! К 1 ноября по всей республике должны быть сверены списки граждан. Не Бог вещь какая сложная задача. Но где они? Или тоже депутаты мешают? Нет. Просто чиновничество не привыкло делать то, за чем не стоит прямая для него выгода. Ну какой л и ч н о председателю райисполкома прок в том, что он внесет вас в перечень жителей для сбербанка? Не дадите же вы ему за это взятку? Вот когда он придумает, как примазаться к вашим безналичным и абсолютно условным деньгам на приватизационных счетах — тогда дело сдвинется с места. Не придумает — убедит президента и парламент изменить закон. Не словами убедит, не аргументами — бездейтельностью своей. Еще полгода назад такого председателя могли снять с работы депутаты. Теперь уже не снимешь: восстановлена святая святых административно-командной системы — иерархическая вертикаль. (Заметим в скобках, что в таком жестком варианте ее не было ни при Сталине, ни при Брежневем.) Да и председатель исполкома больше не председатель, а глава местной администрации. Кое-где уже даже мэр, а то и премьер правительства. (Чувствуете разницу: был председателем исполкома, стал премьером правительства!) Назначает и смещает его глава более важной администрации, того — еще более важной, и так вплоть до президента. Но чины новы, а люди те же.

Пока старые столоначальники не покинут коридоры власти — КПСС жива. Чиновный произвол, чиновный саботаж — это ее почерк.

Пока исполнительная власть вытесняет представительную — КПСС будет жить. Презрение к народу, его избранныкам — это ее наследие.

Пока властные полномочия не делегируются снизу, а распределяются сверху — КПСС нечего бояться. Администрирование и централизм — это ее оружие.

Говорят, вынуждает ситуация. В 18-м, 19-м, 20-м, ...-м объясняли тем же.

Поэтому не будем праздновать преждевременную победу. Не будем спешить списать в архив дело с названием «большевизм». Избавиться от большевизма — это значит уничтожить его в самих себе.

А. К.





ПОЗДРАВЛЯЕМ!



В ноябре Дмитрию Сергеевичу Лихачеву исполняется восемьдесят пять лет.

Мало, кто может похвастаться, что родился до советской власти, работал при советской власти и продолжает работать после нее.

Нет, слово «работает» не очень точно в отношении Дмитрия Сергеевича. Его труд ученого, литератора, общественного деятеля велик и многообразен. Он известен каждому мало-мальски грамотному русскому человеку, поскольку в девятом классе (а сия чаша не минует никого) изучается «Слово о полку Игореве», и лихачевские строки об этом загадочном памятнике нашей культуры одним навсегда западают в душу, другим служат шпаргалкой на экзамене. Но то, что последними воспринимается утилитарно, как некий научный и писательский труд, для первых значит существенно больше. Рискну употребить забытое слово миссионерство.

Энциклопедический словарь и здесь лаконичен. «Миссионерство, деятельность представителей религиозных организаций, направленная на распространение своего вероисповедания среди инаковерующих».

Но разве не этим всю жизнь занимается академик Лихачев?! Просто религия его — культура, а прививать ее приходится абсолютно бескультурному обществу,

И с терпением стойка Дмитрий Сергеевич врачует нас добрых шестьдесят лет. Наверное, точкой отсчета можно считать жуткую ночь массовых соловецких расстрелов, еще задолго до 37-го года, когда юный узник ленинского концлагеря чудом спасся от большевистской пули. Но чудо — воля Провидения, и оно спасло для России великого гуманиста, чей спокойный интеллигентный голос сотворил духовный переворот не в одной душе советского туземца, метко окрещенного «гомо советикус».

В годы застоя у власть предержащих не нашлось силы сдержать его миссионерство. Исчезли в психушках и лагерях целые группы замечательных смельчаков, пытавшихся сказать народу правду, а академик-одиночка говорил то же самое другими словами, другой интонацией и добивался поразительного эффекта понимания со стороны сограждан и не менее поразительного эффекта снисходительного одобрения со стороны правящей верхушки.

Лихачев мог бы жить в башне из слоновой кости и оставаться великим. Но мы видим его на трибуне в самые тяжелые часы современной истории. Вспомним прощание с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Кто еще в нашей стране имел моральное право открыть панихиду? Вспомним III съезд народных депутатов СССР, короткую речь на нем старейшего избранника народа, положившую конец опасным распрям. Вспомним события недавнего августа: Лихачев на Дворцовой площади на митинге народного гнева против вооруженной авантюры ГКЧП.

Вспоминается и другое. Московский дворец молодежи. Заря эпохи гласности. Председатель Всесоюзного фонда культуры Лихачев встречается с юной творческой интеллигенцией. Вот где, казалось бы, порадоваться плодам своего миссионерства. Но обстановка в зале удручающая, поведение молодых дарований вызывающее. Академик встает и уходит за кулисы. Говорят, прихватило сердце.

Простите нас, Дмитрий Сергеевич, за тот вечер. И не дай Вам Бог усомниться в результатах Вашего подвижничества. Пока Вы с нами, мы еще можем стать лучше. Доброго Вам здоровья и долгих лет жизни!

С днем рождения!



СМЕСЬ



Начиная публицистическую рубрику в реанимированном, тем более классическом журнале, мы пришли в некоторое замешательство.

И вот почему: нам неловко.

Даже классическая публицистика — вещь групповая и скандальная, не тяготеющая к субъективности. Она всегда объективна, и уж если не морализирует, то незаметно существует в этой области.

В этом смысле к миру культуры публицистика имеет отношение только формальное — являясь стандартным набором морфологом, сочинением на заданную тему. Тему затрепанную, но живучую — культура и общество. Таким образом, публицистика, как предмет нашей собственной неловкости, почти всегда расставляет нравственные ориентиры в культурном пространстве, говоря словами самих «культурных деятелей» или деятелей от культуры, а это значит, что мы всегда рискуем оказаться, в лучшем случае, в ситуации разделения культурных границ, в худшем — за ними.

Всегда заманчиво оказаться в худшем случае. Хуже уже не бывает, и иллюзия психологического комфорта позволит ощутить не одну интеллектуальную эмоцию. Худшая ситуация всегда позволит себя отрефлектировать-

вать, что непозволительно в жестко установленных нормах и границах.

Поэтому мы все же решились. Тем более, что традиция, заявленная почтительным отношением к седому прошлому журнала, требует сохранения прежних ориентиров. Будем традиционными.

Традиции представляются нам важными на следующем этапе исследования. Мы слишком почтительны для непростительного легкомыслия в анализе прошлого.

Речь пойдет в настоящем продолженном времени, вероятно на самом деле προϊстекающем в момент речи. Выбор времени не случаен. Он характеризует стиль самой эпохи — безответственной и к происходившему, и к возможности любого происхождения.

В то же время, продолжительность времени речи напрямую связана с существованием «экранной культуры» (под этим термином мы будем понимать не столько кино и видеоряд, сколько традицию восприятия информации не вербально, а через реально существующую или воображаемую картинку). «Экранная культура» склеивает пространства выражения и восприятия, лишая тем самым читателя любого публицистического текста возможности осознания собственной позиции.

Необходимо отметить, что принцип «картинки» становится одним из ведущих принципов современной журналистики. С одной стороны она («картинка») выворачивает вербальное пространство в элементарный видеоряд, позволяя тем самым привлечь внимание неструктурированного лингвистически подобия гражданского общества. И затертое пророчество бывшего вождя о «важнейшем искусстве — искусстве кино» реально отражает серьезное осмысление новой культурной среды, понимание и восприятие которой может быть только «картинно» обеспечено.

В качестве отступления позволим себе заметить, что кино сейчас не является матрицей понимания (проблемы документального и учебного кино), а все вербальные коммуникационные структуры, наоборот, тяготеют к «экранности». Парадоксальная ситуация. Тем не менее закономерная. Публицистика как жанр складывалась именно картинно, формируясь одновременно с

идеями равенства и братства. Видимо поэтому считалась равнодоступной разным социальным сообществам в самые разные исторические периоды, что и поначалу носило, впрочем и ныне носит отпечаток политики и выглядит обманчиво демократично.

В то же время формирование и существование публицистики имеет непосредственное отношение к «культурным», а не социальным феноменам, поскольку с самого появления на литературной арене выделялась как функция, несущая и расставляющая установки. В этом смысле публицистика как жанр берет начало с американских листовок прошедшего столетия, сообщающих жителям о приметах преступника и характере вознаграждения за его поимку. Даже сейчас все в пределах жанра: описание примет ситуации и вознаграждение — адекватное усвоение установки.

Итак, можно отметить, что у публицистики два амбивалентных качества: однозначная листовочность с бесконечными описаниями примет и гайдпарковая митинговость. Обе эти характеристики, в зависимости от употребления в конкретный период и в конкретном географическом месте, определяли и определяют стиль прессы. Примеров немало. Интонация монолога прикрывает явно митинговую ориентацию.

Таким образом, очередные цитаты из наших вождей (как сохранившиеся в сознании в лучшем состоянии) о коллективном организаторе по-прежнему актуальны. Экран задает картинку, в картинке — набор узнаваемых ситуаций. Очень важна роль тапера. В публицистике это интонация. Обычно она доверительная. Однако есть и музыкальные перемены. Перемены стиля воззваний на ерничество. Ироническое отношение к описываемой ситуации скорее всего подразумевает понимание ситуации и радостное желание поделиться этой эмоцией с окружающими.

Анализируя этот эффект мы пришли к выводу о том, что начало присутствия анализа в современной публицистике порождает феномен «третьей страницы»: на первых двух чертеж ситуации, на третьей — понимание, на остальных обхохочешься.

Иногда «третья страница» склеивает весь стиль, тогда возникает триумфальное шествие названий, заголовков,

ну, чуть позже, и текстов, состоящих из склеенного трехстраничника. Вот примерчики из разных изданий:

«УК стал короче. И мягче»

«Мосфильм ищет новых сценариев. Приватизации»
Сначала ситуации. Потом ахاهشник. Попозже текст. Наверное, публицистические тексты всегда создавались не для понимания, а для поглощения, с дальнейшим цитированием.

Абзацы в современном публицистическом тексте определяются набором вводных слов:

По оценкам (специалистов, экспертов, аналитической группы)

Сегодня

Первый тип

Второй тип

Тем не менее

Традиционно

По прогнозам, по мнению, по приблизительным оценкам (аналитической группы, специалистов, экспертов).

Такая вот кольцевая композиция любого сочинения на заданную тему. Абзацы могут делать текст иначе, с учетом ориентации определенных групп потенциальных читателей:

Говорят

Пожалуй

А насколько это типичная ситуация

Я однажды беседовал, я получил представление

Тут все упирается в одну большую проблему

Кстати

В этом смысле

А что касается

Может я и ошибаюсь, но...

Наверное необходимо определить темы публицистики. Их две. Нет. Три.

Во-первых — про возможность использования чужого опыта.

Во-вторых — про понимание собственного.

В-третьих — примеры (почему-то обычно из литературы).

Таким образом, публицистика формирует модели непройденных будущих ситуаций, которые обычно за-

ставлены, загромождены стилями, жанрами, вводными словами, точками и двоеточиями, самыми разными вербальными украшениями, скрывающими речь и выставляющими вымученную и измученную картинку.

А в картинку впечатываешься. И отождествляешься с ней. Такое свойство картинок. И забываешь и про понимание и про содержание. Понимал бы — сам писал бы.

Вот и пишем.

Про себя.

Отмечая следующие вопросы: создание стиля — содержательная проблема или формальная? И если публицистика за свою долгую историю упражняется в разных стилях, то что остается от содержания и было ли оно?

НАТАЛЬЯ ЖАДЬКО



ХОТИТЕ СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ? ПРОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ ПРОХОДНЮЮ

Всякие форумы и конгрессы знавала Москва. Даже Олимпийские игры. Но такое событие ожидалось впервые — совещание в рамках хельсинского процесса. И не по каким-нибудь проливам или стратегическим бомбардировщикам, а по человеческому измерению, попросту говоря, по правам человека. Именно этой пресловутой «третьей корзиной» и была для нас в свое время интересна инициатива 35 глав государств и правительств и все, за ней последовавшее и из нее вытекавшее. И вот дождались — очередная встреча министров иностранных дел в Москве.

Начало ее стало необычным. Буквально накануне получившие независимость из рук новорожденного Государственного совета СССР (почему не Съезда народных депутатов?) Латвия, Литва и Эстония, а также пробудившаяся от коммунистической спячки Албания были приняты в число стран-членов СБСЕ. Такой жест вселяет надежду, что документ, принятый шестнадцать

лет назад в столице Финляндии, носит долговечный характер и не устаревает даже после формально противоречащего ему пересмотра границ (из двух Германий — одна, из одного СССР — как минимум четыре субъекта международного права).

Но не приятных церемоний пополнения европейского семейства, не речей министров, не словопрений экспертов и даже не рассказа советского президента о необычайном приключении, бывшем с ним летом на даче, ждали мы с таким нетерпением. Быть гостем на чужом пире не очень интересно. Хочется устроить свой. Такая возможность традиционно представляется во время всех совещаний под эгидой хельсинского процесса. Называется это параллельными мероприятиями. Именно на них съезжается европейская и североамериканская общественность, что называется, на других посмотреть и себя показать.

Программа параллельных мероприятий оказалась обширнейшей, на любой вкус. Ее первые дни получили розово-голубую окраску: за круглым столом обсуждались права лесбиянок и гомосексуалистов в Европе. Затем настала очередь симпозиума по проблеме «Европейское правовое пространство: свобода передвижения».

Посещение его оставило у вашего покорного слуги крайне тягостное впечатление. Началось все с глухого забора и проходной будки с милиционером, через которую нужно было проникать в здание б. Академии общественных наук при ЦК КПСС (лучшего места в Москве не нашлось!). Заорганизованность за партийными стенами напоминала застойные времена. И хотя было произнесено немало интересного, впечатление искренности, живости общения, присутствия взволнованного собеседника не ощущалось. Человеческое измерение производилось здесь казенным академическим метром (точнее, мэтром). Хорошо знакомые между собой ученые мужи в очередной раз рассказали друг другу о всех видах проблем: беженцев, трудовой миграции, национальных меньшинств, усыновления детей, эмиграции евреев и т. д. На следующий день главные выводы свели в некий рекомендательный документ для официальных делегаций. С тем и разошлись.

А мы-то, наивные, ждали страстного разговора о нашей прописке — последнем наследии сталинизма — или протеста против нарушения прав рабочих-мигрантов (новая актуальная тема для СССР). Но обо всем этом если и говорилось, то вскользь, наукообразно и законопослушно.

На остальные шестьдесят мероприятий ваш корреспондент просто не пошел.

Остается назвать главного церемониймейстера события. Им был Союз советских обществ дружбы с зарубежными странами. Организация, в руководящее кресло которой надолго приземлилась первая в мире космонавтка, и откуда совершил свое головокружительное восхождение по маршруту Старая площадь — Кремль — Матросская тишина эрзац-президент СССР Янаев.

Как видно, превратить в унылое, заурядное «мероприятие» можно и встречу международной общественности. Если она проходит в Москве.

А. К.



О ФОНДАХ ВООБЩЕ И ФОНДОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В последнее время существует несколько ситуаций, в которых фондам предоставлена определенная роль. В отличие от творческих союзов, располагающих собственной инфраструктурой, механизмами закрепления и распределения статусов между членами, а также недвижимостью, деньгами и всем тем, что принято называть ресурсами, фонды, несмотря на видимую похожесть функционирования, находятся сейчас в нескольких других условиях.

Ситуация на поверхности общая — раздел имущества (часто и не принадлежавшего фондам или союзам).

Тем не менее у фондов практически нет членов, претендующих на часть средств и территорий. К настоящему моменту многие фонды — это фантомы без целей и программ, сформированные за последнее десятилетие для решения чисто банковских проблем — накопления средств и субсидий.

Фонды, как правило, благотворительные организации, существующие на пожертвования и ведущие собственную коммерческую деятельность, которая дает возможность самым разным предпринимательским структурам спастись от прогрессирующего налога. В последнее время фонды стремятся не направлять средства на создание программ сторонних структур или организаций, а создавать собственные проектные коллективы с заведомым отсутствием результата и тем более внедрения.

Несмотря на дискредитацию фондового движения из-за бездеятельности и информации об оседании практически всех средств в самих фондах, тем не менее, волна основания новых фондов не спадает. Фонды используются для формирования рекламной среды идей и программ, но вся эта деятельность направлена на переправку средств на Запад; так, например, во время путча почти все коммерческие структуры спасали свои средства через перекачку на фондовские счета на Западе под определенные проценты — в финансовом отношении фонды выиграли, а также для устройства кадров из расформированных организаций.

Новоиспеченные фонды образуются по однотипным моделям, особенно, если учредителями выступают западные фирмы или частные лица.

Для этого прежде всего необходимо найти несколько, в пределах десятка, звезд средней величины в области культуры и науки. Иначе не пройдет первый этап: воззвания к соотечественникам, посольствам, правительствам, менатепам и МММ. Желательно основать фонд в творческой обстановке (после концерта в Альберт-холле или Гранд-Опера) и иметь уже готовую легенду создания. После этого обязательно готовятся буклеты с персоналиями участников, красивыми картинками, душещипательными фотографиями и т. д. На этом этапе можно обойтись без предъявления программы, а также создания собственной отличительности от других фондов.

Часто случается, что деятельность новоиспеченного фонда уже продублирована не одним десятком организаций. Это не страшно. На первом этапе.

Президентом фонда избирается лицо с творческой, но обязательно скандальной или «всемирно известной» политической биографией. Сопредседатели — по одной звезде с каждой стороны, имеющие неформальные связи со здравствующим правительством, а лучше с несколькими. Открываются счета — это очень важно.

Начинается второй этап — письменный.

Список лиц, которым направляются письма, воззвания, обращения, зависит от темперамента и творческой фантазии самого руководства:

- правительства,
- посольства,
- Академии и академики,
- пресса,
- фирмы и организации,
- муниципалитет,
- муниципальные структуры — по профилю фонда,
- министерства (обычно — культуры),
- друзьям звезд и т. д.

На письменном этапе возникает необходимость написания программ и проектов. Это делается очень быстро — никто ведь не собирается их на самом деле реализовывать. Проекты обычно касаются здравоохранения, образования, иногда творчества и спорта. Государственные структуры пока пребывают в иллюзии, что хоть на эти дырки в их хозяйстве фонды бросят свой неукротимый энтузиазм. Обычно, проекты в точку. Это ОБЕЩАНИЯ. Традиционный проектный жанр.

На письменном этапе начинаются переговоры. Ведутся по двум направлениям:

1. с властями — по поводу недвижимости и земли для реализации проектов;
2. с коммерческими службами, структурами и фирмами — по поводу денег и оборудования для офиса: ксерокс, факс, компьютеры.

Параллельно идет игра: ОБЕЩАНИЯ, но уже властям, денег на их проекты и социальную поддержку, фирмам — поддержку властей и землю под совместные постройки. Ключут 60%. В результате — несколько

домов под офис, под проекты, готовая пресса, пробивка программы на ТВ, офисное оборудование и пр. На это уходит 3—4 месяца.

На письменном этапе начинается поиск проектировщиков и исполнителей.

Если их сразу не находится — шеф фонда, «творческая личность», сочиняет их сам, потом подписывает каждый экземпляр у отдельно взятой личности, желательно суперличности, потом ксерокопирует — получается отличный повод для АКЦИИ. Кстати, акционность сейчас ведущее направление деятельности любого фонда.

На этом письменный этап продолжается.

Но начинается новый этап — подготовка ПЕРВОЙ АКЦИИ с параллельным окучиванием властных структур. Наверное, жанр первой акции — очень правильный ход, т. к. имеет непосредственное отношение к культуре мифотворчества, и вся фондовая политика проистекает в рамках определенных мифологий.

Присутствуя на выборе Первой Акции, ощущаешь гениальность спасения древнегреческого полиса от чудовища при помощи жертвоприношения. Ритуальное действие сопровождается всеми атрибутами, приличествующими случаю.

Но поскольку акция направлена на привлечение к деятельности фонда, а новые фонды практически не имеют официальных каналов для встречи в верхах, то обязателен политический характер.

Наконец, характер акции определен тривиально — благотворительный концерт. Для престижа используются престижные площадки, например Большой театр, и престижные исполнители. Это предьявляется приглашенному руководству, а потом — присутствие руководства предьявляется еще не ангажированным исполнителям. В результате почти все соглашаются.

Привлекается пресса — под исполнителей и правительственную ложу.

Послеактовый период проходит в умиротворительном получении подарков.

Потом ищется повод для второй акции и третьей...

Полученные помещения сдаются в аренду коммерческим структурам и т. д.

Перемещение кадров в новых фондах происходит в пределах каждой акции и подготовки к ней. Критическая ситуация, сложившаяся в старых государственных Фондах, приводит к постоянному притоку рабочей силы фондовых профессионалов и их связей в новые фонды. Ситуация с прессой заключается в постоянной подпитке какого-нибудь ведущего полосы в должности руководителя отдела по связям с общественностью с окладом в пределах 1,5—2 тыс. рублей.

Практически все фонды тяготеют к изданию собственных печатных изданий, понимая под этим собственную финансовую выгоду и отчетность за собственную активность. Обычно ориентируются на финансовую и полиграфическую базу зарубежных учредителей, которые ничего не могут предложить для распространения кроме «Таймс для детей». Все фондовые издания дороги, выходят нерегулярно и почти не известны. Исключение — «Трамвай» детского фонда им. В. И. Ленина, который из-за высокой цены и аналогичного «Мурзилке» содержания продается в течение 3—4 месяцев.

Фондовая политика отражается только в том, что сами издания мыслятся как источник доходов.

Поиск подшефных ведется по публикациям в печати или по рекомендациям муниципальных служб. Предоставить себя под проекты ни та, ни другая сторона не может, т. к. нет ни реальных проектов, ни традиции долгосрочного сотрудничества. Поэтому конкретный разговор идет в режиме: «А что вы нам такого дадите, чего нам не давали другие фонды?» После этого возникают различные сообщества из бывших или потенциальных подшефных, которые тяготеют к созданию собственных структур, так же как и шефы. Например, Общество защиты сирот — к «Памяти». Конфликты из-за недоданности начинают выливаться на страницы печати. Фондовое движение дискредитирует само себя как при отсутствии, так и при попытках проявления какой-либо практической деятельности.

Напрашивается следующий вопрос: насколько реально существование фондов в нашей стране, в нашей ситуации и в таком количестве?



ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Говорят, высшая степень присутствия чувства юмора — самоирония.

Поэтому мы предварили официальное сообщение о создании Международного фонда «Лефортово — Обще-европейский дом» весьма точным и едким наблюдением, отчасти справедливым и для нашего новорожденного.

От отмеченных недостатков обещаем избавляться или вовсе не допускать их. Кроме одного: на ближайшие пять лет президентом фонда избрана «творческая личность» — главный редактор «Отечественных записок» Андрей Николаевич Красильников, он же народный депутат.

А теперь серьезное.

Фонд «Лефортово — Общеевропейский дом» — международная неправительственная организация, призванная возродить традиции участия делового мира Запада во взаимовыгодном решении московских проблем. Ведь Лефортово и Немецкая слобода были не просто местами, как нынче говорят, компактного проживания европейцев, но и местом их предпринимательской активности. Своего рода Сити на Яузе. Сейчас вид этого района удручает, как, впрочем, и вид всей столицы.

Мы призываем потомков обитателей Лефортова и Немецкой слободы (а там жила практически вся Европа) помочь нам в создании и реализации целевых программ Фонда.

Критика нашего автора уже учтена учредителями Фонда. Поэтому в его уставе разграничены понятия членства и участия. Членами могут стать только общественные организации и отдельные граждане, имеющие личные заслуги в деле международного сотрудничества. Производственные и коммерческие фирмы приглашаются к участию в Фонде. Статус участника дает право предлагать правлению Фонда любую соб-

ственную программу и после одобрения ее самостоятельно приступать к реализации на основании конкретного договора. Правление, занимающееся общей стратегией, составляют представители членов, а представители участников формируют совет директоров, который распоряжается денежными средствами и имуществом Фонда.

Эта раздвоенность умышленная. Традиционно советские фонды строятся по принципу: одни вкладывают деньги, другие их расходуют. Здесь вы получаете возможность следить за использованием своих вкладов и иметь гарантию инвестирования нужной вам программы. Наиболее наглядная схема: строительство жилого дома. Фонд решает с муниципальными властями вопрос об отводе земли, заключает договор с фирмой, которая возводит здание за свой счет и из своих материалов, получает в собственность часть площадей (например, первый этаж под магазин и второй — под офисы), а остальное отдает городу для вселения малоимущих москвичей из коммунальных квартир, коими так богато современное Лефортово.

Намечены и другие программы. В частности, реставрация Введенского (Немецкого) кладбища, где в заброшенных фамильных часовнях уборщицы хранят метлы и лопаты. А ведь наследники многих усыпальниц живы. Установить принадлежность часовен, найти их современных владельцев, оказать им юридическую помощь берет на себя Фонд. Или восстановление Лефортовского парка. Чудом Москвы, Версalem на Яузе называли его двести лет назад. Теперь детище Петра гибнет, а памятник вдохновителю его создания — единственный в столице — разбит неизвестными вандалами. Владычествует в парке Московский военный округ. Тот самый, который в августе поддержал ГКЧП.

Вообще, милитаризация Лефортова безмерна. В Екатерининском (Головинском) дворце, построенным Кампорези и Кваренги по заказу великой императрицы, квартирует Бронетанковая академия. Ей там тесно, неудобно, но другого помещения пока нет. Так же нелепо используются исторические здания в Немецкой слободе. Взять хотя бы дом Мусина-Пушкина на Разгуляе, где гнездится малая часть инженерно-строительно-

го института, имеющего несколько просторных современных зданий в других частях города. Многочисленные архивы в Лефортовском дворце так и просятся в специально выстроенные хранилища. Хотелось бы с помощью участников Фонда освободить эти и другие памятники архитектуры от временных квартир-рантов.

Еще одна программа связана с подготовкой выпускников московских школ к обучению в высших учебных заведениях Европы и Америки. Спонсоры могут впоследствии рассчитывать на способных студентов.

Мы не будем перечислять все возможные программы сотрудничества. Мы призываем будущих участников придумывать их самим. И направлять свои предложения в правление Фонда по адресу: СССР, 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 15/16.



СВЕЖИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

События в литературе измеряются теперь не книгами, а съездами. Их за два месяца прошло два, и Союзов писателей в России отныне тоже два. Плюс Союз литераторов.

Но в Санкт-Петербурге, говорят, еще больше.

Наверное, это хорошо. Если, конечно, не тратить время на выяснение, кто кого писательнее.

Однако выясняют.

Не будем больше язвить на такую болезненную для нас тему. Благо на съезде побывала группа молодых литераторов, которым есть о чем сказать. Да и редакция имеет кое-что добавить.

Ждите в следующем номере подробности и комментарии.

КНИЖНЫЙ МИР

Работницам птицефабрики и служащим частных бань скорее всего никогда не придется осуществить свою заветную мечту — купить «Анжелику» по госцене.

Стабильный спрос на «королевскую эпопею» обеспечивает устойчивую цену с лета — в пределах 30—40 р.

Захлестнувшая летом рынок Агата Кристи раскуплена и прочитана. Все, что от нее осталось, стабильно недорого — 35—45 р.

Разделы «Иностранная литература» у частных торговцев представлены традиционным отсутствием выбора и состоят из Мюллеровского словаря (по 75—80 р.), нескольких разговорников издательства «Русский язык» с однотипными картинками и неподражаемой русскоязычной транскрипцией. Новинка сезона — разговорник Сольмана, вышедший в издательстве «Кредо» (перепечатка 1945 г.), может представлять интерес для тех, чье кредо — рассматривание картинок из шведского быта почти пятидесятилетней давности. За пределами Садового кольца около 15 р., ближе к центру — 25 р. Археологическая редкость.

Наиболее дешевый разговорник (он же самоучитель немецкого языка) (Попов А. А. Немецкий язык для начинающих. М., Высшая школа, 1991) продается почти по номиналу (5 р.) всего за 8р. 25к. Правда, на «Мосфильме».

Мечта советской женщины «Бурда моден» окончательно исчезла из ассортимента книжных развалов в переходах московского метро. Сентябрьский номер отмелькал в районе Речного вокзала и метро «Баррикадная» по 40—50 р. в октябре. С тех пор глухо.

Н. Ж.



**ЛИТЕРАТУРНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО
Р. ЭЛИНИНА**

**некоммерческое издательство, специализирующееся на
выпуске современной литературы:**

- авангардная поэзия и проза;**
- драматургия андеграунда;**
- визуальная поэзия;**
- современные работы по философии;**
- современная зарубежная русскоязычная литература;**
- переводная литература**
- и т. д.**

**Каталоги, анонсы и тематические планы можно заказать по адресу:
141090, Московская обл., Болшево-6, а/я 79, Р. Элинин.**

Книги высылаются наложенным платежом.

Рассмотрение и рецензирование рукописей платное.

Справки по телефону (095) 233-88-03.

**Журнал
«Отечественные записки»
№ 1**

Главный редактор-учредитель — А. Н. Красильников.

Редактор номера — М. Е. Елисеева.

Художник — А. Ж. Тищенко.

Корректоры — Шатрова, Шарганова, Гордеева.

Оригинал-макет изготовлен в издательстве «Гнозис».

Тираж — 2000 экз. Цена договорная. Заказ 489.

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Ордынский тупик, дом 6.

Издатель: АО «Камея», 103009, Москва, К-9, ул. Герцена, дом. 22.

Типография Минстанкопрома

